

37. 11. 3. 12.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б. ТРЕТЬЯ ГИМНАЗИЯ

НЫНЕ 13-Я СОВЕТСКАЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА.

ЗА СТО ЛЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ.



ПЕТРОГРАД.

Издание 13-й Советской Трудовой школы.

1923.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б. ТРЕТЬЯ ГИМНАЗИЯ

НЫНЕ 13-я СОВЕТСКАЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА.

37.11.3.12

ЗА СТО ЛЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ.

ПЕТРОГРАД.

Издание 13-й Советской Трудовой школы.

1923.

Петроград. Петрооблит № 2363. Тираж 1000 экз.

Типография Первой Петроград. Труд. Арт. Печ., Моховая, 40.

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ.

8-го февраля (26 января) 1923 года исполнилось столетие существования бывшей 3-й Спб. гимназии, ныне 13-й Советской трудовой школы *). Педагогический Совет школы постановил ознаменовать это событие изданием сборника, и для осуществления этого выделил из своей среды особую комиссию в составе заведывающего школой—Н. А. Соколова, помощника заведывающего—Е. К. Товстика и преподавателей: Н. Ф. Арпьева, Ю. М. Маренина, Г. М. Никифоровского, Е. Д. Парышевой, Б. Н. Плаксина, В. М. Севастьяновой, В. Ф. Солнцева, В. И. Страховича и О. И. Цыбущенко. Названная комиссия решила отказаться от издания традиционной „исторической записки“, заключающей в себе обычно лишь сухо официальные сведения о прошлом школы, и, сведя последние только к самому неизбежному minimum'у, взамен этого поместить в сборнике живые, подлинные „человеческие документы“, рисующие жизнь школы по возможности на всем протяжении прожитых ею ста лет.

Редакционная Комиссия считает своим долгом выразить от имени школы искреннюю благодарность всем лицам и учреждениям, откликнувшимся на ее призыв помочь осуществлению предпринятого ею дела.

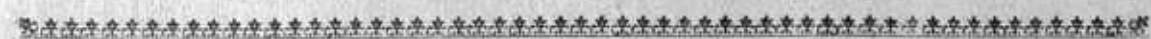
27 апреля 1923 г.

...

*) Празднование юбилея, по техническим причинам, перенесено на 17-е мая 1923 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
От редакции	I
Из воспоминаний академика Н. Г. Устрялова	1
Из школьных воспоминаний В. Ф. Эвальда	2
Из воспоминаний В. Я. Стоюнина	22
Из воспоминаний о третьей Спб. гимназии (1845—1852 гг.) К. К. Сент-Илера	28
Из педагогической автобиографии Л. Н. Модзалевского	50
Гимназический дневник Д. И. Писарева (перевод с французского Е. Д. Парышевой)	52
Из воспоминаний Викт. П. Острогорского	74
Празднование 50-летнего юбилея Петербургской 3-й гимназии	88
Письмо в редакцию М. Н. Стоюниной	89
Воспоминания о третьей Спб. гимназии восьмидесятых годов.—Профессора Н. Я. Чистовича	90
Гимназические годы И. А. Шляпкина.—Из воспоминаний В. Г. Дружинина	97
Отрывки из воспоминаний пансионера.—П. Е. Попова	107
Из «Автобиографической заметки» и «Старинных октав» Д. С. Мережковского	111
Из воспоминаний о 3-й Спб. гимназии.—Б. К. Ордина	115
Петербургская гимназия сорок лет тому назад. (Страничка воспоминаний).—Вл. Д. Набокова	126
Классическое образование и 3-я Спб. классическая гимназия. (Воспоминания).—Профессора В. А. Оппеля	130
Листки из воспоминаний.—В. О. Страховича	141
Памяти К. М. Семенова.—Н. Ф. Арепьева	145
О 3-й Спб. гимназии.—Поч. акад. А. Ф. Кони	150



	стр.
«Так было»... (История одного выпуска). — Б. В. Окунева.	153
О новой маске (автобио-реконструктивной). — Н. Н. Евреинова .	170
Наблюдения над учащимися выпускных классов 13-й сов. трудовой школы (быв. 3-й гимназии) по автобиографическим данным их характеристик. — Доктора С. М. Доброгаева	182
Родные тени. — Т. И. Осьминского	196

Из истории быв. Спб. 3-й гимназии, ныне 13-й советской трудовой школы. (По официальным данным). Сообщ. Н. А. Соколова.	199
Личный состав быв. 3-й гимназии, ныне 13-й труд. школы (служа- щие и учащие) за 1823—1923 гг. — Н. Ф. Арепьева.	230

Приложение.

Неопубликованные гимназические письма Д. И. Писарева. — Сообщ. П. А. Шафранова.	248
--	-----

...



Из воспоминаний академика Н. Г. Устрялова *).

... «Зимою, в конце 1827 года, в разговорах за обедом, я узнал от Толмачева (профессора СПб. Университета), что в третьей гимназии, у Пантелеймоновской церкви, назначен небывалый до тех пор конкурс для избрания учителя истории. В уме моем блеснула мысль попытаться. Толмачев мне не советовал, но я решился. Узнал, что конкурс будет в присутствии нового товарища министра народного просвещения, Дмитрия Николаевича Блудова, и нескольких профессоров. Конкурентами, по слухам, должны были явиться опытные наставники: из Смольного монастыря Тимаев, из кадетских корпусов Плаксин, Рожков и еще кто-то. Я подал просьбу директору гимназии Шнейдеру о причислении меня в конкуренты. Он принял ее неохотно, может быть, по причине молодости моей: мне было тогда с небольшим 22 года. Что произойдет на конкурсе—тревожило меня сильно; более всего я опасался, чтобы не заставили меня читать лекцию на латинском языке, потому что назначен был в число судей известный латинист Грефе; я купил огромное сочинение Пуффендорфа о шведской истории, которая, как я узнал, будет темою, и учил его почти наизусть.

В назначенный для конкурса день собрались в третьей гимназии, в зале четвертого класса, судьи: Блудов, ректор университета Дегуров, Грефе, Шнейдер и еще какие-то лица. Тимаев и Рожков отказались от конкурса; явился только Плаксин. Я читал с кафедры первый о времени Карла XI и начале царствования Карла XII. Блудов был очарован моею лекцией и сказал окружающим: «с'est un professeur en grain». Потом взошел на ту же кафедру Плаксин, читал с гордостью и уверенностью, как опытный педагог, но с такими ошибками в фактах, что я не вытерпел и тихо просил у директора позволения сделать ему возражение. Тот тоже тихонько доложил о том Блудову. Учеников удалили из класса под предлогом обеда. Я сидел с ними на скамейке; встал с места и спросил Плаксина: так ли

*) «Древняя и Новая Россия» 1877 г., № 1.

было на самом деле, как он передал из истории Карла XII? — речь шла о заключении мира Альтранштадтского. Он изумился и ответил: конечно, так. Я объяснил его ошибку. Пласкин сказал, что после этого он не намерен продолжать конкурс, взял шляпу и ушел.

23 марта 1828 года я определен старшим учителем в третьей Санкт-петербургской гимназии. Жалованье было хорошее — 2.250 руб. ассигнациями в год; но работа была не легкая—22 часа в неделю.

Учителем всеобщей и русской истории состоял я при третьей гимназии около четырех лет, до 7 марта 1832 года. С директором Шнейдером, человеком сухим и бездушным, был я не в ладах, даже в ссоре. Он жаловался на меня министру, князю Ливену, по доносу инспектора, с которым разговаривая однажды, я выразился о Шнейдере, действительно, грубо. Министр призвал меня к себе и жестоко разбил. Дело было очень неприятное. Вообще историею я тяготился, хотя воспитанники занимались прилежно, меня любили и годовичные экзамены сдавались блистательно».

— ... —

Из школьных воспоминаний В. Ф. Эвальда *).

В лютеранском молитвеннике (Gesangbuch) моей матушки нашел я подпись: «2-го ноября 1833 г. отдала я моего сына Володю в гимназию». Я очень живо помню этот день, потому что давно и с очень большим нетерпением ожидал его. Мы пришли в гимназию к 4 часам, как было назначено директором. Третья С.-Петербургская гимназия тогда была двух-этажным зданием; над сенями, во 2-м этаже, помещались классы, и сени освещались только 2-мя окнами с улицы. По своей величине они были не высоки, не довольно светлы, и это производило на входящих впервые в школу мальчиков впечатление не особенно приятное.

В четыре часа ударил звонок, повысыпали ученики, и вышел директор — Василий Васильевич Шнейдер. Это был высокий, довольно худощавый брюнет, с высоким открытым лбом, черными, жесткими волосами. Его серьезное, почти постоянно озабоченное лицо придавало ему суровый

*) Владимир Федорович Эвальд (ученик петербургской 3-й гимназии—XIII выпуска 1840 г., сконч. 29-го января 1891 г.) был первым директором I реального училища в Петербурге. Ему принадлежит большая заслуга в деле начальной организации реального образования в России и в течение довольно продолжительного времени руководящая роль на первых шагах его развития. (См. о нем «Исторический очерк СПб. первого реального училища». Сост. Г. М. Князев. СПб., 1912 г.).

Печатаемые в настоящем сборнике воспоминания В. Ф. Эвальда первоначально были помещены в «Русской Школе» (1890 г., май).

вид, а небольшие черные, пронизательные глаза, казалось, видели каждого ученика насквозь. Мы его всегда боялись и только в старших классах начинали уважать, а многие и полюбили. Он наскоро проэкзаменовал меня в латинском языке, строго поправил какую-то ошибку и тут же подозвал уходившего домой учителя математики в четырех низших классах — Василия Ивановича Лавониуса. Это был высокий, видный мужчина лет 30-ти с небольшим, с очень умным и несколько насмешливым лицом. Он предложил мне два вопроса, сначала найти целое по его частям; этот вопрос я решил быстро и объяснил удовлетворительно. Потом он дал сравнить величину двух дробей. Я поторопился и соврал; однако, сам поправил ошибку, когда мне ее указали. Этим экзамен из латинского и арифметики и ограничился. Все это совершилось в полусветлом углу сеней, стоя, без всякой экзаменационной обрядности и продолжалось не более четверти часа. Матушка заговорила было о взносе платы за учение, которая ее затрудняла. «Об этом не беспокойтесь; лишь бы хорошо учился». И с этим словом Шнейдер отпустил нас, приказав мне придти на другой день утром на экзамен из русского языка.

На другой день я побежал в гимназию уже гораздо смелее, а потому и охотнее. Меня принял инспектор — Николай Николаевич Кнопф, блондин средних лет, гигант атлетического сложения. Он повел меня к учителю русского языка — Францу Ивановичу Буссе, который в это время давал урок в третьем классе. Учитель дал мне сначала прочесть из книги, из которой он что-то диктовал ученикам. Я и книгу эту помню, как теперь. Это был какой-то роман, должно быть переводный, напечатанный характерным шрифтом двадцатых годов, на синеватой бумаге с какими-то бугорками. Я был большой охотник до романов и повестей, перечитал их до того времени не малое количество и заданную мне страничку прочел с таким чувством и с таким, должно быть, видимым удовольствием, что инспектор, учитель и даже ученики невольно улыбнулись. После двух-трех вопросов из грамматики мой экзамен из русского был окончен, мне объявлено тут же, что я был принят во второй класс и что я могу придти в класс или в тот же день после обеда, или на другой день в 8 час. утра.

Так началась моя школьная жизнь. Второй класс состоял из 80-ти человек и помещался в одной длинной комнате. Ученики были различного возраста. Мне, например, не было и 11 лет, а были и 16—17-летние. В те поры возрастом при приеме не стеснялись; сидеть в классе можно было также по-долгу. Например, при мне был в первом классе ученик Я—ский, который в этом классе просидел ровно 6 лет и по переходе во второй тотчас-же вышел из гимназии и поступил в юнкера. Когда на акте, в числе переведенных во второй класс, было названо и его имя, то в зале раздался такой дружный и заразительный хохот учеников, что им невольно увлеклись и учителя, и начальство. Вообще в то время между учениками

было не мало старых во всех классах. Товарищи приняли меня дружелюбно, и только предупредили, что фискалить не следует, не то очень больно *вздуют* (технический школьный термин). Тогда, сколько я припоминаю, отношения между товарищами были очень хороши: большие не обижали маленьких; поэтому ничего подобного испытанию новичков, что делывалось во многих других учебных заведениях — не было. Не было не только никакой вражды между разными классами, но могу сказать даже, что было в обычае некоторое покровительство маленьким со стороны больших. Товарищеское дружелюбие выражалось, с одной стороны, в готовности помочь в учебных занятиях, объяснить правило, перевести трудное место; с другой — в обычае делиться съестным. Было как-то совестно есть чтонибудь одному, а пока можно было отломить кусочек булки и хлеба, это всегда и делалось. Это, по моему мнению, черта очень важная, потому что в школьном возрасте дети всегда голодны и делиться приходилось именно тем, что в данное время было величайшею драгоценностью. Уроки были полуторачасовые: три утром (с 8-ми час. до половины первого) и один после обеда (с половины третьего до четырех). Начало уроков в 8 часов утра никому не казалось слишком ранним; не только редко кто никуда опаздывал, но многие являлись гораздо ранее 8 часов, и так как двери гимназии открывались не ранее трех четвертей восьмого, то перед ними на Гагаринской улице собиралась порядочная толпа.

Из всех наших учителей младших четырех классов, бесспорно, самым замечательным во всех отношениях был учитель латинского языка, Яков Сафонович Ильенков. Это был пожилой человек, росту ниже среднего, широкоплечий, с сильною проседью. Небольшие карие глаза его сверкали из-под густых бровей и, казалось, видели все, что творится в классе. Но это не был взгляд человека хитрого и постоянно наблюдающего за всем; этот взгляд выражал скорее власть старого педагога, который одним движением бровей может привести в трепет целый класс. Выражение лица Я. С. было всегда серьезно, часто сурово и казалось еще суровее оттого, что часть верхней губы у него была срезана и срезанное место своим ярко-красным цветом заметно выделялось на темно-синем фоне бритого рта и подбородка. Голос Якова Сафоновича отличался такою силой и звучностью, что летом, когда окна были открыты, наши соседи, торговцы Пустого рынка, могли бы даром получать уроки латинской грамматики и классной дисциплины, и с удовольствием замечали: «Вишь, как Яков Сафонович школит мальчишек».

Предмет свой Яков Сафонович знал основательно и учил ему толково. Что касается до любви к делу и добросовестного исполнения своих учительских обязанностей, то в этом отношении немного видел я учителей, которые могли бы сравниться с нашим стариком. Впрочем, оно и неудивительно: Ильенков страстно любил латинскую литературу и язык и, как

мне тогда казалось, да и теперь, лет пятьдесят позже, тоже кажется, он также страстно любил и самый процесс обучения.

Это не только не был *наемник*, напротив, вернее—это был фанатик-пропагандист классицизма. В его глазах знающие латинский язык уже за это самое, не смотря на возраст, заслуживали уважения, как люди образованные. В своих классах Ильенков, как и большая часть учителей, говорил всем ученикам *ты*. Но когда они переходили в пятый класс, то он при встрече и при расспросах о занятиях, начинал говорить *вы* и тут же пояснял эту перемену. Так было в свое время и со мною. «С этого времени я *вам* буду говорить *вы*, а не *ты*»; сказал он; «потому вы уже не азбучник; вы теперь уже переводите Овидия; а это не всякий умеет». По этой же причине, вступая в разговор с учеником *седьмого* класса, Я. С. осведомлялся о его имени и отчестве. «Молодой человек, который переводит (в то время у нас не говорили: *читает*) величайшего из латинских ораторов, Цицерона, и величайшего из латинских поэтов, Горация, заслуживает того, чтобы его и старые люди звали по имени и отчеству». У нас было во 2-м классе, если не ошибаюсь, три полуторачасовых урока латинского языка. На одном из них разучивалась этимология и самые элементарные правила синтаксиса. Этимологию мы учили по Цумпту. Каждый новый урок был разъясняем в классе вполне. На дом задавались уроки не особенно малые, но, во всяком случае, посильные для старательного ученика средних способностей. Что всего было дороже в этом обучении—это постоянное и настойчивое повторение в классе всего пройденного. Оно и было причиной, что мы разучивали всю латинскую этимологию со всеми исключениями в первом и втором классе, и знали ее твердо. Второй урок назначался на перевод с русского на латинский. При мне этот перевод делался во время послеобеденного урока, по четвергам. После урока, один из учеников собирал все 80 тетрадей нашего класса и относил их на квартиру Я. С. К утру следующего дня они были уже готовы, каждая работа была тщательно пересмотрена, каждая ошибка в ней подчеркнута и под переводом подписана его оценка, которая шла в такой постепенности: *longe optime*, *optime*, *bene*, *non male*, *male*, *pessime*, *turpissime*, *stultissime*. При последних трех оценках ошибки не подчеркивались, так как их было слишком много, и вся работа энергически перечеркивалась Андреевским крестом. И все сколько-нибудь особенное, что могло встретиться в подобной работе, было непременно замечено нашим стариком. «Там у тебя есть одно место; я его заскобировал и подвел (заклучил в скобки и подчеркнул). Ты перевел несогласно с правилом, которое я объяснял; но и так сказать можно, как ты сказал: оно совершенно правильно». На другой день, в пятницу, на первом же уроке, происходила раздача поправленных тетрадей и классный перевод этого же урока. И это был самый страшный день и час во всей неделе. Не знаю почему, но

именно на этот урок Ильенков являлся в вицмундире с алым бархатным воротником. В этом году последовала перемена формы служащих в гимназии, причем алый бархатный воротник синего вицмундира был заменен синим. Некоторые учителя донашивали свою старую форму и в числе их был И. Но нам казалось, что И. являлся с этим зловещим воротником именно тогда, когда был сердит. Постараюсь припомнить один из таких страшных часов.

Восемь часов пробило; все на местах; слышен тихий разговор; некоторые смельчаки шутят, но в их голосе слышно какое-то нервное раздражение. Вот дверь отворилась, и быстрыми шагами вошел Яков Сафонович. Все бесшумно встали; прочтена молитва, и Я. С. прошел среди ученических столов, раскланиваясь направо и налево. У последнего стола он величественно оборачивался и каким-то, ему одному особенно свойственным, повелительным тоном приказывал ученикам садиться. В этом тоне как будто слышалось, что Я. С. все знает, все видит и, главное, все с нами может сделать. Он однажды и высказался приблизительно в этом смысле. Раз как-то ему показалось, что ученик недостаточно чинно сидит в классе. И. вскочил в негодовании и крикнул на всю гимназию: «Да знаешь-ли ты, мерзавец, что класс—это храм; а учитель в нем...» Тут последовала коротенькая пауза; И. как будто овладел собой и спокойнее закончил: «это жрец!» Не будь у него этой привычки быстро овладевать собой и отдайся он течению собственной мысли, он иначе кончил бы начатую фразу.

Затем начинается раздача тетрадей. У нас ученики двух младших классов на уроках арифметики, латинского и русского языков сидели в порядке постепенности своих успехов—лучшие впереди, худшие сзади. Ученикам первых двух скамеек И. подает тетради сам. Это те, у которых под переводом подписано *longe optime*, *optime* и *bene*. Подает с ласковым словом. У которого перевод несколько слабее предыдущего, тому—небольшое внушение; чья работа лучше прежней, того похвалит и велит сесть повыше, хотя одним местом. Замечательно, как следил старик за успехами всех своих учеников, как их верно оценивал. Это можно объяснить только его редкою преданностью делу. Работы с подписью: *non male* все еще давались в руки, но уже с заметно недовольною миной. Но и здесь можно было услышать слово поощрения, если эта «нехудая» работа была лучше прежней. Переводы «*male*» бросались на стол с гневом и тут же назначалось виноватому и взыскание. Но когда дело доходило до последней категории, до несчастных *pessime* (прескверно), *turpissime* (гнуснейше) и *stultissime* (глупейше), которые все заседали на последних скамьях, то всему классу становилось страшно и больно. Голос Якова Сафоновича достигал высшей степени напряженности и звучал словно труба в последний день судный, его глаза сверкали искрами и над провинившимся изрекался на весь класс приговор: «Ноль! (*sic!*) На колени! Без обеда, до шести,

до восьми часов!» Это значило, что приходящего ученика осуждали на арест в гимназии до 8 часов вечера! А все ученики приходили в гимназию до 8 часов утра; значит виноватых присуждали оставаться без пищи более 12-ти часов, почти 13! Для пансионеров приговоры были иные, более строгие: «Ноль! На колени! Без обеда! К печи (во время пансионерских обедов)! Без гулянья (во время рекреаций)! На два, на три, на четыре воскресенья не отпускать домой!» Какой же тут жрец в классе этот учитель! Мы все чувствовали, что наш Яков Сафонович скромничает. Раздача тетрадей кончилась; правый передний угол наполнился стоявшими на коленях учениками. Правосудие совершило свое дело. Началось объяснение сделанного перевода. И. вызывал к доске, одного за другим, нескольких учеников, преимущественно средних способностей, и заставлял их делать этот же перевод и объяснять каждую форму. При этом, как и на всех прочих уроках, постоянно повторялась этимология и те начальные правила синтаксиса, которые нам были объяснены. Работа велась так толково и внимательно, что прилежный ученик действительно мог учиться и научиться в классе. Но этому нередко мешал тот страх, доходивший до ужаса, который наводил на учеников своим обращением с ними учитель, и в этом отношении страх «человеческий» вовсе не делался началом премудрости. Я это испытал на себе и живо помню до сих пор. Когда я пришел в гимназию, я не только не умел переводить на какой бы то ни было язык, но даже представить себе не мог, в чем собственно состояло это мудреное искусство. Настал четверг. И. продиктовал текст, назвал слова, которых мы не знали, и скомандовал: «переводите!» Что мне тут было делать? Я вовсе не понимал, как это так люди переводят. Попробовал было обратиться за советом к товарищу, но в ответ услышал: «Убейся к чорту! Еще из-за тебя запишут!» Все это было сказано озлобленным шопотом. Я положил перо и стал совершенно безнадежно глядеть на тетрадь. Казалось бы, что всего было проще обратиться за советом к тому же Якову Сафоновичу и объяснить ему мое безвыходное положение. И сделай я это, он наверное приказал бы отложить тетрадь, пояснил бы, что этот перевод на другой день будет сделан в классе и что я тут увижу, как переводят. Я даже думаю, что Я. С. и меня самого позвал бы к доске и научил бы со всем снисхождением, к которому он был только способен, так как я был не ленивец, а просто новичек. Но я не смел обратиться к учителю, потому что *никто в классе не смел этого сделать*, и это была не наша вина.

Не только я, новичек, не смел заговорить с грозным учителем, но не смел этого сделать и товарищ, к которому я обратился. А чего было проще, как сказать учителю: «вот, Я. С., новичек просит показать ему, как переводят, потому что он никогда не переводил». Глядел я, глядел на свою тетрадь и, с горя, чтобы что-нибудь сделать, вместо перевода напи-

сал подряд все продиктованные слова. На другой день тетрадь моя прилетела ко мне по воздуху (такие работы швырялись ученикам через весь класс) с подписью *pessime* и мне была произнесена известная формула. Я ужасно испугался и, стоя на коленях, все время плакал. Из-за страха и слез я не обращал внимания на то, что творилось на доске, и вся классная работа прошла мимо меня нисколько незамеченная. На следующую пятницу над моей работой было написано уже не *pessime*, а *turpissime*, и я был оставлен в гимназии до 6 час. вечера. В третью пятницу все это повторилось. Но тут я скоро привык к своему положению, перестал плакать, успокоился и положительно *от нечего делать*, со скуки стал глядеть на доску и следить за ходом перевода. И тут я, к величайшему собственному изумлению и радости, заметил, что это дело очень простое и что все это я умею. Сначала я про себя, а потом и вслух начал поправлять ошибки переводивших, так что И. заметил, что я кое-что смекаю и отпустил на место. Помнится, что следующего четверга я насилу дождался и за свой перевод получил уже *non male*. За этим следовали два *bene*, и, наконец, *optime*. Но на этот раз дело не обошлось без беды. Перевод был, действительно, хорош; но в нем была одна очень грубая этимологическая ошибка в склонении местоимения. Что же Ильенков? Он подписал *optime*, велел написать в списке 4 (тогдашний высший балл) и посадил на первую скамью. А за непростительную ошибку в склонении местоимения—«оставить без обеда!» В этом приговоре я тогда не увидел той справедливости, которой, повидимому, искал мой почтенный наставник, и наказание, хотя оно в то время и не было для меня новостью, на этот раз отравило всю радость успеха.

Не раз И. высказывал нам, что все его радости и огорчения сосредоточивались в классе и что урок мог доставить столько-же развлечения, сколько и любое сценическое представление. «Мне не нужно ходить в театр, чтобы смотреть драму, трагедию или комедию; все это я найду здесь, в классе. Стоит мне вызвать двоих-троих с задней скамейки, — и все это я тотчас увижу! Я задам им правильный глагол первого спряжения, и тут они с первых слов начнут врать. Это и будет комедия. Но когда терпение мое лопнет и настанет время возмездия, тут-то и начнутся плач и слезы и скрежет зубовой, и это будет страшнее всякой трагедии. Но что-же делать! Сама себя раба бьет, когда не чисто жнет!» Последняя его поговорка была у него любимой, и он часто ее повторял: «А если я захочу устроить себе великий праздник, то стоит мне вызвать нескольких с первых скамеек и спросить у одних неправильные глаголы, у других — исключения третьего склонения, у третьих — правила синтаксиса, и когда я услышу правильные ответы, услышу твердое знание,—возликует, истинно говорю вам, возликует душа моя! и когда настанет тот час, когда вы мне скажете: перестаньте вы повторять нам одно и то же! надоели вы нам;

знаем мы все это, твердо знаем, и не нуждаемся в ваших беспрестанных повторениях. И хотя такие слова будут грубостью с вашей стороны, но я обрадуюсь этой грубости!» Я помню эти слова, помню и то, что нам хотелось-бы порадовать старика, потому что он был искренен; но что вряд-ли кто-нибудь осмелился-бы порадовать его в той форме, какую он предлагал. Очень следил он за правильностью ударений в латинских словах; ошибки были нестерпимы для его слуха и выводили его из себя. Но при этом он и любил казаться жестоким, чем он на самом деле вовсе не был. «А знаете-ли что? Хорошо-бы вставить вам во рты особые мундштуки, а ремненные поводья мне держать в руке! И тогда, если-бы кто-нибудь сказал мне *dōcere* вместо *dōcere*, я-бы так повернул его, что у него-бы зуба два-три вылетело. И если-бы потом у него не все зубы оказались целыми, за то не перевирал-бы латинских слов. И осталось-бы у него это на всю жизнь в памяти. Начнет, например, есть говядину, а отчего это у меня справа одного зуба не достаёт и жевать нечем? Да оттого, что надо говорить *dōcere*, а не *dōcere*, и т. д.».

Говорили, что старик наш не был особенно счастлив в своей домашней жизни; может быть, он отчасти и по этой причине любил делиться со своими учениками теми немногими радостями, которые выпадали на его долю. Он был человек любознательный и не щадил денег для увеличения своей библиотеки. В числе других книг он купил себе латинский толковый словарь Форчеллини, выписал его через книгопродавца Грефе (впоследствии Шмицдорф) из-за границы и заплатил 80 рублей. Это были большие деньги для учителя, который получал на частных уроках по 5 рублей ассигнациями за урок и жил в 3-м этаже, на дворе, в маленькой квартире. И Яков Сафонович рассказал нам, как он ждал своего Форчеллини, как дождался, что заплатил, принес его в класс и показал всем. И когда он говорил, что заплатил целых 80 руб., то в словах его только слышалась искренняя радость, что ему удалось приобрести такое сокровище. Дисциплину И. поддерживал самую строгую и хотя у него был, не помню кто, старшим в классе и смотрел за порядком, но всего более смотрел он сам. Порядок поддерживался преимущественно тем, что у И. ни одна минута в классе не пропадала даром и что он постоянно старался привлекать к работе целый класс. Оттого большая часть его учеников действительно выучивалась у него, и выученное знали и помнили твердо. В 3-м классе мы у него переводили Корнелия Непота, в 4-м—Юлия Цезаря. И. не только не ограничивался грамматическими объяснениями текста, но, напротив того, очень охотно сообщал разные подходящие сведения из древностей и истории. Из Цезаря мы переводили у него в 4-м классе две книги. Это был конец учебного года, а для тех, кто переходил в 5-й класс, конец занятий с Ильенковым. На одном из последних уроков он обратился к нам с такою просьбой: «Нам скоро придется расставаться; потешьте-же

вы меня на прощанье: переведите мне из Цезаря к следующему уроку, сколько сможете!»—«Хорошо, Яков Сафонович, переведем!»—«Сколько-же вы переведете?» Послышался радостный шум: класс охотно принимал этот педагогический вызов. Отличиться в глазах Ильенкова, показать ему, что мы можем, коли захотим—это стоило труда.—Три главы! Четыре! Не много-ли четыре? Что четыре! Переведемте пять! И к этому предложению присоединились все. На другой день на послеобеденном уроке все пять глав были переведены в полтора часа.

Разумеется, тут было не до грамматических объяснений: переводили, что называется, во все лопатки и к концу урока перевели все. Ильенков сам вызывал, кого хотел; разумеется, тех, кто по-слабее, он и не трогал: не такое было дело. Старик был положительно счастлив. «Поставьте всему классу по пяти», произнес он торжественно. И записали всем по 5 в список. (В это время была уже введена пятибалльная система отметок).

«Ну, друзья мои, вы меня порадовали; потешу-же вас и я. У нас остается еще два урока. Я прочту вам отрывки из латинских поэтов в переводе наших лучших писателей». И он читал нам перевод Жуковского из Виргилия и Овидия. Наш старик сам, очевидно, наслаждался этими прекрасными произведениями и нашим глубоким вниманием; но и здесь в нем по временам сказывался педагог-формалист, то, что у немцев называется *Shulmeister*. В одном месте, когда мы наслаждались прекрасными стихами Жуковского, он внезапно остановился и, указывая пальцем на только-что прочитанную строку, радостно воскликнул «Дательный самостоятельный!» В другом месте, читая описание прощания Цейкса с Гальционой и безутешной горести Гальционы, он вдруг заметил, что один из учеников сидит, упершись коленами в стол и облокотясь на них руками. Это взбесило И., и, не прерывая чтения и не останавливаясь, он заревел: «Как ты сидишь, негодяй!» Мы так были ошеломлены этими словами, что в первую минуту не сообразили, в чем дело, и приняли эти слова за восклицание Гальционы. Но дело живо разъяснилось, и в классе раздался неудержимый смех, который был подавлен только нашим нежеланием обидеть Якова Сафоновича...

Помню, раза два И. был болен, и мы ходили его навещать. Человек двенадцать садилось перед его кроватью. Старик был, очевидно, очень рад, потому что видел сочувствие того маленького мира, который вмещал все его радости и горести. «Да, друзья мои, я был очень тяжело болен; но я не поддался болезни и поборол ее: она, было, того (при этом лицо его выразило великое страдание); а я того!» И при этих словах он посмотрел на нас знакомым торжествующим взглядом. «Она опять свое — того, а я того! Да так и отступилась». И мы не сомневались в том, что самая болезнь может уступить этой сильной и мужественной воле. Как ни велика была разница между этим пожилым, почти старым человеком и нами, но

все-же мы видели в нем образец человека знающего, трудолюбивого, в высшей степени добросовестного и справедливого. Сквозь суровые формы его тяжелого характера видна была его искренняя любовь к нам и величайшая забота о нашем образовании. Про Ильенкова ходило множество странных рассказов, его охотно копировали, и некоторые даже очень успешно; все его странные, иногда непонятные выражения, в роде всезнающего «товó» или «ты у меня не по булату» повторялись учениками и всегда вызывали дружный смех; Ильенкова боялись, как огня, особенно в младших двух классах, но все-же его и уважали и любили! И все это потому, что дети обладают особым чутьем и хорошо понимают, кто их любит и кто нет. И этого отсутствия любви не скрыть ни под какими мягкими формами условной вежливости или притворной ласки.

Учитель математики в низших 4-х классах—Василий Иванович Лавониус, был человек вообще очень образованный, знающий свое дело и чрезвычайно деятельный. У него, как и у Ильенкова, главная работа шла в классе; на дом задавалось понемногу задач. Весь класс участвовал в каждой работе; никто не был без дела. Чаще всего задавалась классу общая задача; тот, кто решал ее первым, должен был объяснить свое решение. Если он сбивался, путался, В. И. вызывал другого. В первых двух классах сидели на скамьях также по порядку успехов. Тех, кто быстрее и лучше решал, подвигали вперед. Кстати здесь я замечу, что этот педагогический прием у нас возбуждал только соревнование и не вызывал ни малейшей зависти или вражды. Притом некоторое пересаживание во время урока, это небольшая возня, которая вовсе не влекла за собой нарушения порядка—все это не давало крови застаиваться в жилах. Лавониус был очень внимателен к успехам своих учеников, и это я успел испытать на себе. В первый учебный год я был переведен после экзамена в третий класс, в числе средних учеников, но курс этого класса оказался мне не совсем по силам, и, по требованию В. И.—ча, я был оставлен на другой год. Это меня очень огорчило. В начале нового учебного года, на первом же уроке В. И. посадил меня на первое место, т.-е. подле самой учительской кафедры. И тотчас объяснилось, что это значило. Как всякий ученик, оставшийся на второй год, я знал начало курса, находил работу слишком легкой и мог залениться. Но у Л. это было невозможно. Беспреданно слышал я: Э. повтори! Э. объясни! Э. реши! и т. д. И чуть прозевал или не подумавши брякнул, сейчас выговор или пристыдит, и все это быстро, без долгих нотаций. Сначала такое непрощенное внимание нередко доводило меня до слез; но потом я поневоле привык к постоянной работе, без особого труда справлялся со всякими задачами и вопросами и уже начинал желать, чтобы Л. меня спросил. Но он сделал свое дело и занялся другими. После такой педагогической обработки, во все продолжение курса, я не только не затруднялся математикой, но даже полюбил ее. Курс у нас был

не легок. В 4-м классе изучались логарифмы и многим это было не под силу. На решение математических задач обращалось недостаточно внимания; математика изучалась более теоретически, ради ее развивающего ум значения. Вообще математика была одним из любимых предметов, и многие охотно занимались ею, особенно в старших классах.

Русскому языку у нас учил Франц Иванович Буссе; этот учитель далеко уступал Ильенкову и Лавониусу; но он владел хорошо рутиной и был очень трудолюбив. Классные занятия у него состояли, приблизительно, в следующем: грамматика преподавалась по Востокову и притом очень просто; учитель читал по книге, что было на очереди; потом весьма убедительным голосом говорил примеры, приведенные в этом же учебнике, изредка прибавлял свои. Потом спрашивал: «Поняли?» Ученики всегда отвечали хором: «Поняли!» и этим дело кончалось. Параграфы, таким образом «разъясненные», задавались к следующему разу наизусть. Кусочек грамматики задавался, обыкновенно, в конце урока, перед самым звонком. Кроме этого, мы писали под диктовку, учили наизусть, делали грамматический разбор. Эти упражнения наполняли все учебное время и велись весьма усердно. Для заучивания наизусть чаще всего задавалась басня Крылова, иногда баллада Жуковского; помню с этих же времен «Песнь о вещем Олеге» Пушкина и «Ивана Сусанина» Рылеева. Патриотические «Думы» Рылеева тогда очень нравились и были распространены в рукописных сборниках, которых несколько можно было найти почти во всяком образованном семействе. У нас, напр., имелись в рукописях: «Горе от ума», «Триумф», «Думы» Рылеева. Книги тогда были и дороже, и реже; а хрестоматии—убоги. Поэтому и приходилось каждому юному любителю составлять для себя особый, рукописный сборник.

Избранное стихотворение сначала диктовалось, причем во втором классе нам назывались и все знаки препинания. Кстати, употреблению этих знаков нас надлежащим образом не учили. О них, раз навсегда, заставили нас выучить, что следовало, по книге Востокова, и тем дело и было кончено. Я полагаю, что и наш учитель сам ставил эти знаки по навыку. Когда диктовка была кончена (не забудьте, что урок продолжался полтора часа), ученики по-двое менялись тетрадями, и каждый поправлял ошибки товарища. Возникали и споры; за решением охотно обращались к учителю, исключая тот случай, когда товарищ, очевидно, «жилил» свою ошибку, т.-е. старался ее «отжилить», оттягать. Потом сосчитывалось число ошибок у каждого, и у кого их было менее, тот занимал высшее из двух место на скамье. Кончалась поправка и начинался грамматический разбор продиктованного. Разбирали ученики, сидящие под ряд, начиная с лучших (но не всегда с первых скамеек: иначе последним и разбирать не пришлось-бы) и переходя к более слабым. Если разбирающий делал ошибку, то учитель немедленно приказывал ему садиться (отвечали с места, стоя),

а следующему разбирать далее. Так продолжалось до тех пор, пока находился бойкий мальчик, который и знал и не сбивался. Тогда учитель приказывал ему пересесть на место первого, который ошибся, а этому и всем следующим подвинуться одним местом ниже. Это была своего рода скачка с препятствиями, которая очень нравилась ученикам, вызывала сильное общее внимание к работе и нисколько не возбуждала зависти или вражды между товарищами, точно это был какой-нибудь смелый и ловкий прыжок в игре в чехарду или что-нибудь подобное. Такой, почти заученный в классе урок задавался наизусть к следующему классу и выучивался без особого труда. Кроме этих упражнений, я помню еще следующее. Буссе диктовал нам неизвестный отрывок, пропуская, по выбору, слова — второе, третье, пятое, как придется и на месте пропущенного слова указывал ставить точки. Эти пропуски следовало каждому наполнить по собственному соображению и догадке. Потом эти работы (домашние) читались в классе. Это бывал один из самых интересных уроков. Здесь резко выделялись ученики, много читавшие, от неохотников до чтения или от тех, у кого воображение было мало развито. У таких оказывался такой смешной рассказ или такие нелепые вставки, что весь класс заливался хохотом. Но случалось учителю пропустить такое слово, которое очень трудно было угадать и по смыслу соседних слов, и по смыслу целого рассказа. Как только это замечалось, сейчас же весь класс начинал следить в каждой прочитанной работе именно за этим местом, и если, наконец, какому-нибудь счастливцу удавалось разрешить эту задачу, его чуть не поздравляли. В это время приостанавливалась даже строгая классная дисциплина, сам Б., вообще строгий и грубоватый, принимал невольно участие в общем возбуждении и унимал расходившихся учеников не таким недовольным голосом, как обыкновенно. У Буссе в трех низших классах мы усваивали очень твердо грамматические формы и орфографию. Этим и ограничивалось наше обучение родному языку. Славянскому нас не учили вовсе.

Преподаватели остальных предметов представляли мало замечательного. География преподавалась по учебнику Забловского, который вызубривался подряд. Я помню замечательно скверную бумагу этого учебника: какая-то серая, вся в бугорках, и такая рыхлая, что переплетенный экземпляр едва-едва удавалось сберечь до конца года. Нам задавали чертить (т.-е. копировать) географические карты, и на это у нас были великие охотники и мастера между учениками. Особенно старательно отделялась вода тушью и притом в несколько тонов. Чтобы рисунок был красивее, ученик-любитель, оставляя общее очертание берега правильным, сочинял извилины береговой линии по своему вкусу и выделял столько бухточек и мысков, сколько ему было нужно, по собственному же вкусу. Также тщательно и произвольно отделялись горные хребты. Вся эта совершенно

бесплодная работа была очень поощряема добряком-учителем. Наши картографы-художники и между товарищами пользовались заслуженною славой.

Ниже этих учителей в педагогическом отношении стояли учителя новых языков. И самые эти учебные предметы были поставлены в гимназическом курсе особенным образом. Немецкий и французский языки составляли так называемые «параллельные» классы, т.-е. ученик мог по этим языкам быть не в том классе, в каком был по всем прочим предметам. Учителя новых языков по штату считались «младшими», получали менее жалованья и состояли в младшем чине. Их уроки были по понедельникам и четвергам, от 9½ до 12½ утра. В каждом классе в эти часы собиралась очень разнообразная по возрасту толпа. Напр., во 2-м классе попадались ученики 4-го и даже 5-го классов, и так как это были или менее способные, или недостаточно прилежные, то все они успели позасидеться в гимназии и их бритые, синеватого цвета подбородки внушали невольное уважение молоденьким товарищам. Так как и здесь случалось оказывать друг другу товарищеские услуги или испивать общую чашу бедствий, то, может быть, и это смешение возрастов не приносило особого вреда, а скорее предупреждало разъединенность классов, не только что вражду, которой вовсе не было. Новым языкам учили нас плохо. Сами учителя едва разумели по-русски. Наскоро задавался урок и потом в следующий раз спрашивался. Главная задача учителя состояла в том, чтобы узнать, кто не выучил заданного урока и взыскать с него. Старший приготавливал узенькую и длинную бумажку, как для аптекарского рецепта, надписывал вверху «за леность» и, по приказанию учителя, записывал в нее имена виновных. Многие учителя записывали зря, без разбору. Кто, напр., оказывался неисправным в первый раз, вместо замечания или внушения, вносился на записку наравне с учениками, постоянно ленивыми. Да и где тут с ними разговаривать, когда их почти сто человек! Да и стоит ли разговаривать с мальчишками, лентяями, негодяями! Так, повидимому, рассуждали наши почтенные наставники. Таковы, по крайней мере, были их поступки с нами. На уроках немецкого языка диктовали нам немецкие слова, взятые из обиходной жизни, и давали их учить наизусть; но так как при дальнейшем обучении из этих слов не делалось никакого употребления, то они понемногу и забывались. Надобно заметить, что этот нелепый прием долбления вокабул без всякой системы и цели употреблялся в некоторых гимназиях и гораздо позже, и наверное употребляется кое-где и теперь, так как он составляет надежное прибежище для плохих учителей. Кроме того, ученики должны были списывать (кажется, по полустранице, а может быть, и меньше) из немецкой книжонки *Sittenbüchlein*, а потом и долбить понемногу этот текст. Кто из моих товарищей не помнит, как, бывало, гудели басом на задних скамьях, выговаривая все слова резко по-русски: «Фор нихт гар лангер цейт мейне либе

киндер» и т. д. Так как грамматические формы в этом классе не изучались, «переводы с немецкого» не делались, то и не мудрено, что не только из малоспособных, но даже из даровитых учеников немногие чему-нибудь выучивались при таком бессмысленном обучении. А неуспевающих обзывали лентяями, морили голодом и даже секли! Во втором классе то-же заучивание слов, списывание с книги и выучивание небольших немецких стихотворений, в роде: «Eine kleine Biene flog emsig hin und hier und sog Süßigkeit aus allen Blumen» и т. д.; и эти стишки кем-нибудь из учеников, кто умел, и переводились. В третьем классе мы поступали к другому учителю, человеку очень ограниченному, вспыльчивому, большому крикуну и мастеру спросить урок и записать незнающих. У него все грамматические формы долбили в классе хором. «Весь класс! Praesens indicativi!» и весь класс в такт вопил: Ich habe, du hast и т. д. «Первая скамейка и Петухов! (А Петухов, положим, сидел где-нибудь в середине) Imperfectum!» Спрошенные почти кричат: Ich hatte, du hattest. «Петухов один! Praesens conjunctivi!» Петухов, может быть, смущенный тем, что его выделили из хора и неожиданно заставляют петь solo, мнетя, силится что-то сказать и не может. А! не знаешь! Записать ego! «Иванов!» Иванов тоже почему-то медлит. «Прибавь его!» т.-е. к записанному уже. А сам учитель в это время мерными шагами расхаживает по классу, размахивая пестрым шелковым носовым платком в правой руке и петушится тем более, чем длиннее становится ряд записанных. И не то, чтобы все эти ученики не знали урока. Некоторым нужно было успокоиться и припомнить. Но это было совершенно невозможно, потому что учитель задавал вопрос так злобно, с таким явным выжиданием неудачного ответа и, наконец, с таким злорадством приказывал: «Прибавь его!», что все ученики понемногу начинали робеть, на весь класс ложился какой-то гнет, и ученики едва могли дожждаться звонка. Учитель, которому кличка была «Карлушка», был сам по себе вовсе не злой человек: он только попал не в свои сани. Ему-бы стоять на мосту, где проезд очень велик, а ему поручили ребят учить! И так, в первых двух классах мы учили слова, в третьем—грамматику, а в четвертом—начинали переводить с русского на немецкий по хрестоматии, составленной из небольших рассказов. Между ними были, известные всем моим ровесникам Собака Обри Мондидье, Лев Андрокла и проч. Оказывалось, что переводить мы были очень плохо подготовлены. Слова мы учили, но это были (если кто их и помнил) вовсе не те, какие теперь требовались. Мы учили, напр., die Tapeten—обои, der Teppich—ковер и под. из обиходной жизни; а переводить приходилось: «Обри Мондидье, гуляя в лесу, недалеко от Парижа, был убит и зарыт под деревом». Мы, что называется, в зуб знали глагольные формы, но не умели их употреблять, потому что именно это и не было разъяснено нам. Немудрено, что наши успехи в немецком были очень незначительны и далеко не

соответствовали нашим великим трудам. Выходило, что хотя корень учения горек, но и плоды его без всякого вкуса.

Французскому языку обучал старик Дешуданс, швейцарец родом. В первых двух классах мы учили и списывали подряд какие-то разговоры. Учитель говорил нам фразу по-русски, напр., «уж идот задовник с кораблём» (в книге было напечатано: вот идет садовник с граблями), а мы говорили эту фразу по-французски. Из этого ученья наизусть диалогов выходило тоже немного. Кажется, мы все знали только одну фразу: *Permettez moi de sortir*. В третьем и четвертом классах было еще того хуже. Кажется, не сразу могли найти хорошего учителя; лица, нас обучавшие, ни слова не умели говорить по-русски; мы по-французски не говорили, поэтому зубрили одни грамматические формы, которые потом и спрашивались, да делался разбор с его неизбежным: *où est le sujet? où est le régime?* Французы были добрее немцев и не такие охотники до взысканий.

По методу обучения уроки чистописания и рисования были похожи один на другой. Помнится, по два класса обучались вместе: первый со вторым и третий с четвертым. Обучение шло в столовой пансиона. Входил учитель, читалась молитва, ученики садились. Являлись старшие и ставили перед каждым деревянную подпорку для прописи или эстампа, служившего моделью и который, неизвестно почему, назывался «оригиналом». Потом старшие являлись снова; каждый нес охапку оригиналов и ставил перед каждым учеником тот, который лежал в охапке сверху. Все эти оригиналы до того всем известны, что вряд-ли нужно о них распространяться. Это была самая пестрая смесь изображений целых ландшафтов, отдельных деревьев, мостов, человеческих глаз, носов и т. д. Каждый рисовал то, что ему доставалось, и в том порядке, в каком оригиналы находились в руках старшего. Впрочем, не запрещалось меняться рисунками. Да этого почти никто не делал. Не стоило: все рисунки были одинаково неинтересны. У нас в старших классах оказалось 3—4 хороших рисовальщика, и никто не мог сказать, где и каким образом они научились этому искусству. Тетради вынуты, станки и оригиналы розданы; ученики принялись за работу. Старшие похаживают между столами и наблюдают, чтобы ученики не разговаривали вслух, а разве что шепотом. А учитель? А он сидит у одного из столов и болтает с близ сидящими учениками. Раза два в год он подзывает к себе, по очереди, каждого ученика, обзовет, по большей части, пачкуном и отпустит на место.

Почти так же дело шло и у Тренделленбурга, учителя чистописания, добрейшего старика, со смешным, длинным и острым носом. Его профиль умел нарисовать каждый школьник, и даже очень похоже. Он во все продолжение урока чинил гусиные перья, которыми тогда писали. У него в класс вносились груда прописей, которые тоже представляли порядочную смесь самых разнообразных шрифтов. Все это без всякого порядка, кому

что придется, раздавалось старшим. Учитель наблюдал только за одним, именно, чтобы ученики не шумели. «Шум есть!» закричит он, бывало, встревоженным голосом; старшие засуетятся, столовая притихнет, а Тренделленбург опять принимается за очинку перьев.

В моем выпуске (1840 г.) было несколько хороших рисовальщиков, и двое, а в особенности один — замечательные каррикатуристы. Всего чаще рисовали Ильенкова, Шнейдера (директора) и Федора Ивановича Буссе, учителя математики и физики и впоследствии директора. Рисунки О. Васильева были так похожи и так талантливо сделаны, что преподаватели, рассматривая их, только смеялись, и начальство за них никого не преследовало. Но этими успехами в рисовании наши доморощенные художники были обязаны одной лишь собственной талантливости, а вовсе не руководству учителя Иверсена.

Наше так называемое «воспитание» было поручено комнатным надзирателям (за пансионерами) и надзирателям за приходящими; всех их неофициально, в глаза и за глаза, звали гувернерами. Это были по большей части немцы; один (Дешуданс) был француз; был между ними один грек — Доксаки. Русских между ними не было вовсе; да, может быть, в то время между русскими и нелегко было найти гувернера. Была, вероятно, и та мысль, что у них ученики могут научиться говорить по-немецки и по-французски. С нами все они говорили по-русски, немилосердно коверкая трудный для них язык. Поэтому никаких «бесед» между нами не было; они были только в состоянии давать короткие приказания, да мастера были браниться. Единственной их заботой было наблюдение за внешним порядком, чтобы ученики не опаздывали к урокам и не шумели, где не следовало. Также преследовали они очень строго контрабанду. Под этим разумелись все неучебные книги. Эти книги немедленно отбирались. Что с ними было далее, нам оставалось неизвестным; но нам они никогда не были возвращаемы, и просить об этом было бы напрасным трудом. Так, однажды, во время утреннего приготовления уроков, я, бывши в то время пансионером, покончив свои обязательные занятия, начал читать «Освобожденный Иерусалим» в русском переводе. Эту книгу принес мне из дому на несколько дней товарищ. Гувернер Б., еще лучший между другими, увидел эту книгу, тотчас отобрал ее и не отдавал, не смотря на все мои просьбы. Мне было и досадно ужасно, и стыдно перед товарищем. Один из гувернеров отбирал таким же образом шелковые платки, «преследуя франтовство», и перочинные ножи, «чтобы ученик не наделал беды». И на это никто тогда не жаловался. Правом взыскания пользовались в самых широких размерах и учителя, и гувернеры. Немногие прибегали к ручной расправе и драли за уши, но большая часть записывала самым усердным образом. Каждый из них мог оставить без обеда и без отпуска. Обращение их с учениками было постоянно суровое и грубое. Поэтому

маленькие их боялись и не любили (не то, что, напр., Ильенкова), а большие не уважали и избегали всяких лишних разговоров с ними.

В классах ученики вели себя хорошо, особенно в старших. Даже у самых слабых и невзыскательных учителей мы держали себя очень прилично, и попытки фамильярничанья постоянно вызывали порицание товарищей. Учители старались, с своей стороны, поддерживать этот тон приличия и обращались с нами, как со взрослыми. Высшей степенью наказания в низших классах было наказание телесное и было не особенно редкостью. Бывали случаи и общего «избиения младенцев», и делалась эта экзекуция, не знаю почему, по пятницам. Два таких случая я помню сам.

Обыкновенные, ежедневные взыскания состояли в оставлении без обеда и в лишении отпуска. Пансионеров и приходящих записывали отдельно. Записки о пансионерах передавались дежурному гувернеру, и он уже распоряжался по ним: ставил во время обеда к печке, по середине столовой, не позволял после обеда побегать по двору (это называлось на нашем школьном языке «без гулянья»). Записки о приходящих передавались швейцару — Ивану Ивановичу. Это был старый чиновник, за что-то исключенный из службы, и так как деваться ему было некуда, а семья большая, то он и поступил в гимназию в швейцары. Но он здесь положительно исправлял обязанности гувернера над приходящими. Как только ударит звонок в 1½ или 4 ч. пополудни, Ив. Ив. с кучей записок становится у выходных дверей и зорко высматривает записанных. Этим он коротко объявлял: до 4-х, до 6-ти, до 8-ми часов и несчастные, повесив носы, возвращались в шинельную. Это был длинный и узкий корридор; по обеим сторонам его были прибиты к стенам вешалки, и здесь мы оставляли свои шинели и фуражки. Единственное окно корридора выходило в узкий переулок у Пустого рынка; поэтому в корридоре никогда не было светло, а осенью и зимой, после 4-х часов, едва можно было различить №№ на вешалке. Вот в этом-то полусветлом корридоре да в таких же сенях виновные и отбывали время своего ареста от 1 до 4-х часов. Хлебом можно было раздобыться у пансионеров, которым в 4 часа давали хлеба и квасу, сколько угодно; но все же ученик был голоден, утомлен и возвращался домой на столько поздно, что не легко было приготовить порядочно уроки к следующему дню. А за это попадало и в следующий день. И таким образом случалось, что иной бедняга несколько дней сряду был записан, в сущности, за небольшие провинности; его лицо примелькалось гувернерам; он попадал в разряд «лентяев», «негодяев», «мерзавцев», «которых следовало высечь и выгнать», как говорил совершенно спокойно наш инспектор — Николай Николаевич Кнопф. А тут, как на беду, попадался какойнибудь шалунишка, которого следовало отодрать специально. Вот этим-то случаем и пользовались все власти, чтобы прихватить и других виновных.

Раз, помню, я не переписал урока из немецкой книги, хотя я по этому предмету и считался одним из лучших учеников, но учитель был не в духе и велел меня записать. В этот день нас, записанных во всех трех классах, набралось что-то больше тридцати человек. Как увидел директор целый пук записок в руках у Ивана Ивановича, страшно разгневался. «На! какое множество негодяев! Высечь их всех!» С его стороны это было сказано больше для острастки; но мы все, особенно новички, поняли это буквально и испугались не на шутку. Раздались торопливые возгласы: «Да я, Василий Васильевич, записан всего в первый раз!» — «Нечего тут разговаривать! Ступай, ступай!» И в самом деле, какие тут могли быть разговоры, когда приговор был произнесен и всем было некогда. Нас поставили парами и повели сначала по верхнему корридору между классами и по актовому залу, а потом уже свели вниз, в казарму служителей, где были приготовлены скамья и розги. На что был нужен этот полонез, я и до сих пор не берусь объяснить, но гувернеры пользовались этим случаем и из толпы зрителей то и дело выхватывали то того, то другого и ставили в пары. Когда мы вошли в казарму да увидели орудия истязания, то раздался такой оглушительный вой, что Василий Васильевич стал топиться покончить это дело. Он сам был человек довольно мягкого сердца, порядочно нервный и прибегал к подобным экзекуциям лишь в крайности. Мы считали его «не злым», а более сердитым и боялись скорее его крика и угроз. Другое дело был инспектор — Николай Николаевич Кнопф. Это был белокурый исполин, с крупными чертами лица, огромным носом и толстыми губами. Это был человек справедливый, очень строгий и невозмутимо спокойный, и если, по его мнению, какого-нибудь «негодая» следовало «высечь», то он производил эту педагогическую операцию так же спокойно и не торопясь, как какой-нибудь опытный хирург или скульптор. Из нашей воющей толпы извлекли по одному, человек 8 — 10 и высекли. Секли служители из солдат и секли ужасно больно. Некоторые, повидимому, любили сечь. Давно уже замечено, что мучение других, хотя бы и по какой-бы то ни было обязанности, в корень развращает самого палача, которому эта операция начинает доставлять даже наслаждение. Поэтому те педагоги, которые заставляли учеников сечь своих товарищей, совершали над детскою натурой гнуснейшее из преступлений.

При таких «экзекуциях в массе» наказание редко вызывало стыд; по крайней мере, не перед товарищами, скорее перед домашними, которые не знали, в чем дело, и веровали в педагогическую непогрешимость школы. Боялись физической боли; да и к этому некоторые скоро привыкли, так как телесные наказания назначались без особых долгих размышлений, и если ученик был однажды высечен, то для повторения экзекуции ему стоило только попасть в пары экзекуционной процессии. «А! ты опять попался! Ложись!» А за что попался, и велика-ли была на этот раз вина,

это не разбиралось: надо было отодрать поскорее несколько человек, для примера, и идти обедать.

Нередко между учениками 12—16-летнего возраста оказывались такие стойки, которые не молили о пощаде и экзекуции переносили молча. А это было нелегко, потому что подобная твердость озлобляла палачей и приводила в великое смущение секущее начальство. Ученики смотрели на такое проявление твердой воли с великим уважением. Где же при этом было то педагогическое значение розги, какое ей приписывали? Раз, помню, сидели мы на послеобеденном уроке. Ильенков еще не входил, потому что в это время совершалась экзекуция, и возвращавшиеся после нее ученики развлекали товарищей и могли бы мешать уроку. Вдруг влетает в класс Улесский, ученик нашего класса, мальчик лет 11 — 12, способный, но с ленцой, остроумный, веселый и большой шалун. На глазах его еще не высохли слезы. Его встретили, как и других, с молчаливым участием. Он на минуту остановился перед классом, окинул всех довольным взглядом и, похлопывая себя по страдалице, весело крикнул: «Вспрыснули! Теперь я прежде всего завтра иду в отпуск!» Бедняга был своекоштный пансионер и сидел без отпуска чуть ли не шесть недель. «А затем целый месяц, по крайней мере, школьничай, сколько хочешь: и на воскресенье не оставят и драть не будут!» «Молодец Улесский!» раздалось в ответ на этот вызов. Но были примеры и обратного свойства. На некоторые натуры розги наводили такой ужас, который ни с чем нельзя сравнить. Расскажу то, чему был сам свидетелем. Меня на этот раз записал Дешуданс за то, что я не списывал с книги в тетрадь заданное из французских диалогов. Замечу, что у Дешуданса я считался хорошим учеником, и это была моя первая вина у него. На этот раз директору вздумалось любопытствовать, сколько записанных? Опять оказалось что-то очень уж много. Тот же гневный приговор, построение в пары, процессия из 2-го этажа в нижний. Впереди шел директор. Когда мы подошли к дверям служительской комнаты (или просто «солдатской», как все ее звали) один мальчик лет 11-ти, который шел в первой паре, перетрусил до того, что бросился перед директором на колени и крикнул: «Всемогущий Василий Васильевич, прости!» Процессия остановилась. Шнейдер не вытерпел и расхохотался. Рассмеялись и все ученики, не смотря на грозящую опасность. Но директор уже был не в состоянии поступить с нами строго. «Поставить их всех на полтора часа (т.е. на все время рекреации между тремя утренними и четвертым, послеобеденным уроком) к стене и пусть им будет стыдно перед товарищами!» Тем дело и кончилось. И долгое время после этого мы не могли забыть «Всемогущего Василия Васильевича».

Наши игры и развлечения были очень просты: это была самая обыкновенная детская возня с криком, шумом и кое-где с дракой. Дрались между собою, чаще всего ученики первого и второго классов; в третьем этим за-

нимались уже очень редко. А в старших классах такие случаи бывали не чаще одного-двух раз в год. В возне нас не стесняли и в наши игры начальство не вмешивалось. Любимой игрой в классе была чехарда. В ней участвовало почти полкласса. Но эта игра затевалась только в отдаленных классных комнатах. Ловкие прыжки приводили зрителей в великий восторг; раздавались неистовые клики, оглушительные рукоплескания, и издали можно было подумать, что тут не весть что творится. Немец-гувернер чуть-ли не на рысях спешил к месту состязания; но, убедившись, что драки не было, а была только возня, делал замечание относительно шума и более не показывался. Подобные игры затевались «в перемену», т.-е. между уроками. Но бывало, что учитель не приходил вовсе на урок. В таких случаях иногда устраивались сценические представления. Между учениками везде водятся великие мастера копировать своих учителей. Этим отличаются особенно ученики, обладающие хорошим слухом и большою наблюдательностью. Они в состоянии создавать целые сцены. И для этого достаточно повторять то, что видишь и слышишь в классе. Приходилось импровизатору-актеру создавать свою роль на месте. Слушатели были довольно взыскательны, и хотя при веселом общем настроении всего класса и готовы были смеяться всякой незатейливой шутке, но, чтобы вызвать дружный взрыв хохота, нужна была большая находчивость. Неумелых актеров тотчас-же прогоняли на место без всякой пощады. «Не похоже! Убирайся! Не умеешь!» И несчастному артисту становилось на несколько минут очень стыдно! На сцене появлялись все действующие педагоги гимназии. Но, без сомнения, героем всех сценических представлений был Ильенков, а содержанием — суд и расправа во время латинского урока. Начальство знало об этих представлениях и не преследовало их, потому что в них было, воистину, много детского добродушия и незлобивости и совершенное отсутствие потрясения основ.

В мое время классная комната III-го класса была удалена от остальных. Она находилась на конце предлинного корридора. Прежде чем учитель или дежурный гувернер успевал дойти до середины корридора, уже все в классе было приведено в порядок, все сидели по своим местам и разве по красным и оживленным лицам можно было угадать, что «было дело»! Вот эта затруднительность надзора была отчасти причиной, что между нашими развлечениями было одно, вовсе не невинное. У одного из наших товарищей была тетрадь эротических стихотворений, сцен и даже целых пьес, и он был мастер читать их. Поэтому, когда учитель не приходил на урок, вместо него обладатель этой знаменитой тетради читал из нее отрывок при общем хохоте всего класса. Но на руки эта тетрадь все-же не выдавалась никому. Надобно, однако, заметить, что этого рода развлечения были довольно редки и что бесстыдничанье всякого рода вообще вовсе не поощрялось.

Из воспоминаний В. Я. Стоюнина *).

Владимир Яковлевич Стоюнин (известный педагог, сконч. в 1888 г.) первоначально обучался в частном немецком Анненском училище, о котором (хотя оно и считалось одною из лучших школ в Петербурге) он, однако, сохранил **) на всю свою жизнь далеко не светлые воспоминания: обыкновенное сечение и сечение по ладоням, или, как тогда называли, «по рукам» считалось там лучшим педагогическим приемом в отношении провинившихся детей. После двух лет учения в Анненском училище, Стоюнин был переведен в казенную 3-ю Петербургскую гимназию, которая, как говорит сам В. Я. в своей статье «Луч света в педагогических потемках» ***), «считалась лучшею, и в самом деле в некоторых отношениях была лучше многих других».

...«На мое несчастье в первый же день [в 3-й гимназии] я попал на сцену, которая со всеми подробностями глубоко врезалась в моей памяти. Там сечение по ладоням считалось варварским, а употреблялось по преданию обыкновенное сечение. Но класс, в смысле учебной комнаты, не осквернялся подобным действием; для этого назначалась особая комната; класс же в смысле учеников не избавлялся от зрелища в видах педагогических. Инспектор, охотник до расправы в этом роде, воспользовался случаем, когда оказалось нужным безотлагательно высечь одного провинившегося ученика, присоединил к нему несколько других, которые были у него на примете за прежние вины, и устроил зрелище для того класса, в который попал я. Нас повели попарно в специальную комнату, где было уже все приготовлено. Главный виновник неудовольствия начальства оказался тщедушный и скромный мальчик, который при виде орудий казни рыдал, просил прощения, но напрасно... Вина его состояла в том, что, любя предаваться мечтаниям, он пописывал стишки и, мечтая уже о славе поэта, вздумал предложить их редактору какого-то журнала для напечатания. Тот выбрал некоторые наиболее удачные и напечатал их не только с подписью имени автора, но и с припискою «ученик такого-то училища». Эта-та приписка и привела в ужас начальство заведения, несмотря на самое невинное содержание стихотворений. Но в тридцатых годах поэзия не очень жаловалась в официальных сферах, и заведению не представлялось особенной чести прослыть Парнасом. Бедный поэт был привлечен к жестокой ответственности, а чтоб другим было не повадно подражать ему, то в свидетели кары был выставлен весь класс, который наглядно должен был убедиться, каковы плоды вкушаются от поэзии. В товарищи поэту были выбраны двое

*) О В. Я. Стоюнине, как преподавателе 3-й гимназии, см. ниже — в воспоминаниях В. П. Острогорского и в заметке о праздновании 50-летнего юбилея гимназии.

**) По словам его биографа Б. Б. Глинского («Очерки русского прогресса». СПб. 1900 г., стр. 486).

***) «XXV лет. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». СПб. 1884 г., стр. 294.

силачей, которые, встретившись в коридоре, схватились друг с другом, чтобы вымерить свои силы и убедиться, кто из них сильнее, и один бездарный мальчик, которого принимали за лентяя. Понятно, что добровольно никто из них не мог отдать себя в распоряжение четырех солдат, из которых двое назначались для того, чтобы держать преступника за голову и за ноги, и двое для исполнения казни, с той и другой стороны скамейки. Омерзительно было видеть, как по распоряжению начальства накидывались на слабого ребенка четыре дюжие солдата и, несмотря на его сопротивление, приводили его в такое положение, какое им было нужно. Это насилие приводило в дрожь впечатлительных свидетелей. Я не буду описывать всех прочих подробностей зрелища, устроенного для одиннадцати или двенадцатилетних мальчиков. Гадко, отвратительно было все это. Трудно выразить то гнетущее чувство, каким затрепетало сердце каждого из нас: тут было и чувство собственного бессилия, и негодование за насилие над личностью, и какое-то омерзение к тем, кто устраивал такие сцены, не говоря уже о сострадании к истязуемым. И долго потом не могло изгладиться это впечатление, и даже явилось какое-то странное чувство: каждая встреча с пострадавшим товарищем производила на нас какое-то содрагание, как встреча с опозоренным человеком, неприятное чувство, от которого не скоро можно было отделаться.

За то подобные насилия и приносили плоды, каких, конечно, не ожидали чадолюбивые воспитатели. Мальчики ожесточались; наиболее сильные и смелые сговаривались не дешево отдавать себя на истязания, иные носили в карманах орудия защиты, и можно сказать наверное, что они употребляли бы его в дело, если бы дошла очередь до них. В летописи училища значится факт самозащиты ожесточенного ученика, которому грозили позорным наказанием. Два сильные его удара сшибли с ног инспектора и нагнали ужас на всех присутствующих в числе более двухсот человек. Это дело было замято; ограничились только удалением виновного из заведения».

Интересны воспоминания В. Я. Стоюнина о гимназическом преподавании истории *).

«С фактической стороной русской истории до-петровской эпохи мы были знакомы не дурно, благодаря нашему старательному наставнику в гимназии; за то восемнадцатый век нам представлялся только в одних войнах России с другими государствами и в сухих перечислениях разных учреждений, конечно, на пользу нашего отечества; не малую роль играло и превознесение личностей или деятелей истории, конечно, с целью пробудить в наших юных сердцах патриотическое чувство. Но настоящее сто-

*) Из статьи «Без истории и преданий». — «Древняя и новая Россия», 1879 г., кн. I.

летие являлось перед нами в густом тумане. Мы знали только, что после Павла Петровича царствовал Александр Павлович, что он вел войны с Наполеоном, что в 1812 г. французы выжгли Москву, а потом и сами на половину перемерзли и лишь в небольшом числе с своим Наполеоном успели ускользнуть из разоренной России; знали, что затем победоносные русские войска были в Париже и не сожгли его, прославились своими подвигами на весь мир, а после того нам предоставлялось хвалиться и гордиться перед всеми народами своею силою и славою. Все эти знания оживлялись и раскрашивались в нашем воображении чтением патриотических произведений наших поэтов, которые попадали в хрестоматии; мы верили им на слово и думали, что у всех на уме была только одна задача—прославить наше любезное отечество, что в этом они успевали как нельзя лучше, за что мы были им очень благодарны. Правда, темные предания о героях восторженных од представляли нам многие уголки совсем с другим освещением, вносили в наши юные умы противоречие и подрывали веру в исторические и поэтические похвалы. Наши добрые наставники старались оберегать нас от преждевременного скептицизма; но не знали: чем больше лжи приходилось нам слушать и читать, тем сильнее и скорее выказывалось противоречие всего этого с теми преданиями, для которых не может быть цензуры; они слушались из уст людей близких, передавались часто шепотом как тайна и тем более находили веру в наших сердцах.

Романы Лажечникова и Загоскина были для нас настоящею историею, из которой мы почерпали сведения о прошлом и которою питали наше патриотическое чувство. Но и тут тайна играла не маловажную роль. Так «Ледяной дом» и «Последний Новик» были с особенною жадностью нами прочитаны, потому что они считались запрещенными. Не знаю, было ли действительно секретное распоряжение—не допускать их в продажу, но в наше время их нельзя было найти в лавках, они с особенной бережливостью хранились в маленьких семейных библиотеках и с некоторою таинственностью выдавались для чтения как запрещенные, и мы также тайком проглатывали их, не понимая, впрочем, что же там могло вызвать запрещение. И вот историческая правда и тайна сделались для нас как бы синонимами; естественно, что мы стали искать правды там, где начинали рассказ шепотом, предварительно оглядевшись во все стороны. Так мы узнали значение точек в некоторых стихотворениях Пушкина, узнали, что проигранная нами битва при Аустерлице за сорок слишком лет до нашего времени продолжала считаться официальным секретом, и что это несчастное имя даже исключалось из стихов того же поэта. Мы видели, как ревниво оберегали наше патриотическое чувство от всего того, что могло неприятно его затронуть. Но охраняя его мраком тайны, в нас подрывали веру во все официальные сообщения. Думали воспитывать наше чувство

громкими рассказами только о наших победах, а шепотливые предания действовали разрушительно на эти педагогические соображения. Конечно, и в таинственных рассказах было много преувеличенного, но проверить сколько правды в них и в книгах, слывших за исторические, никому не было возможно: Обыкновенно давалось более веры тому, что считалось за тайну. Таково свойство тайны. Все это приносило обильную пищу нашему воображению и направляло нашу мысль. Нам указывали на дом, связанный с воспоминанием о Бироне, и наше воображение рисовало Ледяной дом на Неве и страдания многих бедных людей от немецких затейных потех. Нам указывали на улицы, где преследовала картечь бегущих бунтовщиков 14 декабря, указывали и на место, где потерпели казнь виновники этого несчастного события. Наше воображение и тут разыгрывалось, и мы приходили в недоумение, зная факт, но не зная ясных причин его. Эти последние рассказы особенно затрогивали наше любопытство, потому что относились ко времени наиболее нам близкому, и нам чаще приходилось встречаться с свидетелями события. Но вообще все наши исторические представления, развившиеся из тайных преданий, не отличались ясностью, хотя и проникались нашими симпатиями или антипатиями. Это не служило в пользу наших правильных отношений к действительности и жизни. Припоминая их теперь и приводя все в историческую связь, видишь, как односторонни были эти представления, каким театральным светом освещались они, и как пристрастна была идеализация некоторых личностей, имена которых нельзя было найти на страницах тогдашних цензурных исторических рассказов. Нашими идеальными друзьями из прошлых поколений делались те, память о которых желали совершенно изгладить. Здесь тайна служила не тому делу, для которого она предназначалась.

Между тем у некоторых из нас успело развиваться желание ближе познакомиться с своим историческим прошедшим, и если одни успокаивались на исторических романах, зато другие искали действительных исторических книг. Но до них добраться не всем нам было очень легко. Романы доставались легче, так как они в большом числе ходили по рукам из семейства в семейство. Охотников до серьезных книг между взрослыми нашими близкими и знакомыми было очень немного. В гимназиях же библиотеки существовали не для учеников. Покупать же книги или подписываться в книгопродавецские библиотеки, чтобы брать для прочтения, было не на что. Зато какое было удовольствие, когда одному из нас, еще пятнадцатилетних мальчиков, случилось узнать, что в Петербурге есть императорская Публичная Библиотека, куда три раза в неделю можно всякому ходить читать серьезные книги. В первый раз с сердечным замиранием пришлось входить в это хранилище книжных сокровищ: а ну как по начальнически встретят вас, скажут, что вы молокосос, еще не доросли до чтения наших книг, читайте свои учебники, да занимайтесь уроками.

Но этого не случилось; получили входной билет с номером, записали название одной из тех книг, которые уже давно были намечены, и с этого дня любознательность понемногу стала удовлетворяться. Было только затруднение в выборе времени: классы в гимназии тогда продолжались с 8 час. утра до 12^{1/2} и потом после двухчасового промежутка, который назначался на обед и отдых, до 4 часов. Вечер же служил для приготовления уроков. Из всего этого времени приходилось жертвовать промежуточное время от 12^{1/2} до 2^{1/2} час., об обеде не думалось, можно было пообедать и после четырех часов. И вот, три раза в неделю два-три гимназиста с голодным желудком направлялись со своих школьных скамеек в библиотеку с тем, чтобы через два часа возвратиться на те же скамейки. Чтобы подавить бурчанье желудка, покупали у гостиного двора трехкопеечную сайку, запрятывали ее в карман форменного сюртука и потом уже съедали, сидя за книгою в читальной зале библиотеки, по возможности скрытно от других читателей. Впрочем, особенно скрытничают редко приходилось: читателей в те времена было так немного, что всегда можно было найти место подалее от других, чтобы истребить свою скудную пищу, да едва ли бы все эти разночинцы-читатели и осудили гимназиста, за книгою утоляющего голод.

Но встретила тут беда, о которой и теперь хладнокровно не вспоминается. Некоторые из дежурных библиотекарей, обязанных выдавать и принимать книги, обременялись этим не трудным делом и выражали недовольствие, разумеется, перед теми, от кого не могли ожидать резкого отпора, как, напр., перед нами, гимназистами. Выдавать книгу на то короткое время, которое мы могли посвятить для чтения, им казалось делом беспокойным. Они не хотели вникнуть в обстоятельства юного читателя и, принимая от него книгу, не совсем ласково делали ему замечание: вы наверное приходите сюда только греться. Вспыхнет бывало бедный мальчик, пробормочет, что у него нет больше времени и уходит сконфуженный, спеша скрыться от насмешливых взглядов посторонних свидетелей незаслуженного упрека. На следующий раз он входил в круглую залу библиотеки, где выдавались книги, с опасением, задавая себе загадку: кто то сегодня дежурный и не придется ли снова покраснеть от замечания досадливого библиотекаря. Случалось—дело обходилось благополучно, случалось слышать и новые обидные замечания и все из-за того, что не мог читать более часа с четвертью. Бывали и другие неприятности: приходилось долго стоять с книгою и выжидать, когда занятому чтением библиотекарю вздумается подняться со стула и принять от вас книгу; смотришь на часы, минута идет за минутою, видишь, что уже опоздал в класс, что придется выслушать нагоняй в гимназии, а библиотекарь все читает и томит тебя своим невниманием. Наконец-то книга возвращена, бегом спешишь по Садовой улице, запыхавшись вбежишь в гимназию—опоздал не-

сколько минут — выговор готов, едва отдышешься на своей скамье. Но такая негостеприимность нисколько не охлаждала нашего рвения — посещать читальную залу библиотеки. Здесь прочитал я несколько историй о Петре Великом, какую-то старую историю Малороссии, описание Отечественной войны и войн последующих годов с французами Михайловского-Данилевского, перебрал «Вивлиофику» Новикова, кроме многих переводных историй и сочинений разных русских поэтов. Помню, с каким сердечным трепетом читались некоторые страницы Отечественной войны, как пробуждалось это чувство, связывающее нас с отечеством, как скоро пролетало время за таким чтением, и с каким трудом приходилось отрываться от него, чтобы возвратиться в класс к латинским или греческим переводам.

Добыв таким нелегким путем исторические сведения об одном из важных моментов жизни русского народа, мы не долго были спокойны. Мысль опять стала раздражаться неудовлетворением: стали повторяться отзывы об истории Михайловского-Данилевского, которые приписывались людям знающим и уважаемым, будто это не история, а сказки, будто в ней автор себе на уме: кого не в меру превозносит, кого из личных расчетов унижает. В числе критиков его называли и генерала Ермолова, жившего тогда в Москве и слывшего между нами за идеального героя. Как же было не поверить таким критикам. И опять недоумение, опять досада, что никак нельзя добраться до правды. Все лживость или тайна. Во всем как будто слышится один и тот же голос: это не ваше дело. И невольно думалось: чье же это дело и отчего оно не наше; зачем же нас учат истории, если искание исторической правды не наше дело. Мы никак не могли попасть на прямую открытую дорогу, которая бы соединила нас с общим делом нашей родины и повела бы нас согласно с нашим возбужденным стремлением с пользою послужить общей жизни. Общее дело было не наше дело. В этой короткой фразе заключалась подавляющая сила, под которой и склонилось большинство, отдаваясь всецело только своему личному делу. Мы оставались так наивны в своем историческом неведении, что впоследствии, когда пришлось вступить на службу и когда нам подносили для подписи акт отречения от масонских лож и от разных противозаконных обществ, мы смотрели во все глаза чуть не с открытым ртом на подносящего чиновника и спрашивали: что это за масонские ложи и какие это запрещенные общества. Мы не знали исторического происхождения этих отречений, а масонские ложи были давно забыты, о них если и доходили до нас рассказы, то самые неясные. Чиновник с усмешкой отвечал нам, что это государственная тайна, и потому не наше дело, что много будем знать, скоро состаримся, а если начальством приказано подписывать, то и нужно без рассуждения исполнять приказание. Таким образом и тут явилась тайна...

Из воспоминаний о третьей С.-Петербургской гимназии (1845—1852 гг.) К. К. Сент-Илера *).

Г В августе 1845 года я поступил казеннокоштным воспитанником в первый класс 3-ей С.-Петербургской гимназии, которая и тогда помещалась, как и ныне, на Гагаринской улице, у Пустого рынка. Я жил в гимназии всю неделю, а в субботу уходил домой до воскресенья вечером. Я вовсе не помню, чтобы пребывание в гимназии мне было, даже в начале, очень тяжело. Хотя наша жизнь дома, в семье, была в высшей степени мирная и приятная, и я с особым удовольствием ожидал субботы, чтобы повидаться со всеми домашними, но в гимназии я не плакал, не томился и довольно скоро освоился с интернатом. Характер у меня тогда был живой, я легко знакомился, скоро подружился с некоторыми товарищами, любил играть на дворе и бегать по большому корридору. Несмотря на довольно плохую еду в гимназии, я и к этому привык и съедал свою порцию с аппетитом, между тем как многие поступившие со мною новички не могли почти ничего есть и питались покупными булками. В 3-ей гимназии не было обычая обижать новичков. Иногда только III-й класс врывался в спальню I-го класса, когда мы уже лежали в постелях, и начинал нас тузить подушками. Но тогда поднимался ужасный гвалт, и спавший не очень далеко гувернер приходил и прогонял третьеклассников. Воспитанники 7-го и 6-го класса иногда силою схватывали очень маленького мальчика первого класса, раздевали его до нага и купали в умывальнике, называя это крестинами, но это случалось очень редко, так как начальство всегда об этом узнавало и строго наказывало виновных. Н. М. Аничков в своей истории III-ей гимназии («Историческая записка 50-летия Третьей С.-Петербургской гимназии», 1878, стр. 172) говорит о сильном гнете «старичков» над новичками, но я не могу подтвердить этого своими воспоминаниями. Без сомнения, старички сильно командовали в классах, т.-е. задумывали и начинали всякие шалости, грубили учителям, иногда колотили младших товарищей, но все-таки особого гнета не было и стоило пожаловаться Ф. А. Аккерману, то старичка секли без всякого поощрения. Помню, что в V классе очень большую власть в начале учебного года приобрел один из оставшихся на второй год взрослый гимназист. Однако, это так возмутило всех остальных, что раз в перемену между уроками все ученики V класса набросились на этого старичка и так основательно

*) Воспитанник XXV выпуска; зоолог, бывший директор спб. учительского института. Под его редакцией издано несколько капитальных сочинений, в том числе «Жизнь животных» Брэма.

Воспоминания К. К. Сент-Илера напечатаны в «Русской Школе» 1898 г., №№ 4 и 5—6.

его поколотили, что он ушел в лазарет. Он не жаловался, нас за это не наказали. Благодаря умению говорить по-французски, я скоро приобрел расположение некоторых воспитанников старших классов, которые любили во время рекреации со мною гулять по корридору и разговаривать по-французски, при чем я играл роль учителя и поправлял их, когда они ошибались. За это воспитанники эти мне помогали в учебной работе, особенно по латинскому языку, который мне давался с трудом.

Считаю нужным напомнить, что в Петербурге тогда было только пять гимназий, из которых четыре с пансионами. Все пансионеры тогда носили мундиры с фалдами и красными воротниками. Первая гимназия, самая аристократическая, имела на воротниках по две золотых петлицы; вторая — две серебряных, наша третья — имела одну золотую петлицу, а четвертая, Ларинская — одну серебряную. Пятая гимназия состояла из одних приходящих и потому воспитанники ее носили двубортные сюртуки (как теперь студенты) с красным воротником. Такие-же сюртуки носили все приходящие и в других гимназиях, а мундиров у них не было.

В гимназии все воспитанники носили черные куртки без фалд, с красными воротниками и медными пуговицами и черные брюки с откидным гульфиком, что было очень неудобно. Кроме того, гимназии отличались еще кантиком на фуражках, которые были черные с красным околышем. Первая гимназия имела на тулье фуражки красный кантик, вторая — белый, третья — синий, четвертая — зеленый, а пятая — желтый. Для выхода на улицу нам роздали шинели из серого сукна, с таким-же воротником; шинели эти были на половину подбиты зеленой байкой. Те воспитанники, которым зимою эти шинели казались холодными, должны были на свой счет их класть на вату, при чем дозволялось иметь и меховой воротник. Чистить платье и сапоги должны были сами воспитанники, но за это брались и служители (дядьки) за 1 р. 50 коп. в месяц.

Помещение 3-ей гимназии было тогда довольно просторное. В верхнем этаже был очень широкий корридор, служивший также и рекреационным залом. От него в одну сторону, окнами на Гагаринскую, были расположены комнаты II-го, III-го, IV-го, V-го и VI-го классов. Комнаты эти были глубокие и довольно плохо освещены. I-й класс помещался в проходной большой комнате, ведущей к лестнице, по которой спускались в церковь и столовую, а VII-й, старший класс, был в среднем этаже, где были расположены также три низших параллельных класса для приходящих и актовый зал. Большое преимущество помещения было то, что вечерние и утренние занятия происходили не в классных комнатах. I и II класс сидели вечером в очень просторном I-м классе. У III-го класса была для занятий особая комната около спален, так называемая в то время третья камера. Четыре старших класса занимались в просторном зале, расположенном над актовым залом и куда вели несколько ступенек из большого

корридора. Спальни были расположены все вместе в пяти очень больших комнатах и одной маленькой. Воспитанники спали по классам, так что маленькие были по возможности отделены от больших. Между спальнями 1-го и 7-го класса была одна из двух умывален и на ночь дверь запира-лась на ключ. Гувернер спал у 2-й умывальни, очень далеко от спален старших и младших классов. В спальнях были шкафы под нумерами, где хранились наши мундиры и собственное белье, а между кроватями стояли высокие тумбы с ящиками. Отхожие места находились в одной стороне спален, так что почти всем было ходить туда далеко; они были устроены самым простым образом, без водопровода, и там было всегда очень хо-лодно.

В первые четыре года моего пребывания в гимназии день распреде-лялся следующим образом. Первый звонок к вставанию давался в 5¹/₂ ча-сов утра, при чем служитель ходил между кроватями и звонил безоста-новочно в большой колокольчик. Воспитанники так привыкли к этому звону, что большинство не слышало его вовсе. Через ¹/₄ часа по всем спальням проходил дежурный гувернер, чтобы будить спавших. Маленьких он бесцеремонно толкал и грозил записать и оставить без булки, а стар-шим повторял несколько раз: вставать, вставать, второй звонок! Однако, из воспитанников старших классов очень немногие вставали тогда, а до-жидались второго звонка. Служитель в 6 часов второй раз проходил по всем спальням и звонил не так громко, с перерывами. Тогда все подыма-лись, наскоро мылись и одевались и спешили уйти из спален, которые скоро закрывали на ключ. Собирались для утренней молитвы в столовой, которая помещалась в нижнем этаже, под церковью. Там один из воспи-танников старших классов читал молитвы (сколько я помню, пения не было) и евангелие, при чем последнее часто читалось на латинском или гре-ческом языке. В мое время было очень много богомольных гимназистов, которые вставали раньше и долго, стоя на коленях, молились перед дверью в церковь, куда в будни не пускали. Утром в столовой нам давали *сби-тень* (чай стали давать только с 1849 года), т.-е. варево из воды, патоки и лаврового листа; кто хотел, пил сбитень с молоком или без молока. Стаканы были оловянные. К сбитню давалась булка, спеченная в гимназии и довольно плотного теста. После сбитня все воспитанники попарно шли в камеры для занятий и оставались там до 7³/₄ часа утра. Затем с 8 до 12¹/₂ часов было три урока, по 1¹/₂ часа, с краткими переменами. В 12¹/₂ часов опять шли в столовую обедать. Обеды наши в начале моего пребы-вания в гимназии отличались большим однообразием и простотою. Рас-пределение кушаньев было, примерно, следующее: в понедельник щи без всякой заправки и вареное мясо с картофельным соусом; во вторник суп с картофелем и куском вареного мяса и пироги с кашей; в среду суп с какою-нибудь крупю и вареное мясо с капустным соусом, а с четверга

повторялись кушанья в том-же порядке, только в пятницу пироги были не с кашею, а с черничным вареньем, и эти пироги особенно нравились гимназистам. К обеду подавался довольно вкусный квас, а черный хлеб выдавали по ломтю на каждый прибор. После обеда до 2¹/₂ часов не было обязательных занятий и нас часто, даже зимою, пускали гулять на просторный двор, который был отделен от переулка каменною стеною, а с трех сторон покоем был окружен гимназическими зданиями. Зимою на дворе устраивали невысокие горы и с них катались на коньках и маленьких санках, а весною и осенью часто происходили общие игры, из которых самыми любимыми были: большой мяч, который подбрасывали ногами, лапта и бары. Впрочем, эти игры устраивались большею частью учениками старших классов, а маленькие играли в котлы, мячики и пяташки, если двор не был занят большими. С 2-х до 3¹/₂ часов был еще урок, а затем нас опять вели в столовую, где гимназисты получали, как говорилось в отчете: «простой, но вкусный и здоровый завтрак». Завтрак этот состоял из ломтя черного хлеба с солью и стакана кваса. После этого был опять отдых до 6 часов, а затем занятия до 7¹/₂ часов вечера, когда мы ужинали. За ужином редко давали мясо, а чаще всего размазню из гречневой крупы, картофельный соус, картофель в мундире и пироги. Кроме того, мы получали снова по стакану сбитня. В 8¹/₂ часов вечера была общая молитва в коридоре третьего этажа, а в 9 часов нас вели в спальню, где не позволяли долго разговаривать, а заставляли скорее раздеваться и укладываться спать. По субботам остававшиеся в гимназии и певчие ходили ко всенощной, а в воскресенье утром к обедне.

О воспитательной стороне интерната гимназии у меня сохранилось больше хорошего, чем дурного. Во время моего пребывания в гимназии директором был Ф. И. Буссе, а инспектором Ф. А. Аккерман. Ф. И. Буссе несомненно должен быть причислен к числу выдающихся русских педагогов того времени, и более известен как составитель чрезвычайно распространенных учебников математики. Но, кроме того, он был в высшей степени начитанный и умный человек, который и с воспитательной стороны сильно влиял на вверенное ему учебное заведение. Даром слова он не отличался, и его речи и нотации воспитанникам иногда были довольно бессвязны и в них часто слышались повторения одной и той же мысли. Но все воспитанники относились к нему с большим уважением и хорошо понимали, что Федор Иванович искренно любит детей и желает им добра. Несправедливостей, сильного гнева или потворства своим ученикам никто от него не видал. Мы, дети, конечно, не понимали его тогда вполне, но теперь видишь, что весь строй учебной и воспитательной стороны заведения от него зависел и что гувернеры действовали под его влиянием и потому дело шло стройно и хорошо. Ф. И. Буссе не принадлежал к числу суетливых начальников, которые беспрестанно снуют по заведению и любят де-

лать всем замечания. Мы видели директора каждый день — в классах, во время рекреаций и приготовления уроков; даже ночью он иногда ходил по спальням. Но большею частью он присутствовал на уроках молча, и вечером только изредка подходил поговорить с тем или другим гимназистом. Но если он к кому-нибудь подходил, то очень обстоятельно расспрашивал, что задано, что ученик готовит, часто поверял и исправлял задачи и переводы, или вызывал другого ученика, требуя, чтобы он указал на сделанные в работе ошибки. Он очень любил, когда дети сами к нему подходили и о чем-нибудь спрашивали, но если вопрос доказывал очень плохое знание предмета, то он бранил ученика и говорил ему, чтобы он обратился к товарищу, при чем называл фамилию хорошего ученика этого класса. Часто случалось, что Федор Иванович выслушивал, как названный ученик объяснял своему товарищу и хвалил или поправлял ученика. Раз только я помню, что Федор Иванович очень рассердился на одного из моих товарищей, когда мы были уже в VI классе и проходили логарифмы. Ученик этот, очень хороший филолог, но плохой математик, обратился к директору с просьбою объяснить что-то по логарифмам, но вопрос был до того глупый, что все присутствовавшие расхохотались. Федор Иванович очень рассердился и сказал ученику: «Видно, что вы ровно ничего не знаете по алгебре; читали ли вы начало розданной вам моей книжки о логарифмах?» Гимназист уверял, что читал, и все-таки не понимает. Тогда директор обратился к прочим ученикам VI-го класса и спросил: «А вы понимаете?» Мы все сказали, что понимаем очень хорошо и тут-же доказали это ответами на его вопросы. Тогда директор все-таки сердито сказал спрашивавшему ученику: «Вам нужно единицу поставить и вас в классе оставить на второй год». Однако, после этого он несколько раз звал к себе этого плохого ученика, объяснял ему не только логарифмы, но многое из алгебры и довел-таки этого плохого математика до того, что он получил на экзамене по математике тройку и был переведен в следующий класс.

Инспектор, Федор Андреевич Аккерман, уже был совсем другого характера. Это был человек живой, подвижный, любил говорить и выражался по-русски совсем правильно, но с акцентом; он знал также прекрасно немецкий и французский языки. Его нельзя было упрекнуть в невнимании к воспитанникам, но он больше заботился о внешней обстановке и поведении учеников. Он осматривал часто по утрам у маленьких руки, чисто-ли они вымыты, посылал стричься тех, у кого волосы оказывались длинными. тотчас замечал, если у кого не доставало пуговицы, или куртка была разодрана, приказывал делать новые подметки на разорванных сапогах и т. д. Когда гувернеры жаловались на какого-нибудь гимназиста, то он при всем классе делал ему выговор в очень сильных выражениях и большею частью очень многословный. Случалось, что он делал выговоры всему

классу, и при этом сильно кричал, но не бранился нехорошими словами. По субботам почти всегда происходили экзекуции, т.-е. секли провинившихся воспитанников и лентяев, что происходило всегда в бане, не в присутствии других учеников. Не знаю, как решался вопрос о сечении, обсуждался ли он в педагогическом совете или решался по соглашению директора с инспектором, но мы, гимназисты, были твердо уверены, что все зависит от Федора Андреевича; директор, говорят, при сечениях никогда не присутствовал, и я не помню, чтобы он кому-нибудь грозил розгами. Федор же Андреевич делал это очень часто. Бывало, утром в субботу инспектор зайдет на первый урок и начинает вызывать тех, кого нужно высечь, при чем объясняет и вину ученика. Однако, иногда он вызывал и такого, который на неделе ни в чем не попался или был записан только за маленькую вину. На протест ученика инспектор обыкновенно отвечал. «Твой отец или твоя мать просили тебя высечь; верно, ты дома что-нибудь накуралесил». Я по опыту не могу судить, больно-ли секли в гимназии и много-ли розог давали, так как ни разу не подвергался экзекуции. Но большинство товарищей относились довольно легко к этому наказанию, вовсе не стыдились его и не очень жаловались. Воспитанников старших классов не секли, а сажали в карцер, который был устроен при лазарете. В конце моего пребывания в гимназии карцеры эти были ужасные. Часть узкой комнаты в одно окно была разделена досчатыми перегородками на три части, так что ширина отделения была немного более аршина. В отделении была только табуретка и свет проходил через замазанное окно. Впрочем, в карцере держали не долго, только по несколько часов, а наказанные воспитанники спали в лазарете. Крупными наказаниями считались лишение отпуска на все воскресенье или на субботу вечер, так что отпускали наказанного только в воскресенье после обедни. Мелкие наказания назначались учителями и гувернерами: тогда очень часто ставили на колени в коридоре или в классе или просто ставили в угол. Кроме того оставляли без булки или без пирога, которые в этом случае заменялись ломтем черного хлеба. Некоторые гувернеры очень злоупотребляли этим наказанием и отнимали много пирогов и булок, конфискуя их в свою пользу и отправляя их к себе домой. Не знаю, известно ли это было директору и инспектору, но мы очень хорошо знали, у какого гувернера будет много наказанных без булок и пирогов, и некоторые из наших воспитателей бесцеремонно клали пироги и булки в обширные карманы своих виц-мундиров, или, отнимая съестное, шутливо говорили: «Мои дети это за твое здоровье съедят». Не только гувернеры, но даже некоторые учителя наказывали учеников младших классов, дергая их за волосы или за уши, а также били линейкой по пальцам, что тогда практиковалось во всех школах. Однако, жестоких экзекуций подобного рода не происходило и гувернеры не слишком злоупотребляли правом кулачной расправы. Помню



однако, что один из гувернеров очень больно и со злостью щипал гимназистов, за что его сильно недолюбливали. Подобные наказания не вызывали протестов учеников и считались вполне понятными и законными.

Гувернеры наши были большею частью немцы, но довольно хорошо говорящие по русски, и почти все были вместе с тем и учителями, напр., Г. И. Дешуданс и А. Л. Ларош преподавали в младших классах французский язык, Ф. Ф. Дилингер, Ф. Е. Мундель, Я. М. Трейман и А. Я. Тринклер — немецкий язык, И. А. Раутенберг — чистописание, а П. С. Юрьев русский язык у приходящих. Нельзя сказать, чтоб воспитательное влияние наших гувернеров было сильное; деятельность их ограничивалась большею частью внешним надзором за порядком. Чаще всего гувернер дремал, сидя в своем углу, и подымался только, когда раздавался звонок к ужину или молитве, а иногда, когда слышался в каком-нибудь классе или камере необычный шум. К ним редко обращались за помощью при приготовлении уроков, разве какой-нибудь шалун нарочно спрашивал то, что гувернер не мог знать, и радовался его конфузу. С ними иногда и вступали в разговор, но по разным посторонним вопросам. Например, один из гувернеров, Э. А. Нат, был специалистом по изготовлению фейерверков и многие гимназисты у него учились (конечно, теоретически) готовить ракеты и римские свечи и т. п. Другой гувернер был хорошим охотником и любил разговаривать об охоте. Однако, следует признать, что если гувернеры наши не отличались положительными достоинствами, то у них было не мало хороших отрицательных качеств, что в конце 40-х и в начале 50-х годов также имело значение. По рассказам, может быть и преувеличенным, друзей и товарищей, которые жили тогда в других интернатах, там гувернеры вели себя очень плохо. Рассказывали, что некоторые из них устраивали на своих квартирах для учеников старших классов попойки с дамами легкого поведения, другие доставляли своим воспитанникам запрещенные книги, иные брали взятки и ожидали к праздникам подарков от родителей учеников. Часто слышно было в то время, что в интернатах происходят крупные скандалы, нелюбимых гувернеров били, забрасывали вареным картофелем, выгоняли учителей из классов и т. д. В третьей гимназии в течение семи лет моего пребывания в ней никаких крупных скандалов не было; я никогда не слыхал, чтобы кого-нибудь из гувернеров и учителей обвиняли во взяточничестве; гувернеры ничего не позволяли себе незаконного, кроме вышеуказанного отнимания пирогов и булок. Случалось, правда, что в спальнях устраивали дежурному гувернеру, которому хотели насолить, так называемый «бенефис», т. е., лежа в кроватях, начинали свистеть, мяукать, лаять и т. д. Гувернер бежал в камеру, где происходил шум, и унимал воспитанников, а гам начинался в другой стороне спален. Большею частью тогда записывались в штрафной журнал несколько учеников, уже раньше замеченных в шалостях; маленьких секли, а больших

запирали в карцер. Я однако, помню, что один раз воспитанники 6-го и 7-го классов заступились за гувернера, которому был устроен бенефис учениками 3-го и 4-го классов. Гувернер этот был очень строгий, но вполне порядочный и справедливый человек. Когда шум возобновился, то старшие ученики ворвались в камеру, где спали 3-й и 4-й классы, и стали бить мальчиков, чтобы они перестали галдеть. Довольно хороший воспитательный строй Третьей гимназии несомненно зависел от хорошего влияния ближайшего начальства учебного заведения, особенно директора, Ф. И. Буссе. Ему гимназия была обязана и тем, что в классах учителя относились, почти все без исключения, серьезно к своим обязанностям, были требовательны, но не безразсудно, более или менее справедливо ставили баллы, одним словом, своим поведением также действовали и в воспитательном отношении благотворно на учеников, особенно на гимназистов старших классов. В 1849 году, кроме изменения программ преподавания, о чем я скажу позже, изменено было и распределение времени в гимназии. Уроки начинались в 9 часов и до 11^{1/2} часов было два урока по 1^{1/4} часа; от 11^{1/2} до 12 был завтрак; затем от 12 до 2^{1/2} опять два урока. В три часа мы обедали, потом была рекреация, приготовление уроков от 5 до 7, а в 7^{1/2} или 8 часов, по прежнему ужинали. С этого времени нам стали давать чай, вместо сбитня, и кушанья стали более разнообразны. За то плата с пансионеров была увеличена. Следует еще заметить, что 6-й и 7-й классы пользовались у нас особой привилегией: ученики этих классов получали двойные порции, очень большие пироги и булки, и больше мяса. Гувернеры, которые обедали с нами, конечно, также получали двойные порции.

Так как я до сих пор описывал внешний строй жизни интерната гимназии и воспитательную сторону ее, то хочу коснуться одного щекотливого вопроса, заботящего многих родителей, отдающих детей в закрытые учебные заведения. Несомненно, что в интернатах мальчики скорее теряют душевную чистоту и раньше узнают о половых отношениях между мужчинами и женщинами, чем приходящие, которые живут в семьях и только посещают классы в школе. Во время рекреации, а особенно вечером в спальнях всегда некоторые более опытные в этом отношении мальчики начинают разговаривать о различных неприличностях и всегда находят слушателей. В старших классах рассказываются еще более соблазнительные факты и анекдоты, и молодому человеку, даже совсем не желающему вмешиваться в эти разговоры, трудно совсем отстраниться от них. Конечно, в интернате Третьей гимназии зло это существовало, как везде, но явного разврата и цинического отношения к разным мерзостям не было. Если и водились за некоторыми воспитанниками тайные пороки, то это скрывалось от товарищей и ими не хвастались; но старшие гимназисты любили рассказывать о своих любовных приключениях и их охотно слушали.

Жизнь в интернате была вообще очень однообразна и скучна и приготовление уроков не всегда наполняло свободное от классных занятий время, особенно для меня, так как я был очень хорошо подготовлен дома. Помню, что я помогал готовить уроки многим товарищам, но по древним языкам сам был не особенно силен и нуждался в помощи. Посторонних занятий, кроме игры на дворе, да в костяшки или перышки в камерах не было. Часто во время вечернего приготовления уроков мы, воспитанники младших классов, выпрашивались к портному, чтобы зашить разорванную куртку или штаны. Портной этот был большой балагур и около него всегда собиралось много гимназистов. Он сидел постоянно на столе по турецки и рассказывал нам народные русские сказки, легенды и даже пел потихоньку песни. Его любили расспрашивать о разных разностях и он примешивал постоянно к своим ответам разные прибаутки, пословицы и поговорки. Иногда рассказы его были не совсем приличны и в выражениях он не стеснялся; но это был единственный человек, который с нами говорил простым народным русским языком и этим он приносил гимназистам некоторую пользу. На уроках русского языка мы занимались грамматикой или читали в хрестоматиях того времени отрывки из классических русских писателей и заучивали довольно высокопарные стихотворения. Простонародную русскую речь мы знали только по некоторым басням Крылова, и потому разговор с солдатом-балагуром нас знакомил со многими для нас неизвестными русскими оборотами. Хотя Н. М. Аничков и упоминает в своей исторической записке об ученической библиотеке при нашей гимназии, но я в своих воспоминаниях не нахожу никаких следов влияния внеклассного чтения, по крайней мере в младших классах. В лазарете был, правда, небольшой шкаф с книгами и больные могли получать их, но, сколько помнится, там было больше книг на немецком и французском языке, а также подстрочные переводы греческих и латинских авторов, которыми мы часто пользовались. Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других новых русских авторов знали тогда немногие из моих товарищей, но в старших классах некоторые воспитанники были очень начитаны и даже сами сочиняли стихи. Очень может быть, что насчет русских книг память мне и изменяет, так как я много читал дома французских книг и даже приносил их с собою в гимназию. Однако, помню, что в IV-м и V-м классах я увлекался чтением Марлинского, Кукольника, а также романами Загоскина и Зотова. В V-м классе у нас в гимназии даже затеяли издавать рукописный журнал, редактором которого был очень начитанный и талантливый товарищ, бывший потом профессором декламации в театральном училище. Однако, затея эта, как обыкновенно, не удалась, потому что писание и переписывание статей брало слишком много времени, а читателей у этого журнала было мало. Два раза во время моего пребывания в гимназии затевали театральные представления. В первый раз случилось

это, когда я был во втором классе. Мы задумали сыграть какую-то немецкую историческую пьесу, заглавие которой я забыл. Там действующими лицами были Петр Великий, Карл XII-й, датский король и т. д. Роли были розданы и мы клеили себе мундиры и шапки из бумаги, а для гимназиста, который должен был изображать какую-то принцессу, было сделано платье из коленкора. Начальство знало о нашем намерении и не препятствовало этому; но актеры между собою перессорились и спектакль не состоялся. В другой раз театральное представление было затеяно *en grand*, с настоящими декорациями, костюмами, париками для женских ролей и т. д. Руководителем был наш учитель латинского языка в IV классе Н. И. Зуев, который значительное количество классного времени до Рождества употребил на подготовку нас, своих учеников, к этому спектаклю. Должны были идти две пьесы: одна русская, другая французская, но, к сожалению, я забыл, какие пьесы именно. Я должен был участвовать во французской пьесе, но в декабре захворал, на Рождестве у меня в одну неделю умерли два брата, и я вернулся в гимназию только в великом посту. Спектакль этот состоялся, но начальство осталось им недовольно; говорили, что на репетициях происходили разные гадкие шалости и Н. И. Зуева не похвалили за его затею.

Лазарет при пансионе гимназии был просторный, содержался очень чисто и уход за больными был хороший. Лазарет помещался возле квартиры директора, который его посещал почти каждый день. В лазарете было 10 или 12 постоянных кроватей, расположенных в трех комнатах; кроме того, в маленькой комнате в одно окно стояла запасная кровать для трудно больного и была еще отдельная комната, не сообщающаяся с лазаретом, для сыпных больных. При лазарете была смотрительница и особый служитель, но не фельдшер. Врачем при мне был Ф. И. Вейсе, ласковый старик, который не любил давать много лекарств. Гимназисты не избегали лазарета, но и не особенно стремились туда попасть, так как там давали уменьшенные порции, например, только по пол-булки утром и вечером и кормили больше перловым супом. Начальство часто посещало лазарет и шалить там не позволяли. Помню, что когда я хворал свинкой и вместе с другим гимназистом мы прыгали через кровати, то вошедший в это время Ф. А. Аккерман нас обоих наказал и заставил стоять у кроватей, сказав смотрительнице, чтобы она нас освободила через час.

Третья гимназия и тогда уже славилась своим учебным курсом и «студенты Пустого рынка», как нас называли в шутку, нигде себя не посрамили; напротив, по ученой и педагогической деятельности многие из них выказались с самой лучшей стороны. Это отчасти объясняется тем, что наша гимназия в 1823 году была преобразована из учительского института, который готовил учителей в народные или, лучше сказать, приходские училища, почему в этом учебном заведении были сосредото-

чены лучшие педагогические силы того времени! В 1816 году четыре студента института были посланы в Англию для изучения Ланкастерской metody взаимного обучения, но в инструкции их было сказано, что они обязаны знакомиться и с методами преподавания средних учебных заведений, что посланные добросовестно и исполнили. Эти студенты были: Свенске, Буссе, Тимаев и Ободовский. Они после Англии провели некоторое время в Ивердене в институте Песталоцци; следовательно, познакомились с лучшим учебным заведением того времени. При основании гимназии все эти четыре учителя остались в ней преподавателями, а затем один из них, Ф. И. Буссе, был долго директором 3-й гимназии. Почти все эти учителя, оставляя гимназию, передавали преподавание своим же бывшим ученикам, так что, вероятно, ни в одном учебном заведении того времени не было столько традиций по учебной части, как в 3-й гимназии.

Очень трудно сравнивать общий уровень образования гимназистов 40-х и 50-х годов с учениками наших современных гимназий и, если я позволяю себе привести некоторые замечания, то делаю это *sous toute reserve*, допуская многие исключения. Мне кажется, что главным различием между старым временем и нынешним следует считать большое разнообразие степени развития учеников одного класса, которое замечалось в гимназиях конца 40-х годов; нынешние гимназисты по познаниям и развитию гораздо ровнее. В старое время в одном и том же классе можно было оставаться несколько лет сряду, и таким образом в одном классе вместе учились дети и очень великовозрастные юноши, при чем наиболее развитыми чаще бывали более юные гимназисты, а старички часто поражали своим невежеством и неразвитостью. При этом, особенно в младших классах, приходящие учились хуже пансионеров, между тем как теперь подобной разницы нельзя заметить. [Между моими товарищами были юноши очень умные, толковые и развитые, но были и такие, которые поражали своею неразвитостью.] Например, некоторые гимназисты были чрезвычайно суеверны: они искренно верили, что будешь лучше знать урок, если положишь учебник ночью под подушку, другие покупали у каких-то монахинь около церкви св. Пантелеймона ладонки «пророка Наума». Это были сумочки с песком или землей, которые носили на шее во время экзаменов и эти ладонки должны были помогать получить «хороший билет». Некоторые из нас в старших классах знали наизусть почти всего Евгения Онегина и многое другое, а между нами нашелся и такой, который на выпускном экзамене сказал, что самое замечательное сочинение Карамзина «Медный змий». На переходном экзамене из четвертого в пятый класс мой товарищ, которому достался билет о Троянской войне, мне шепнул, когда мы оба сидели и готовились к ответу: «Я все помню, но забыл, какое отношение имел император Траян к Троянской войне». Я ему вполголоса сказал, что он был влюблен в прекрасную

Елену, но, к счастью, мой товарищ при своем ответе умолчал совсем об императоре Траяне и получил тройку. В пятом классе у нас затеялся спор: несколько псковичей утверждали, что в Псковском соборе сохраняется меч архангела Гавриила, и когда мы не верили этому, то один клялся, что видел этот меч собственными глазами. Обратились к законоучителю, который разъяснил, что в Псковском соборе сохраняется меч князя Довмонта, в христианстве принявшего имя Гавриила. Подобных примеров можно-бы привести очень много, при чем замечалось, что невежеством по некоторым учебным предметам отличались ученики, очень сильные по другим отраслям знания. Не знаю, была-ли эта особенность 3-й гимназии, или замечалось и в других, но у нас в старших классах была мода специализировать свои занятия на известных предметах. Между моими товарищами были юноши, которые прекрасно знали латинскую и греческую грамматику и легко читали древних авторов и вместе с тем совсем не понимали математики. Случалось и наоборот. Многие увлекались историей, русскою или всеобщей, и были чрезвычайно начитаны по этим предметам, а по другим очень слабы. Преподаватели и начальство относились к этому явлению довольно снисходительно и всячески старались окончательно не погубить ученика, который по некоторым предметам был хорош, а по другим совсем плох. Кроме того, различие старого обучения в гимназиях от нового было то, что на младшие классы обращали гораздо меньше внимания, чем теперь. Педагогических и методических приемов обучения почти не существовало; уроки объясняли, задавали и спрашивали, а легко-ли было учиться ученикам, учителя мало об этом беспокоились. Были и тут исключения, но немного. Поэтому, вообще говоря, в младших классах учились плохо и масса учеников оставались в классах, или совсем выходили из гимназии. Выигрывали при этом те, которые до гимназии получили хорошую подготовку, или очень талантливые. Так называемых «долбежников», которые все зубрили и мало понимали, у нас было немного и учителя не признавали их за хороших учеников. Мне кажется, что теперь мало развитому, но прилежному мальчику легче благополучно кончить курс гимназии, чем в мое время.

Либеральными идеями и политикой гимназисты тогда совсем не занимались, газет не читали почти вовсе, да и родители их в это время редко выписывали газеты. Я считался в старших классах очень сведущим в политике человеком, так как читал «Journal de St.-Petersbourg», и знал, откуда взялся Наполеон III и почему в Англии царствует королева, а не король.

Переходя затем к преподаванию отдельных учебных предметов, я должен заявить, что, как католик, не присутствовал на уроках Закона Божия православного исповедания и потому ничего не могу сказать о нем.

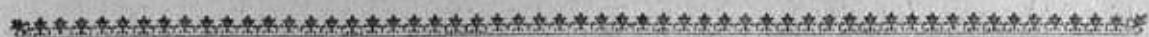
Преподавание древних языков и тогда в гимназиях играло важную роль и число уроков по этим языкам было больше, чем по другим предметам. По латинскому языку в 5 низших классах было по 4 полуторачасовых урока, а в VI и VII—по 3 таких же. Греческий язык начинался с IV класса и число уроков было по 5 до VII кл.; таким образом, общее число часов латинского языка было 39, а греческого—30. О преподавании латинского языка в младших классах у меня сохранилось мало воспоминаний. В I-м классе мы переводили с латинского языка на русский и обратно параграфы из учебника Зейденштюкера и по этому же, кажется, учебнику учились грамматике. Экстемпоралей у нас не делали вовсе ни в одном классе до самого окончания курса, и эти упражнения не служили пугалом для гимназистов, как в нынешнее время. Учителя иногда диктовали русские предложения и заставляли тут же в классе переводить их на латинский или греческий язык; но затем один из учеников писал свой перевод на классной доске, учитель спрашивал учеников, не замечают ли они ошибок; все заявляли свои замечания, учитель исправлял текст окончательно и тогда все ученики обязаны были исправить свои переводы по верному тексту. Конечно, эта система не давала возможности учителю безошибочно судить о познаниях ученика, но за то гимназист спокойно работал над переводом, основательно исправлял свои ошибки и приобретал познания по грамматике латинского или греческого языка. Правда, случалось, что ленивый или совсем слабый ученик ничего не писал в своей тетради или писал вздор, а потом прямо списывал себе с доски верный текст; но разве это вовсе бесполезно? Вообще я должен сказать, что система преподавания древних языков в наше время отличалась тем, что на чтение классических древних авторов и перевод их на русский язык обращалось гораздо больше внимания, чем теперь. Грамматикой мы занимались, и ее у нас требовали, но она служила главным образом для лучшего понимания авторов, а не для того, чтобы нас научить писать на латинском или греческом языке.

Во II-м классе у нас был довольно небрежный учитель, В. А. Моде-стов, который был специалист по истории и в младших классах заниматься не любил. Мы с ним продолжали этимологию и переводили с латинского *Epitome historiae sacrae*, издание Кошанского. В III классе нашим учителем латинского языка был В. Х. Лемониус, и мы очень сильно подвинулись вперед под руководством этого превосходного преподавателя. Весь элементарный курс грамматики был пройден, и мы, кроме того, довольно много переводили из Корнелия Непота. Нас научили готовиться к переводам, отыскивать слова в лексиконе, разбирать латинский текст по частям предложения, отыскивать главные и придаточные предложения и т. д.; так что в IV класс мы перешли с хорошими познаниями по латинскому языку. К сожалению, в IV-м классе мы попали опять к плохому учителю, Н. И.

Зуеву. Класс наш стал очень многочисленным, так как к пансионерам присоединились приходящие, так что преподавание было там не легкое. Н. И. Зуев, еще очень молодой человек, очевидно, ленился взяться за дело как следует. Он был очень любезен, не требователен, ставил баллы щедро, но делом занимался мало. В начале года он вздумал нам рассказывать древнюю мифологию, которую мы слушали с удовольствием, но пользы от нее было мало. После этого он стал нас готовить к домашнему спектаклю на Рождестве, а Цезарем мы занимались очень мало и большею частью только слушали перевод учителя. Грамматикой мы почти вовсе не занимались и слабые ученики стали забывать даже то, чему выучились в младших классах. В великом посту в гимназию приехал министр Уваров, явился к нам в класс и стал нас сам экзаменовать. Увы! с начала учебного года до середины марта было прочитано только 20 глав из книги «De bello gallico», да и эти немногие главы воспитанники переводили крайне плохо, конструкции делать не умели и грамматику позабыли. Министр, конечно, учителю в классе никакого замечания не сделал, а побранил нас, но после этого Н. И. Зуеву латинского языка не поручали. В V-м, VI-м и VII-м классах латинскому языку нас учил известный учитель, Г. И. Лапшин. Это был очень знающий, усердный, серьезный, одним словом, отличный учитель, у которого большинство воспитанников очень многому научилось, но у него были и слабые стороны. Он не любил заниматься с плохими учениками и, если кто сразу в начале ответа ему скажет что-либо несуразное, то он часто говорил: «садитесь, вы ничего не знаете», и ставил единицу, которую исправить было очень трудно, так как Гр. Ив. Лапшин долго помнил худые ответы. Помню, что один слабый ученик V-го класса как-то в переводе вместо Roma, на классной доске написал Rima, что, очевидно, было опiskeй. Г. И. Лапшин этого бедного юношу долго пилил этою Rima и никак не мог забыть этой ошибки. Г. И. Лапшин большею частью спрашивал «по скамейкам», т.-е. начнет с кого-нибудь, а затем спрашивает рядом сидящего и т. д. Таким образом можно было легко рассчитать, когда будешь спрошен. Мы у него читали много латинских авторов и разбор делался очень подробно и дельно, с обстоятельными грамматическими замечками, которые мы записывали в отдельные тетради. Обратные переводы с русского на латинский также делались, но не очень часто и почти всегда давались на дом, так что плохие ученики списывали их у хороших. Классные переводы задавались, большею частью, только перед постановкою баллов. В V-м классе мы переводили из Саллюстия «De bello Jugurtino», кроме того, отрывки из метаморфоз Овидия. Латинские стихи многим из нас очень нравились, и мы выучивали целые страницы Овидиевых гекзаметров. Кроме того, в V-м классе у нас был урок так-называемого *курзорного* чтения, который был поручен В. Х. Лемониусу. Мы читали походы Александра Македонского Квинта Курция

без всяких грамматических замечаний, а только с точным переводом на русский язык. Помнится, что это для большинства учеников было не очень трудно. В VI-м классе мы переводили Тита Ливия и Энеиду Вергилия таким-же способом, как и авторов V-го класса. В VII-м читался в классе Цицерон, а из поэтов—Гораций. Откровенно говоря, перевод Горация был для нас довольно труден; даже при чтении его многие ввали, хотя Гр. Ив. Лапшин нам очень обстоятельно объяснял латинское стихосложение. Преподаватель замечал, что перевод Горация нас затрудняет, старался нам разъяснить мысль стихотворения, особенные обороты и т. д. Но в конце концов мы перевели очень мало из Горация, и Григорий Иванович срамил наш класс, говоря, что предшествующие классы переводили вдвое больше нас.

Греческий язык, как сказано выше, у нас начинался с IV-го класса и для нас начался при очень неблагоприятных условиях. Учителем греческого языка был в IV-м классе Р. Л. Мориц, человек, может быть, и очень почтенный, но крайне комичный. Он не очень свободно говорил по-русски, терялся в классе и был очень слаб с учениками. С ним проделывали всевозможные шалости; напр., ставили ему на кафедру разные фигурки, сделанные из мякиша хлеба и намазанные чернилами. Учитель их смешно брал в руки, мазал себе пальцы, бранился, а ученики хохотали. Р. Л. Мориц был очень труслив, и если взрослый гимназист с ним говорил, держа в руках открытый перочинный ножик, то учитель не смел к нему подойти, а тот говорил разные грубости. Шалости эти занимали значительную часть уроков, и потому, понятно, преподавание не могло идти особенно успешно. Мы, однако, в четвертом классе прошли этимологию по грамматике Шада и переводили с греческого из хрестоматии Якобса. Когда мы были в четвертом классе, произошла перемена в преподавании древних языков. Число уроков по этим предметам было уменьшено, греческий язык стал преподаваться только в III-й гимназии, да и то необязательно, т.-е., вместо греческого, можно было учиться законоведению, но тогда ученики теряли право поступления в университет. У нас законоведению училось очень немного, так что из 19 человек только 3 кончили курс без греческого языка. Из других гимназий принимали в университет с одним латинским языком, за-то на I-м курсе университета были введены на всех факультетах лекции по латинскому языку и лекции эти были поручены Г. И. Лапшину. Мы, воспитанники III-й гимназии, не посещали этих лекций, так как там переводили Саллюстия, и мы ничему новому научиться на этих лекциях не могли, а в конце года выдержали экзамен легко. Знанием греческого языка мы хвастались перед другими гимназистами и часто дразнили их изречением: «*graeca sunt, non leguntur*», которое невежественные средневековые монахи вставляли в списываемые рукописи, когда встречался греческий текст.



С V-го класса до окончания курса греческому языку нас учил В. Х. Лемониус, и учил прекрасно. В V-м классе ему предстояло не мало труда, так как мы были плохо подготовлены, особенно мало знали слов, да и по грамматике были не сильны. Мы стали прилежно переводить из хрестоматии Якобса и грамматику учили не столько по учебнику, сколько со слов учителя, но пользуясь всетаки книжкой Кюнера. В. Х. Лемониус очень сильно настаивал на конструкции, всегда требовал, чтобы отвечающий ученик выделил прежде всего главное предложение и таким образом сразу-бы узнавал главную мысль читаемой фразы. Грамматикой он нас не мучил, а проходил только необходимое для понимания довольно легкого текста из хрестоматии. В VI классе мы читали Одиссею, а в VII—Иллиаду, при чем преподаватель требовал, чтобы мы учили большие отрывки наизусть. Очень часто мы переводили с греческого прямо на латинский язык и когда искали слова в лексиконе, то должны были непременно знать не только русское, но и латинское слово. По греческому языку учиться было не слишком трудно, и малоуспевающих учеников было меньше, чем по латинскому языку. В VII классе по программе мы должны были переводить с латинского языка на греческий, и нам роздали какую-то латинскую книжку с небольшими рассказами и словарем. Но, несмотря на старания Василия Христиановича Лемониуса, это упражнение шло крайне плохо, и мы в целое полугодие перевели только один небольшой рассказ о боге Пане, да и то это был скорее перевод учителя, а не учеников. Кроме того, приказано было читать по-гречески Святых Отцов и произношение по-гречески изменить, т.-е. читать, как в духовных учебных заведениях, по Рейхлиновски: Зевс, Афина и т. д. И это совсем не привилось. Бедный В. Х. Лемониус сам ошибался в чтении, столь ему непривычном, мы ввали немилосердно, книжек с текстом Иоанна Златоуста и Григория Богослова нам не роздали, и мы на выпускном экзамене читали только Иллиаду по-Эразмовски.

Считаю долгом заметить, что я был не из сильных учеников по древним языкам, в году по латинскому языку получал иногда двойки и хотя окончил курс с серебряною медалью (а не золотою, как ошибочно сказано в записке Н. М. Аничкова), но в старших классах переходил из класса в класс с тройками по древним языкам. Однако и я многому выучился и не могу сказать, чтобы скоро забыл латинский и греческий язык; многое, особенно слова, оставались долго в памяти. Между тем в гимназии я не тратил много времени на подготовку к урокам по латинскому и греческому языкам. Большею частью мы, более слабые ученики, готовились так: собирались накануне около одного из товарищей, хороших филологов, и он нам переводил текст, диктовал слова, указывал на грамматические формы и т. д. При этом более прилежные много спрашивали, записывали грамматические замечания, одним словом, готовились довольно

добросовестно. Для перевода Одиссеи и Иллиады очень большую помощь нам оказывало французское издание, кажется, Низара с подстрочным переводом греческого текста на латинский язык. С латинского уже мы не переводили; он нам был и так совсем понятен.

Преподавание русского языка в младших классах у нас было такое бесцветное, что я о нем мало помню. Мы учились по грамматике Востокова, делали этимологические разборы, писали склонения и спряжения, но все-таки с русской грамматикой были мало знакомы. Когда мне после выпуска в университете пришлось давать уроки русского языка, то я должен был опять взяться за учебник грамматики, которую совсем позабыл. Не помню также, какую хрестоматию мы читали, но нас заставляли много учить наизусть, даже прозаические отрывки, мы писали сочинения и пересказы содержания статей, но, вообще говоря, большого интереса к преподаванию русского языка у нас не замечалось. Однако, это изменилось, начиная с V-го класса, где учителем был Аникит Семенович Власов. Он умел заинтересовать нас теорией словесности, разъяснял разные виды прозаических произведений, познакомил нас с периодами и прошел с нами даже главные сведения из логики; много читалось образцов и примеров, и сочинения стали серьезнее. Учебником нам служило руководство Лебедева, профессора Педагогического института. В нашем классе явились специалисты по писанию сочинений, некоторые гимназисты принялись за чтение русских авторов; одним словом, интерес к русской словесности был возбужден. В VI и VII классах преподавание пошло еще лучше, так как учителем был очень талантливый и живой преподаватель А. М. Печкин. Он очень интересовался своим предметом, прекрасно сам читал и требовал от нас хорошего чтения. Он нас познакомил со стихосложением и с видами поэтических произведений. Мы прочли в классе и вне класса много образцов и выучили много стихотворений и прозаических отрывков наизусть. В VII классе читалась история словесности сравнительно довольно коротко, но главным образом А. М. Печкин останавливался на древних писателях, так что мы прочитали с ним почти все литературные произведения русской словесности до-Петровского времени. Этим заинтересовались многие из моих товарищей и читали под руководством А. М. Печкина то, что не было прочитано в классе. Сочинения мы стали писать на разные темы, и нас очень поощряли к этому устроенные по приказанию попечителя М. Н. Мусин-Пушкина литературные беседы. Ученики VI и VII классов для этих бесед писали сочинения на какую угодно тему; сочинение это просматривалось учителем и, если оно оказывалось подходящим, то читалось на беседе. Литературные беседы устраивались вечером, и на них присутствовали директор, инспектор, учитель словесности, а иногда и другой учитель, и ученики VI и VII классов. Автор сам читал свое сочинение, затем другие ученики делали замечания как по содержанию, так и по изло-

жению, при чем часто происходили прения. Потом учитель давал отзыв о сочинении, а иногда и директор делал замечание. Сочинения эти, тщательно переписанные, посылались попечителю, и он о лучших из них публиковал в циркулярах по округу.

Странно, что я вовсе не помню, чтобы нас учили в гимназии церковно-славянскому языку, и я даже думаю, что не были-ли иноверцы освобождены от изучения этого языка, хотя Н. М. Аничков в своей записке о III-й гимназии об этом не упоминает. Одно достоверно, что когда нам пришлось читать в VII-м классе Несторову летопись, то я сильно затруднялся даже в чтении славянского текста, не говоря уже о грамматических формах, которых я совсем не знал. Православные товарищи, конечно, знали этот язык лучше меня, но я вовсе не помню, чтобы в каком-нибудь классе занимались славянской грамматикой и сравнивали бы славянские формы с русскими.

Так как директор у нас был математик, то математика, по преданию, хорошо преподавалась в III-й гимназии. В младших классах до IV-го включительно нас, пансионеров, учил математике Степан Васильевич Соколов, который был потом инспектором после Ф. А. Аккермана, а в трех старших классах ученик Ф. И. Буссе, В. И. Лавониус. У приходящих учителем математики был брат Ф. И. Буссе, Франц Иванович, про которого говорили, что он очень сердитый учитель. Мы проходили арифметику по старинному, т.-е. прямо по учебнику Буссе, начиная с определения числа, объяснения нумерации и т. д. Каких-либо методических приемов для облегчения понимания арифметики не употреблялось, если не считать того, что учитель почти на каждом уроке задавал устные задачи, составленные им самим. На дом задавались задачи по сборнику Буссе, где больше имелись в виду вычисления, а не умственные упражнения. Несмотря на это отсутствие методических приемов, все-же большинство учеников знало арифметику. С. В. Соколов вел уроки очень дельно и толково, занимался много со слабыми, часто спрашивал учеников, ясно объяснял правила. У него плохо занимались только очень ленивые или крайне слабые ученики. В IV классе началась алгебра, и для многих это было очень трудно; учебника не было, и С. В. Соколов диктовал записки, которые были составлены хорошо, но ученикам приходилось тратить много времени на их переписку. Из алгебры многие товарищи получали в IV классе плохие баллы и должны были остаться в классе. В V и следующих классах мы проходили алгебру, геометрию и тригонометрию у превосходного учителя, В. И. Лавониуса. Он объяснял все части математики кратко, сжато, но необыкновенно ясно и толково, так что внимательный ученик сразу понимал необходимое. Правило всегда сопровождалось очень хорошо подобранными примерами и задачами, и ученики тотчас вызывались к доске для повторения. Если оказывалось, что пройденное плохо понято, то преподаватель никогда не

сердился, а повторял еще раз и шел дальше только тогда, когда прежнее было хорошо усвоено. Вместе с тем В. И. Лавониус был всегда весел и приветлив, очень интересовался преподаванием, никогда в классе не сердился и даже любил шутить и отпускать остроты. Конечно, и у него встречались слабые ученики, но это были такие, которые решительно не хотели заниматься математикой, или совсем глупые. Учебниками мы пользовались мало, особенно по алгебре и тригонометрии, а геометрию проходили, строго придерживаясь руководства Ф. И. Буссе.

В. И. Лавониус преподавал также физику и космографию, и это преподавание шло очень успешно. Физика проходила по учебнику Ленца с математическими выкладками и даже задачами. В. И. Лавониус требовал, чтобы ученики чертили приборы на классной доске, и был очень взыскателен на счет точности и определенности ответов. У нас в гимназии был по тогдашнему времени довольно порядочный физический кабинет, и В. И. Лавониус не ленился делать опыты, которые у него хорошо удавались. Мы в гимназии видели опыты с кислородом, хлором, гремучим и светильным газом, так что порядочно ознакомились и с некоторыми химическими явлениями. Космографию, или, вернее, математическую географию (из физической географии мы успели пройти очень немного) мы проходили по учебнику Талызина, почти ничего не пропуская. Те, которые знакомы с этой книжкой, знают, что курс этот очень серьезный, весь основан на математике и требует от читателя большой доли воображения, чтобы представить себе в пространстве явления, изображенные на очень сложных чертежах, помещенных в учебнике. Следует признать, что математическую географию понимали не все ученики VII-го класса, несмотря на прекрасные объяснения В. И. Лавониуса, но те, которые поняли ее, усвоили этот курс отлично. Когда мы, натуралисты и математики, слушали на первых двух курсах университета лекции по физике и космографии у профессора Ленца, то с благодарностью вспоминали В. И. Лавониуса. По физике профессор читал общий курс только немного полнее, чем в гимназии, а по космографии почти буквально держался учебника Талызина, так что нам, ученикам 3-й гимназии, было очень легко.

Преподавание истории при мне начиналось в III классе и распределялось следующим образом: в III классе история египтян, Ассирии, Персии и т. д., в IV классе—Греция и Рим, в V-м—средняя история, в VI-м—новая и русская история, а в VII-м—один урок на повторение всеобщей и один урок на окончание русской истории. Учителем у нас был до VII-го класса Василий Алексеевич Модестов, бывший семинарист, человек очень умный и ученый и специалист по всеобщей истории, особенно средних веков. О нем рассказывали, что он собирался держать экзамен на магистра и написал уже диссертацию «История евреев в средние века»; но на первом же экзамене в университете профессор Устрялов, который был на него за

что-то зол, огоршил В. А. Модестова вопросом: в котором году родился Петр Великий? Василий Алексеевич тогда встал, сказал, что он не ученик гимназии, вышел из зала и не захотел продолжать экзамена. Мы учились по плохим учебникам Кайданова и Смарагдова, и особенно плохо дело шло в III-м классе, где ученики совсем мало понимали читаемое, зубрили книгу наизусть и отвечали ужаснейший вздор. В. А. Модестов рассказывал очень хорошо, но слишком трудно для большинства учеников, а при плохих ответах он сердился, подсмеивался над гимназистами и часто в шутку им подсказывал неверно. Только в V-м классе многие стали понимать В. А. Модестова, внимательно слушать его прекрасные лекции и увлекаться историей. У этого учителя был очень курьезный прием: он называл во всеобщей истории всех королей и императоров по отчеству. Александр Македонский был у него Александр Филиппович, Карл Великий—Карл Пипинович, королева Елизавета Английская—Елизавета Генриховна и т. д.; он требовал, чтобы и ученики так ему отвечали. Подсмеиванье над плохими ответами учеников и тут продолжалось, но хороших учеников он очень хвалил и охотнее с ними занимался, чем с плохими.

В VII-м классе, вместо В. А. Модестова, поступил новый учитель, И. И. Красов. Это был также знающий и дельный человек, специалист по русской истории, но мы его не так любили, как Модестова. Он заставлял всех работать, много спрашивал, задавал большие уроки по учебникам, но русской историей, которую мы проходили по учебнику Устрялова, интересовался гораздо меньше, чем всеобщей, и я, хорошо помню, что наш выпускной экзамен по русской истории был не блестящий; попечитель, М. Н. Мусин-Пушкин, на нем присутствовавший, сердился на многих учеников и даже делал замечания И. И. Красову.

География проходила по два урока в четырех низших классах. Первые два года мы учились у очень плохого учителя, Тибо де-Бриньоля. Он любил в классе балагурить и рассказывать анекдоты, почти ничего не объяснял и задавал только уроки по учебнику Ободовского. Мы учили наизусть все провинции Франции и Испании с названиями главнейших городов, почти вовсе не были знакомы с географическими картами и скоро забывали пройденное. Но с III-го класса мы перешли к отличному преподавателю, Ивану Осиповичу Планкелю (собственно Plankl; он был тиронец и католик). Хотя фигура его была совсем не внушительная, но он скоро заставил себя уважать, и его очень боялись. Он был мал ростом, довольно толстый, и лицо было широкое; говорил он басом, и при этом рот несколько кривился в сторону. И. О. Планкель первый заставил нас рисовать карты на классной доске и в тетрадах и ввел немые классные карты. Он был очень требователен при ответах и строго ставил баллы. В первый раз мы от него слышали ныне общепринятое требование о полных ответах; он беспрестанно повторял: «слова вопроса для ясности ответа повто-

ряются». На его уроках мы услышали интересные рассказы об открытиях в Африке, о девственных лесах, прериях и саваннах Америки и характеристики главнейших городов. Жаль, что после IV-го класса география не продолжалась и мы дальше не воспользовались уроками этого замечательного учителя. Прежде в старших классах преподавалась статистика, но в мое время предмет этот был уничтожен.

Пока я был в низших классах, уроки иностранных языков были устроены в гимназии очень своеобразно. Уроки эти давались одновременно во всех трех низших классах и ученики распределялись по классам иначе, чем на других уроках, т.-е. ученик I-го класса по иностранным языкам мог посещать уроки III-го класса, и наоборот: слабый ученик III-го класса по немецкому и французскому языку сидел в I-м классе. Не думаю, чтобы подобное устройство было вполне целесообразно. Сидя в чужом классе, ученик чувствовал себя неловко, маленьких в старшем классе обижали над большими, посаженными в младший класс, смеялись, а так как учителя иностранных языков были, большею частью, плохие, то это учреждение мало приносило пользы. Так как я, поступая в гимназию, хорошо знал французский и немецкий языки, то меня сразу посадили в III-й класс, но с первого раза там меня встретили очень не дружелюбно. На первый урок французского языка я явился в класс с большим портфелем, где были мои книги и тетради, а сверху лежала казенная булка, которую утром я не съел, так как принес из дому себе накануне сдобную булку. Как только я уселся на указанное место, то учитель подошел ко мне и, увидав булку, сказал. «Как вы смеете в класс носить булки: я ее от вас отнимаю», и взял булку, прибавив: «я очень сам люблю казенные булки!» Я расплакался, все ученики смеялись, и учитель весь урок дразнил меня булкой. На следующий урок я, конечно, уже явился без булки, но учитель все о ней вспоминал, и ученики меня дразнили и говорили учителю, что я спрятал булку в карман. Меня, с позволения учителя, стали обыскивать, я опять расплакался, и эта потеха продолжалась чуть не пол-урока. Понятно, что уроки французского языка сделались мне ненавистными, и я стал самовольно оставаться на французские уроки в своем классе, пока инспектор это не заметил и не прогнал снова в III-й класс. Вообще о преподавании иностранных языков у меня осталось мало воспоминаний, потому что я ими почти не занимался, зная языки эти лучше большинства товарищей. Особенно плохо шло у нас преподавание французского языка: в течение семи лет моего пребывания в гимназии, с 1845 до 1852 года, у нас перебивало *девять* учителей французского языка, из которых я помню только двух хороших, Лароша и Пору. Учебников хороших не было, грамматику учили по Ноелю и Шапсалю, которая написана для французов, переводили Телемака, и в конце концов большинство учеников ничему толковому не научились. Немецкий язык был поставлен лучше; правда, что

в трех низших классах преподавали его довольно плохо наши гувернеры, но в старших классах был у нас очень дельный преподаватель Э. П. Буш, который хорошо знал русский язык, серьезно и довольно строго вел уроки, и у него действительно можно было чему-нибудь научиться. По немецкой грамматике он диктовал записки, а в VII-м классе прошел с нами даже краткий курс истории немецкой литературы. С немцами и учениками, хорошо знающими немецкий язык, Буш обыкновенно не занимался в классе, а заставлял их во время урока писать переводы с русского или французского языка на немецкий. От времени до времени он брал эти переводы, исправлял их и ставил нам за них отметки. Э. П. Буш имел большое значение в гимназии, и мы знали, что он в педагогическом Совете всегда играл важную роль.

О преподавании чистописания и рисования много говорить не приходится. До IV-го класса преподавание рисования было обязательно, но оно было совершенно индивидуальное, а не классное. Учитель нам раздавал *оригиналы*, большей частью носы, глаза, уши, руки и т. под., нарисованные на отдельных листах, и мы их копировали, кто как умел. Те, которые были посильнее, получали для копирования пейзажи или головки. С IV-го класса уроки рисования посещались только желающими, т.-е. особенно способными учениками, и рисовали, что больше нравилось.

По чистописанию происходило почти то-же: учитель раздавал ученикам прописи, наклеенные на картон, и мы с них списывали в тетради, при чем учитель даже редко смотрел, что мы пишем. Он большую часть времени сидел на кафедре и *чинил перья*, так как мы писали гусиными перьями, и на уроке чистописания учитель учил нас чинить эти перья и сам чинил их много. Понятно, что при подобном преподавании успехов ждать было нельзя: кто дома не научился хорошо писать, тот в гимназии сохранял свой дурной почерк, что случилось и со мною. Я начал рано писать и писал много, но на красоту письма дома не было обращено внимания, и я так и остался на всю жизнь с дурным почерком. По рисованию было то-же самое, и потом я очень сожалел, что не выучился рисовать в молодости, так как натуралисту умение рисовать чрезвычайно важно.

Пению учились только те, которые участвовали в церковном хоре гимназии; о гимнастике тогда никто еще не думал, но в 1851 году была введена маршировка, и мы обучались ей в VI-м и VII-м классах, но без особого увлечения.

Из педагогической автобиографии Л. Н. Модзалевского *).

В 1848 году я поступил в одну из лучших петербургских гимназий (3-ю)—сперва приходящим учеником, но скоро вступил в пансион, стеной отделивший меня от всего остального мира. Я был даже рад этому, ибо мне нечего было терять: ни свободы, ни привязанности к воспитателям. По целым месяцам засиживался я в гимназии, не выходя за ее стены, так как за мной никто не приходил по праздникам, а без провожатого выходить было запрещено до 4-го (среднего) класса. Тут тесно свyksя я с кружком товарищей, заменившим мне и родную семью, и весь мир; тут, в продолжение 7-ми долгих лет, я научился ценить товарищество, искать дружбы и свято хранить ее. Здесь, среди сверстников, я мог найти кого любить, с кем делить свои мысли. Эгоизму, сухости, своенравию и тоскливой сосредоточенности, которые начали было зарождаться во мне, нельзя было развиваться далее в этой веселой семье товарищей, у которых все было общее: и труды, и шалости, и гроши, и лакомства. Воспитанием нашим в гимназии никто хорошенько не занимался. Мы любили некоторых молодых учителей, которых могли видеть не более одного часа в день во время урока, на гувернеров же, вышедших или из отставных юнкеров, или из неудавшихся чиновников, смотрели как на страшных врагов и угнетателей наших, а на инспектора, как на тирана, постоянно искавшего себе жертвы. Он был страстный охотник сечь. Скрытность, ложь, обман,—как последствия запуганности и унижения,—были нашими добродетелями, когда мы приходили в соприкосновение с нашими грубыми, глупыми и иногда пьяными воспитателями или гувернерами, а выкидывание разных злых или смешных проделок над ними было лучшим нашим развлечением. Не раз вечером, погасив лампу, мы гурьбой нападали на гувернера и вымазывали ему лицо чернилами или обрезаывали фалды. С сожалением я должен признаться, что все эти господа были немцы, даже плохо знавшие русский язык, не любившие русских детей, и все это еще более отталкивало нас от таких воспитателей. Директор наш (Ф. И. Буссе), в молодости ученик Фелленберга, человек уже устаревший и слабый, но добрый, усердно распекал нас, но влияния не имел. Мы не боялись его, смеялись над ним, однако, любили. Он появлялся среди нас редко, официально, когда надо было когонибудь побранить, и не всех воспитанников знал по фамилии. Встретившись с ним гденибудь в коридоре в запрещенное время, мы спасались от него бегством в его же глазах. Нам каза-

*) Воспитанник XXVIII выпуска (1855 г.), известный педагог, сконч. 12 мая 1896 г. Автобиография его составлена им в конце 60-х годов и была напечатана в «Русской Школе», 1897 г., № 3.

лось, что он все хочет напугать, настрашать нас, но никак не может. Вообще нравственной связи между нами и воспитателями не было; мы признавали их грозную силу, но не авторитет.

Наша гимназия была филологическая, и главным образовательным средством должны были служить древние языки. Преподавание древних языков производилось гораздо усиленное, нежели в нынешних гимназиях. Достаточно сказать, что в старших классах, напр., кроме греческих классиков, читались также в оригиналах и творения отцов церкви, преимущественно IV века по Р. Х., а число учебных часов по каждому из древних языков доходило до 7 и 8 в неделю. Особенное внимание обращалось на курсорное чтение; читали много и приобретали не только действительное, реальное знакомство с авторами, но и вкус к их чтению. В то доброе старое время не только ученикам, но отчасти и самим учителям в голову не приходил вопрос, нужны-ли древние языки в общей системе образования; они были положены по штату—и этого было достаточно; оставалось только заботиться об изучении их. Кому не нравились или вообще не давались древние языки, те шли на особое отделение, по законоведению, не учились по гречески и за это лишались права на получение чина. Из учителей почти никто не старался заставить нас, детей, полюбить свой предмет, — что особенно важно в младших классах, — а только требовал знания заданного урока, за который или награждал хорошими баллами, или наказывал нулями, щелчками, затрещинами, голодом, карцером и т. д. Розгами наказывали более за шалости, и я также вкусил этой чаши за участие в войне против одного гувернера, прозываемого обыкновенно «седой крысой». Все гувернеры и учителя, все воспитанники имели прозвища. Во время урока объяснения, беседа играли самую незначительную роль и все преподавание ограничивалось спрашиванием и раздачей наказаний. В старших классах я стал гораздо лучше учиться. Здесь резче обнаружились мои наклонности, и я стал одним из первых по словесности, древним языкам*) и истории; математическими же предметами занимался очень неохотно и с большим трудом. Интерес к самому знанию развился вообще поздно, что могу приписать своим учителям,—людям, по большей части без всякого педагогического образования и иногда без всяких педагогических способностей. Награды на актах при переводе из класса в класс льстили моему самолюбию, и я задолго до экзаменов мечтал, как я обрадую своих родителей, приехав к ним на каникулы с похвальным листом. Старик отец иногда плакал от радости и умиления, а я был весь потрясен, весь проникнут благоговением, видя его любовь и участие ко мне.

*) Преподавателем русского языка и словесности был молодой, горячо преданный своему делу В. Я. Стоюнин; латинский язык был в руках одного из самых замечательных учителей своего времени Г. И. Лапшина.

В последние годы моей гимназической жизни военные упражнения были очень усилены в гимназиях по воле императора Николая I. Крымская война воспламенила в нас чувство патриотизма, желание дать отпор гордым врагам, и мы все увлеклись уроками обучавшего нас полковника и величием воинского призвания, а солдаты, занимавшиеся нашим военным образованием, стали лучшими друзьями многих из нас. Я гордился званием фельдфебеля, полученным мною в гимназии, и так усердно изучал воинский устав, что на классы смотрел, как на дело второстепенное, стал презирать и тригонометрию, и Тацита, и Гомера, и все учебные книги. «К чему мне греческий язык, мне, офицеру через 3 месяца по выпуске из гимназии, и к чему медаль за прилежание и успехи, когда я в первом-же сражении буду иметь Георгия за храбрость?» Так рассуждал я в выпускном классе гимназии. Просидев в ней 7 лет, я заметно одичал, огрубел и узнал жизнь настолько, насколько можно узнать ее из учебников, из редких прогулок по улицам и тайного заглядыванья в трактир. Наконец, родители, с которыми я виделся каждый год летом, поздравили меня с хорошим окончанием курса и со слезами благословили на войну; но вдруг император умер и все приняло другой оборот. Слухи о близком мире обрадовали всех и озадачили меня. Мне необходимо было изменить свой план, и в этой необходимости я вижу теперь величайшее для себя счастье. Я, не колеблясь, избрал путь в университет.

...

Дневник Д. Писарева *).

1852 г.

16 января. С.-Петербург.

Я выбрал совершенно незначительный день, чтобы начать мой дневник, но дело в том, что у меня оказалось свободное время и я не хотел откладывать дольше, боясь по своему обыкновению совсем позабыть о нем. Меня разбудили сегодня очень поздно, в половине десятого я был готов. Я пошел поздороваться с тетей **), она проговорила со мной довольно долго, так что я только к десяти смог приняться за работу. Я окончил грамматику Аккермана, потом стал читать одно из Религиозных

*) Гимназический дневник Д. И. Писарева написан по-французски (опубликован в книге Е. П. Казанович: «Д. И. Писарев. Пгр. 1922 г.») и на русском языке появляется впервые в настоящем сборнике. Перевод сделан преподавательницей школы Е. Д. Парышевой.

**) Наталья Петровна Данилова, у которой Писарев жил в Петербурге в свои ученические годы.

размышлений. Это прямо великолепно—здесь столько мыслей и все такие прекрасные, значительные и возвышенные. Мы прочли «Домашнее богослужение», в этой главе описывается молитва, как она совершается в кругу благочестивой семьи. Окончив чтение, я играл мои гаммы, играл в бильбоке, потом снова принялся за работу; учил географию, чертил карты, открывал замок [j'ouvrais un cadenas], приводил в порядок то, другое, одним словом делал тысячу вещей в одно и то же время, а география не подвигалась вперед так быстро, как могла бы. Тем не менее в два часа я выучил 18 страниц. Граф Толстой был сегодня утром у тети, но это мне совершенно безразлично и не входит в предмет моего дневника. В 3 часа Митя *) вернулся из гимназии; он позавтракал, потом, после отъезда Толстого, мы сыграли партию в кегли. Мы ее еще не окончили, когда нас позвали обедать. После обеда пришел Коню (?), он ехал в оперу; давали Лукрецию Борджиа, прекрасная вещь, как говорят. После обеда я кончил Полтаву, не совсем, но почти-что. Вот и день почти кончен, мне остается еще три часа жизни, а потом я брошусь в объятия Морфея. Я не думаю, чтобы со мной еще могло случиться чтонибудь замечательное, поэтому я закрываю мой дневник и говорю ему: «Прощай, милый друг, до завтра».

17 января.

Верный своему обещанию, я хочу занести в мой дневник мои сегодняшние приключения, хотя случились вещи мало для меня лестные. Меня разбудили, как всегда, в 9 часов. Я оделся не спеша, помолился и хотел уже приняться за свои обычные занятия, когда нашел на комодке записку на мое имя следующего содержания: «Митя, поищи пожалуйста в шкафу книжку под заглавием «Книга для чтения» и пришли ее сейчас же сюда, это книга Фольгама, его фамилия на ней написана. Д. Уваров». Я принялся искать книгу и в две минуты нашел ее и послал ему...

29 января.

Я должен описать сегодняшний день, потому что может быть во всей этой тетради не будет дня более памятного для меня и моих родителей, чем 29 января 1852 г. Сегодня я сделал мой первый шаг в жизнь, одним словом, сегодня я сдал экзамен на поступление в третий класс гимназии. Проснулся я в половине девятого; я дрожал, мороз по коже подирал, как говорится. Я перечитал наспех, что успел, и горячо помолился Богу, надеясь теперь в его помощи больше, чем когда-либо. Наконец, я напился чаю и пошел здороваться с тетей, которая в свою очередь была уже готова. Пробило девять часов; мы отправились и через несколько минут

*) Митя Уваров, 15-летний ученик 3-й гимназии, подготовлявший Писарева к экзамену.

были на месте. Дверь открылась, я вошел дрожа. Мы поднялись на лестницу и встретили директора, Федора Ивановича Буссе. Он поговорил о чем-то с тетей, но я ничего не понял, я расслышал только, что он просил оставить меня одного в гимназии до конца экзамена. Тетя согласилась, так как ничего нельзя было поделать, благословила меня, поцеловала и вернулась домой. Директор повел меня в третий класс. Все встали, когда он вошел. Он сказал несколько слов учителю математики, Францу Ивановичу Буссе (своему брату), и затем вышел. Тот спросил меня, что я знаю по арифметике и по алгебре, и я ответил, что знаю всю арифметику, а по алгебре сложение.

1854 г.

Два года прошло с того времени, которое я начал описывать, два долгих года. Они прошли однообразно, хотя довольно быстро, скрашенные теми шестью неделями, которые я ежегодно проводил среди моей семьи. В течение всего этого промежутка, довольно долгого для того, кто жил лишь 14 лет, у меня часто являлась мысль писать начатый здесь дневник. Несколько раз я даже принимался за осуществление этой мысли, но недостаток времени или, вернее, лень всегда заставляли меня от нее отказываться, а дневник приятен только тогда, когда он пишется аккуратно. Чтение дневника Розы *) побудило меня теперь вновь приняться за это приятное, так давно оставленное занятие.

После этого предисловия я начинаю.

11 августа.

Я нахожусь в большом затруднении: мне нечего писать, все идет, как всегда. Я пробовал продолжать мое сочинение, но не было настроения и, боясь все испортить, я его бросил. Я окончил раскрашивать Хр. Колумба, которого я подарил Розе, потом, призванный к моим обязанностям, принялся переводить Пиковую даму. Катя ныне была очень мила и целовала меня два раза. Нынче случилось несчастье с кормилицыным сыном, Алешкою—ему отдала лошадь ногу. Так жаль бедного мальчика. Теперь мы отправляемся на лодке к мадам Лизогуб **). Потом опишу этот визит. Мы отправились туда на лодке. Читали по дороге Шпиона и дошли до самой лучшей сцены. Мы с Митей остались на месте купанья, выкупались отлично, хотя и не так, как в Зуше; я попро-

*) Розой звали в семье Писаревых племянницу И. И. Писарева — Раису Александровну Кореневу.

**) Варв. Иполит. Лизогуб, соседка-помещица.

бывал плавать и точно проплыл с аршин. Илья *) предложил мне, по обыкновению кататься верхом и мы, несмотря на темноту, отправились. Я ехал на Джафаре, И. на Морколе, а М. И. **) за неимением другой лошади на Пеге, которого он расседлал. Так, хорошо было ехать, тепло, темно, таинственно так. Домой мы шли очень поздно. Папа уже вернулся от Ш. (Шатиловых) ***). Катя ****) еще не легла; так мила была, занималась очень красным стаканом, звала его, смеялась и была очень весела. Вечером я читал с Ю. Ф. *****) Гофмана.

12 июля [августа ?].

Сегодня я написал мое сочинение, но оно мне не нравится, оно кажется натянутым. Когда мамаша причесалась, мы читали дневник Розы. Мамаше кажется, что выражения, а иногда и мысли слишком взрослые для ее лет, но я нахожу ее дневник совершенным и к этой степени совершенства стремлюсь и я в своем дневнике. Дядя Сергей присоединяется к моему мнению. Мы читали с мамашей Россию с 1815 г. Дядя мешал нам, как только возможно. Потом я диктовал Розе, диктуя рисовал Святополка и почти окончил картину. Во время обеда дядя напал на меня и сильно ко мне придирался. Потом я читал с Ю. Ф. Гофмана и кончил начатый рассказ. Затем я сыграл с дядей пять партий в шахматы и проиграл их ему с большим удовольствием. После обеда мы хотели пойти в цветник, но я должен был поправить диктовку Розы, потом я спросил у нее два урока, один по географии. Дядя *****) нашел, что я задаю ей слишком маленькие уроки, и по этому поводу произошел небольшой научный диспут. Потом мы пошли в цветник, но едва я успел собрать несколько семян, как папа позвал нас купаться. Мадам Лизогуб пошла на Зушу удить, мы боялись, что встретим ее и будем принуждены искать другого места для купанья, но мы ее не видели и преспокойно выкупались. Я пробовал плавать и действительно проплыл около двух шагов. Это, конечно, очень мало, но со временем это придет. Вечером я сыграл с дядей еще шесть партий в шахматы, пять проиграл, а в шестой дал ему мат королю.

13 августа.

Сегодня мы встали очень рано, как нам посоветовала вчера мамаша, и, запасшись яблоками, отправились гулять. Катя пошла с нами. Через час

*) Сын В. И. Лизогуб.

**) Вероятно инициалы студента-учителя, жившего у Лизогубов для занятий с ее сыновьями Ильей и Петром.

***) Тульские помещики, соседи Писаревых по имению.

****) Екат. Ивановн. Писарева, тогда десятимесячный ребенок.

*****) Юлия Федоровна Блез, бонна-немка, жившая у Писаревых.

*****) Вероятно Сергей Иванович Писарев.

ходьбы мы пришли к лесу. Мы велели постлать ковер, отдыхали и ели яблоки и, так как позаботились взять с собой Купера, то прочитали 6 глав из Шпиона. Наконец, все усиливавшаяся жара и положение солнца показали нам, что пора возвращаться. Мы снова пустились в путь. Катя, которая в лесу была очень весела, начала хныкать, она не любит ходить, особенно когда жарко. После утомительной ходьбы мы пришли домой. Когда мы входили, было двенадцать. Мы сделали хорошую четырехчасовую прогулку. Отдохнув немного и позавтракав, я сыграл с дядей шесть партий в шахматы и все проиграл ему. Потом я занимался арифметикой с Верой *) и кончал Святополка. После обеда пошел в цветник, где я качался то один, то с Митей и Верой. Во время обеда мамаша была в нерешительности, идти ли ей удить с мадам Лизогуб или нет, решили, что пойдем, но, так как нам не хотелось лишиться и удовольствия выкупаться, то было решено, что мы пойдем купаться, а остальные пойдут на место рыбной ловли. Во время купанья я взял первый мой урок плавания. Мой учитель Максим. Возвращаясь, мы встретили экипаж мадам Лизогуб. Кучер показал нам, где они удили. Мне не повезло, один М. И. поймал несколько рыб. Папа остался на вечер у мадам Лизогуб, и я один вернулся домой. Мы прочитали три главы из Шпиона. Мамаша получила сегодня письмо от дяди Андрея **). Это случается так редко, особенно с некоторых пор, как мы не получали от него известий, что было настоящей для меня радостью. Он сообщает нам о своем скором приезде; я с сожалением узнал об этом, потому что мне остается уже очень недолго пробыть здесь...

Несмотря на такое торжественное и, казалось, такое непоколебимое решение писать мой дневник непрерывно, вот он уже снова заброшен целые две недели. Все это время я готовился к отъезду, что несколько не мешало мне вполне наслаждаться удовольствиями нашего интимного кружка. 15-го приехали Арт. ***), я старался быть любезным и, если не достиг цели, то это произошло оттого, что у меня мало привычки притворяться, в глубине сердца я желал, чтобы эти гости были подальше отсюда. Они мешали мне наслаждаться на свободе моим домашним кругом и кроме того налагали на меня обязанность быть любезным хозяином, а это всегда тяжело, особенно когда гости мало симпатичны и когда приезд их является неприятным сюрпризом. Мамаша осуждает это чувство, и я сознаю сам, что грешу неблагодарностью, выражая такие, так сказать, неприязненные чувства по отношению к тем, кто проявляет ко мне такой большой и мало заслуженный интерес, как Арт. Но что делать, они

*) Вера Ивановна Писарева, сестра Дм. Ивановича.

**) Андрей Дмитр. Данилов, брат Варв. Дмитр. Писаревой.

***) Соседи-помещики.

так мало симпатичны, особенно барышня. Однако, мне кажется, я был любезен и даже ухаживал за барышней, если это вообще возможно. Вообще все время прошло в чтении, в собирании семян, в играх и в приеме гостей, которые приезжали довольно часто. Это были Жук. *), которые гостили у Лиз., провели у них два дня и после обеда приезжали к нам. Мы, разумеется, много бегали, играли в подвижные игры на дворе, дома играли в нищего и вообще нам было очень весело. По моему Ильи, несмотря на свою страсть к лошадям, самый симпатичный из нашей компании. В этом году эта страсть даже, кажется, уменьшилась и, хотя он все еще ею чванится, он уже стал любезным и галантным кавалером. Все еще говоря о дамах с полным презрением, он допускает исключения и своим поведением в обществе показывает, что легче говорить, чем делать. Так как наш отъезд был отложен с 20-го на 24-е, потом на 26-е и теперь опять отложен, то мы лишились нашего спутника Д. И.; теряя его, мы должны, однако, согласиться, что потеря эта не очень тяжела и вполне возмещается удовольствием пробыть с мамашей еще три дня. Тем не менее разлука не станет легче, и я буду очень плакать при мысли, что увижу папашу только через год. А сестры! Раиса прежде всего, которую я люблю нынче как-то особенно и которой я готов поверить все, что во мне происходит. А доверие не есть ли самое необходимое условие дружбы, и не являюсь ли я самым преданным, самым верным ее другом, одним словом, братом ее? И разве не естественно, что моя привязанность растет по мере того, как я могу больше оценить ее добрые качества и ее милый ум. Мне почти не хочется, чтобы она читала это место моего дневника, это кажется мне нескромной лестью, а между тем это чистая правда. Наконец, наступил отъезд, который мы так долго откладывали. 30-го, накануне отъезда, день прошел грустно. Вера не могла выходить, и мы провели утро с ней. Мы играли в карусель, обычно наше занятие, потом Вера предложила играть в домино на деньги, мы согласились и сыграли несколько партий. Все утро мне было очень грустно, у меня болела голова и это тоже не способствовало моему хорошему настроению. Мысль о разлуке не покидала меня, к горлу подступали слезы. Я вышел на воздух, в это время мамаша выходила на свою обычную утреннюю прогулку, немного задержанную сведением счетов. Мы пошли с ней, это меня немного освежило и сделало на весь день веселее. После нашей маленькой прогулки мы пошли в цветник, чтобы проститься с нашими милыми качелями. К довершению удовольствия, мамаша позволила ее покачать, чего не случалось уже четыре года, с того несчастного случая, как мамаша упала и свихнула себе руку. Хотя мамаша и Роза вместе довольно тяжелы, но мы

*) Соседи Писаревых по своему имению «Красный Рог» и родственники В. Д. Писаревой.



их старательно качали и раскачали очень высоко. К сожалению, нас превали на самом интересном месте, позвав нас обедать. После обеда был молебен, так как мы пригласили священника. Несмотря на все желание сосредоточиться, я не мог удержаться от того, чтобы не посмеяться исподтишка каждый раз, как оба псаломщика начинали петь своими странными тягучими голосами. После службы мы пошли в цветник, как мы это всегда делали после обеда, и мы с Митей начали качать Розу. Сначала нам немного помешала Ю. Ф., которая уселась на качели и прибавила огромную тяжесть к той, с которой мы привыкли справляться. Однако, мы скоро от нее избавились, так как с нее хватило одного раза; тогда мы горячо и с ожесточением принялись за дело. Шесть или семь раз и даже больше мы раскачали качели так высоко, что через перекладину была видна дорожка и куст около самых столбов, и каждый раз удерживались на этой высоте около пяти минут. Когда мы сошли с качелей, на руках у нас были мозоли, а ноги устали от этой страшной работы. Но, по крайней мере, мы достойно простились с качелями. Прямо с качелей мы пошли к мадам Лизогуб, у нее была В. Е. Во время этого визита дядя был очень насмешлив, мишенью своих шуток он выбрал меня и Розу; некоторые из них показались мне неуместными. Мадам была очень любезна со мной, она осыпала меня ласками и, казалось, была огорчена моим отъездом. Она угостила нас арбузом и жареными орехами. Мы вернулись домой в сопровождении всего общества. Мамаша, мадемуазель Б., дядя и Илья пошли вперед. М. И., мадам Л., Роза и я шли сзади. Пахом был с нами. Мы играли в короли, в *Tadelstuhl*, в предпочтение [*à la préférence*], потом, когда Вера пошла спать, мы принялись болтать, потому что Вера не понимает, как можно разговаривать, а не играть. Наконец, Лизогубы ушли. Роза ушла очень поздно, и когда я прощался с ней, сердце мое болезненно сжалось при мысли, что это в последний раз. Тем не менее на утро я встал очень бодрым, с твердым намерением дать как можно меньше воли слезам при печальной церемонии расставания. Утро провели в разговорах, но мы были все, как в воду опущенные, как говорит Роза. Разговор шел главным образом об отъезде и о том, что мы будем делать во время разлуки, что, конечно, делало его грустным и вялым. Наконец, пришли Лизогубы и мадемуазель Б., подали завтрак. Я ел что-то, так сказать, машинально, потом перешли в образную и тут, когда мамаша меня благословила, я начал плакать. Наконец, мы оделись и отправились, в сопровождении всех наших. Только Вера по нездоровью должна была остаться, и мне пришлось проститься с ней дома. Милая девочка очень плакала, и я с большим горем вырвался из ее объятий. Тронулись в поход. Я подал руку Розе, и мы медленно пошли, разговаривая о разных вещах. У каждой горы мы боялись увидеть, что экипаж остановился, но, к нашему большому удовольствию, он каждый раз двигался дальше. Еще несколько минут, нам все казалось ценным теперь,

когда приходилось расстаться. К большой нашей радости коляска проехала третий мост, но на горé, увы, остановилась... Мы простились с милой Кахас *), возвращавшейся обратно, я еще видел ее милое, маленькое личико, которое выглядывало на нас из-за плеча кормилицы. Мы сели в экипаж. Роза села с нами и так мы доехали до Среднего Верха. Тут мы снова вышли и, наконец, пройдя этот переход, увидели, что коляска остановилась. Я простился. Я поцеловал моего милого, доброго папашу много, много раз, потом поцеловал Розу; мы оба плакали. И только после последнего долгого поцелуя, последнего прости, прерываемого рыданиями, я с тяжелым сердцем сел в экипаж. Не успели мы отъехать несколько шагов, как я увидел ее платок, которым она махала в знак последнего приветствия. Я ей ответил, но коляска повернула и все исчезло из моих глаз. Прощай Грунец **). Три дня спустя мы были в Москве. Вот и кончились каникулы; от них остались одни воспоминания. Но и приятные воспоминания хорошая вещь.

18 сентября.

Вчера вечером я читал эти строки тете и, отдавшись приятным воспоминаниям, делился ими с нею. Это приятное занятие задержало меня довольно долго, и я лег почти в двенадцать. Вследствие этого запоздания, и так как одно влечет за собой другое, я поздно встал и, следовательно, опоздал в гимназию. Но это еще только в первый раз со мной случается и вполне позволительно, обычно я опаздываю три раза в неделю. У нас в классе был Миналь. Он заставлял писать под диктовку. Ошибки, которые мы делали, казалось, очень его удивляли и приводили его в благородное негодование. Он заставил писать и меня, и я заслужил его одобрение. Потом пришел Буш и, так как я был один из столпов, он спросил меня по литературе. «Das ist sehr gut», сказал он мне. Потом он нам сообщил очень интересные подробности о немецких сагах, у меня слюнки потекли, и через Стрельникова я достал одну из этих саг из библиотеки. Я хотел читать ее в классе, но так как указания Лемониуса очень полезны и интересны, то я оставил чтение и стал внимательно слушать. Уроки С. и Л. были скучны и неинтересны, но мне они были полезны, потому что я написал мое сочинение. Вернувшись из гимназии, я застал тетю собиравшейся выйти. Я ей рассказал, кто меня спрашивал. Потом М. Ф. ***) позвала меня к себе и, сказав, что она слышала вчера отрывочные фразы из моего дневника, попросила меня познакомить ее с ним в целом. Даме не отказывают. Я принес дневник и начал чтение, прерывая его

*) «Кахас» называл Писарев свою младшую сестру Катю.

**) Грунец, имение Писаревых, в котором они поселились с октября 1850 г.

***) Кузина Писарева, жившая в доме его тетки Нат. Петр. Даниловой.



иногда какими-нибудь разъяснениями или воспоминаниями. Наконец, между нами начался разговор обо всех наших, между прочим, о Розе. Приезд М. Вонларского прервал нас. Тут пришел почтальон, я думал получить письмо, но мои ожидания не оправдались. Я все же надеюсь, что дома все здоровы, Бог милостив! Да письму и рано еще быть. Вечером пришел дядя, которого мы давно не видели, больше 2-х дней, а это много для таких близких соседей. Вечером я писал письма. Я написал родителям, потом Розе, наконец, поздравительное письмо Вере. Я лег поздно. Мы условились, что завтра после обедни я пойду к дяде, чтобы вместе с ним ехать к Раговским *).

19 сентября.

После обедни я хотел пойти к дяде и уже одевался, когда он пришел сам. Мы не застали генерала, но Коля **) был дома. Дядя напрасно ждал М. М. и наконец уехал, оставив меня у них на целый день. Мы скоро возобновили знакомство. Мы читали Купера, Американского Робинзона, потом болтали. Наконец генерал приехал и мы сели обедать; после обеда генерал пошел немного вздремнуть, а мы остались одни в большом зале. Разговор зашел, конечно, о каникулах, о том, как мы проводили время, и пошли воспоминания. Мы сообщали друг другу подробности о нашем приезде, о нашей жизни, отъезде, в одном пункте мы оказались согласны: мы оба хотели вернуться в деревню, хотя по разным побуждениям. Меня привлекали туда люди, тогда как он сожалел о вещах, о месте. Он сожалел о своей отчизне, я о своих соотечественниках, так сказать. Мы разговаривали долго и не заметили, как прошло время, потому что разговор был приятный. Наконец я ушел. Дома я принялся искать Одиссею, которую нигде не мог найти, искал даже в зале, даже в комнате тети. Нигде! Наконец, я проник даже в комнату М. Ф.—нет Одиссеи, но, подойдя к столу, я заметил письмо, написанное мамшиной рукой. Я взял и пробежал его, т. к. не могу удержаться, чтобы не прочитать того, что написано ее почерком. Почти все письмо относилось ко мне. Мамаша поручала меня благосклонности М. Ф. и просила ее утешать меня в том горе, которое причинила мне разлука. Говорилось тут о моей дружбе к Розе; мамаша боялась для меня последствий горя и пр. и пр. Одиссея нашлась в гимназии.

20 сентября.

Никто не спросил меня сегодня в гимназии. Только у Стоюнина я читал сочинение. План и тема моего сочинения для беседы совсем изменены. Я оставил Княгиню В. и беру темой Бориса Годунова. Завтра я

*) Раговский, Мих. Март., родственник Даниловых.

**) Сын Раговского, кузен и сверстник Писарева.

достану нужные книги. Вернувшись из гимназии, я почувствовал вновь один из тех приливов грусти, которые преследовали меня по приезду, но поспешил прогнать его. Когда тети узнали, что Одиссея осталась в гимназии, их негодование не знало границ. Они сами старались найти ее вместе с моей прелестной кузиной. Милый дядя был так добр, что помогал мне. Сегодня у нас много гостей. Катерина Павловна, Наталья Алексеевна и Раговский. Время после обеда и вечер я провел за чтением Гудрун, писал дневник, занимался греческим и латинским и списывал немецкую литературу.

21 сентября.

В гимназии меня спрашивал Кедров. Ничего замечательного. Так как у нас была сегодня физика, мы должны были перейти в седьмой класс. Я выходил последним, и класс оказался занятым семиклассниками. Меня было не хотели выпускать, привязали веревку к руке, но я вырвался и ушел. Ко мне уже шли на подмогу Стакоз [?] и Иванов. Сегодня я хотел достать пособия для Бориса Годунова, но, подумав, я опять меняю тему и беру чтонибудь подревнее. Завтра я достану себе летописи. Помоги мне Бог при этом. Вернувшись из гимназии, я застал у нас дядю. М. Ф. встретила меня в ярости, разгневанной Юноной, так как из моего дневника она узнала о моем проступке с ее письмом. Дядя тоже очень упрекал меня за эту провинность, провинность тем более важную, что, должен признаться, я не по неведению совершил ее. Тетя тоже бранила меня, но слегка и очень мягко. Что касается моей восхитительной кузины, то она, по обыкновению, прочла мне много нравоучений, представив мне то отчаянье (несколько преувеличенное), которое овладеет мамашей при известии об этом проступке, преступлении, злодеянии—как хотите. Что касается меня, то мне кажется, что этот проступок, хотя и заслуживает безусловно осуждения, но в значительной степени оправдывается желанием прочесть все написанное этой дорогой рукой, которое я всегда испытываю и тем, что в этом письме говорится только обо мне. Если я и прочел какой-нибудь секрет, то это секрет мамашы. А я чувствую, дорогая мамаша, что ты с обычной твоей добротой и снисходительностью легко простишь мне тот недопустимый способ, которым я овладел им. К шести часам вечера тетя М. П. *) и М. Ф. поехали к Мите, который сегодня именинник. Я остался. Во первых, потому, что для меня не было места; а кроме того у нас много уроков. Я начал с Овидия, из которого мы должны были перевести двадцать строчек! Даже больше. Потом я занимался математикой. Наконец, очередь дошла до Одиссеи, из которой нам также было задано десять строк. Тяжелый день.

*) Мария Петровна, сестра Н. П. Даниловой.

22 сентября.

В гимназии меня спрашивал Миквиц по физике, о трении. Он поставил мне пять, что доставило мне большое удовольствие. Шестой класс для меня счастливый. Слава Богу. И я этому очень радуюсь, потому что знаю, какое это доставит удовольствие моим родителям. Вторые часы у нас был Лемониус. Была беседа. Ордин читал из Солона. Он читал и переводил очень хорошо. Буш меня спросил сегодня и тоже поставил мне пять. Миквиц спросил у меня задачу и нашел, что она сделана верно. Он заставил меня отвечать, но ничего мне не поставил. Велел мне прийти к нему в понедельник и обещал объяснить мне тогда свой способ, которого я не слышал, т. к. пришел слишком поздно. Сегодня Красов дал мне окончательно тему для сочинения—История Галицкого княжества. Вот книги, которыми я буду пользоваться: Карамзин, летопись и сочинения Тургенева. Я по обыкновению с жаром принялся за работу и перерыл объемистый труд Карамзина, читая все относящееся к моей теме и отмечая то, что находил. Сегодня нас почтил своим посещением Толбуудив. Он и сейчас здесь и говорит без конца. Я целый вечер перелистывал Карамзина. Я делаюсь антикваром, так сказать. Вечером приехал дядя, князь и Е. П. Говорили о моем почерке, кажется, дядя бранил его. Тетя приказала принести дневник, чтобы показать почерк. Я принес его, и князь, услышав слово дневник, взял тетрадь с насмешливым и самодовольным видом и приготовился заглянуть в него, но я, быстрый, как мысль (тяжелая, разумеется), вырвал у него находящийся в опасности дневник и, сказав, что я не давал ему право его читать, вышел с большим эффектом. Я ничего не приготовил на завтра. Но четверг легкий день. Утрие бо собою печется, довлеет дневи злоба его.

23 сентября.

Сегодня меня спросил один Миналь. Я переводил и он одобрил меня. Когда я вернулся из гимназии, меня встретила М. Ф. и предложила мне стать ангелом. Я, конечно, согласился и цена этого звания оказалась недорогой. Я должен был помочь М. Ф. привести в порядок книги, которые она приготовила для моих сестер. Это мне напомнило подобную же работу с сундуком с книгами, которую мы делали в деревне. После обеда (обеда в четвером, по семейному) мы принялись за работу. Я, как истый лентяй, сделал мало. Я только перелистывал книги, но по крайней мере у меня было доброе намерение. Однако, М. Ф., видя, что я приношу ей мало пользы, решила, что я недостойн ангельского чина. Книги очень хороши, есть много таких, которые Розе будут интересны. Прелестные журналы за много лет, журналы немецкие и вообще очень много. Розе и Вере хватит чтения на несколько лет. Я не понимаю молчания наших. Вот уже

две недели ни одного слова. Я слишком флегматичен, чтобы долго беспокоиться, но сейчас я право не знаю, что думать, как объяснить такое долгое и упорное молчание. Дай Бог, чтобы оно было беспричинно. Я очень боюсь, что мои опасения оправдаются, хотя сейчас их у меня еще нет. Я чувствую только какое-то смутное беспокойство и все растущее желание получить от наших известия, прочесть их письма. Удовольствие, которого я давно не испытывал, самое большое после радости их видеть. Не так давно я начал понимать радость воспоминаний и переписки. Говорят, что во сне видишь то, о чем думаешь. Теперь я этому верю, испытываю это на себе. Думая постоянно о моих милых, милых друзьях в Грунце, так сказать, живя воспоминаниями, я только и вижу во сне деревню и каникулы. Сегодня ночью я видел себя на качелях, видел всех наших. Убаюканный этими сладкими иллюзиями, и, чувствуя утром, что просыпаюсь, я стараюсь снова заснуть, чтобы снова вызвать эти сладкие видения, хотя и знаю, что это сон. Обыкновенно это удается мне. Сегодня вечером я занимался греческим, латинским и математикой.

24 сентября.

Сегодня меня спрашивал Буш. Кажется, этот милый человек принял за правило спрашивать меня каждый урок. Вот уже четвертый раз, как он удостаивает меня своим вниманием. Сегодня, как и предыдущие разы, он мне поставил 5. Это третья пятерка, которую я получаю на этой неделе. Красов, который был перед Бушем, выбрал меня читать в понедельник. Моей темой будет Куликовская битва. Буш говорил нам сегодня о пользе и необходимости учения для жизни. Разговор перешел на это незаметно. Так как это VI класс, то он часто позволяет себе отклоняться от своего предмета. Нужно сознаться, что он человек большого ума; все, что он говорил, полно правды и здравого смысла. У Лапшина была беседа. Ордин читал «Золотой век» Овидия, он читал и переводил очень хорошо. Но самым трудным на уроке было длинное введение, которое он сделал. Биография Овидия на очень хорошем латинском языке; я все понял, но я не знаю, смогли бы я это сделать, составить сам. Это очень трудно. Кедров также спрашивал меня, мне пришлось распутать очень трудную греческую фразу. Сегодня в первый раз с начала года у нас было учение. Мы маршировали отвратительно и разошлись без команды. VI класс, чорт возьми! Ждать команды! Вернувшись домой, я пошел поздравить моего милого дядю и мы очень долго с ним удивлялись долгому молчанию мамыши. Писем нет, все та же история! Это странно и в то же время беспокоит меня. Но не надо терять ни мужества, ни надежды. После обеда окончил Gudrun. После-завтра я верну ее Бушу и попрошу другую книгу, тоже сагу. Что касается Gudrun, то она мне очень понравилась и я решил сделать из нее извлечение, хотя многое потеряется, но сюжет все же сохранится,

и я немедленно приступаю к исполнению моего намерения. Я напишу его по-немецки, в этом же дневнике и если не кончу сегодня, то буду продолжать после завтра. Я раздумал...

25 сентября.

Буш говорил нам сегодня о сказках. Он сообщил нам очень интересные подробности о животном эпосе. Вообще его уроки всегда очень интересны, и я чувствую к Бушу большую симпатию, особенно с тех пор, как он поставил мне четыре раза 5. Я пристрастен, но это недостаток довольно распространенный. Лемониус спрашивал меня сегодня в первый раз, и я переводил на русский, потом на латинский. Сегодня я расстался с Гудрун, и получил взамен книгу гораздо толще «Das kleine Heldenbuch» — сборник красивых саг. Вернувшись домой, я увидел тетю Катерину Васильевну, для меня было большой радостью увидеть эту милую тетю, крестную, хотя это и не было сюрпризом. Вместе с тем я узнал от дяди, что наконец получено письмо от мамы. Я с жадностью набросился на него. Это были дорожные впечатления Малеас, большей частью грустные, в них слышалось горе разлуки с нами. Тем не менее эти грустные впечатления уравнивались удовольствием, которое она ждала от свидания с Кахас, папой и детьми. Письмо мамы было довольно длинное, но мне всегда хочется, чтобы оно было еще длиннее. Никогда не бываешь доволен тем, что имеешь. После письма мамы я прочитал, что мне писали сестры. Несколько наспех написанных строк, которые доставили мне большое удовольствие. Роза написала мне совсем коротенькое письмо, объясняя, что помешало ей, несмотря на ее доброе желание, которому я искренно верю, написать больше. Этой помехой была роковая цифра 10 и еще более роковой голос, такой знакомый, раздражающий и скучный, который всегда раздаётся после 9-ти часов и который и тут заставил ее кончить. Сколько раз я искренно негодовал на этот голос, безжалостно прерывавший занятую игру, интересный разговор, приятное чтение, сколько раз я протестовал, и всегда мой смешной и бессильный гнев раздражался безуспешно. Вечером я читал мою немецкую книгу, потом стал писать мамаше, потом пришла очередь Веры, и, наконец, я написал маленькое письмецо Розе. Маленькое, капишное! Я благодарил ее за письмо, рассказал ей о неприязненном чувстве, которое у меня было к ней и о насмешливом письме, которое я ей готовил. Наконец, я просил у нее прощения за это недоброе намерение. Все это задержало меня до 12-ти, так как голос отсутствовал. Митя еще занимался и сидел еще позже меня.

26 сентября.

Мы были у обедни в Преображ. соб. Вернувшись, я хотел унести к дяде письма мамаше, но когда я уже одевал пальто, он вошел сам, таким

образом мне не пришлось идти. Сегодня у меня был в гостях Николай Раговский, совсем ненадолго. Мы не были одни и не могли возобновить того разговора, который был у нас в прошлое воскресенье, не могли отдаться воспоминаниям, не могли говорить так откровенно, как мы говорим с глазу на глаз. Меня спросят о предмете этих разговоров, может быть посмеются, говоря, что у нас не может быть секретов. Постоянной темы у нас разумеется нет, она изменяется, смотря по времени, по настроению, но свидетели нас всегда стесняют. Митя был занят тем, что делал кистень, очень страшное оружие, которое он изготавливает, чтобы защищаться от грабителей. После обеда пришел Коко*), он очень вырос и очень изменился к лучшему. Вечером я искал слова к Одиссее. Потом писал Gudrun, и, наконец, читал. Вчера лег спать очень поздно, долго разговаривая с обеими тетями.

27 сентября.

Сегодня я опоздал в гимназию, но только на три минуты. Вторые часы была беседа по истории. Я читал, моей темой была Куликовская битва—по истории Карамзина. Я сделал вступление, не написав его предварительно, а, по своему обыкновению, экспромптом. Я справился с ним довольно сносно, так как красноречие всегда осеняет, когда бывает нужно. Наконец, чтение началось. Я уже прочел несколько страниц, когда вошел Аккерман, наш инспектор. По приказанию нашего историка Красова, я повторил свое вступление, и чтение продолжалось. Тема уже приближалась к концу, когда дверь широко открылась, и появился попечитель. После «здравия желаю», он приблизился к своему стулу, произведя огромный эффект. Красов поднялся, словно подброшенный пружиной, и весь дрожа, то краснея, то бледнея, ни жив ни мертв, подбежал и встал рядом со мной. Наконец, заметив меня на столь возвышенном месте, он обратился ко мне: «Что он читает?» спросил он.—«Расскажите», сказал Красов, весь дрожа от волнения. Я снова начал мое вступление, стараясь передать его еще более красноречиво, чем предыдущие разы и, кажется, успел в этом, так как Мусин-Пушкин явно выразил свое одобрение.—«Хорошо, хорошо», повторил он несколько раз. Наконец, после третьего повторения моего вступления, я продолжал чтение, прерывая его время от времени кое-какими замечаниями. Урок кончился. Попечитель еще раз выразил свое удовольствие, спросил мою фамилию, спросил как я учусь и, получив благоприятный ответ, поощрил меня продолжать таким же образом, спросил сколько мне лет и, наконец, вышел. Красов, сияя от радости, вышел тоже, любезно нам поклонившись. Лебединский спросил меня сегодня и посадил меня, после того, как я правильно и бегло перевел две строчки. Сегодня у нас было учение.

*) Коко Копьев, один из кузенов Писарева.

Мы все много шалили. Вернувшись домой, я рассказал мои подвиги. Вспомнив, что надо переодеться, я поспешил одеть штатское платье. Тетя, видя меня в таком виде, значительно улыбнулась. «Ох, Д. И.», сказала она, много мы с Вами ссориться будем.—«А что, ответил я, оттого, что я в штатском?» Разгадать эту улыбку не трудно. Тетя, видя, что я забываю передеваться, сказала мне, что я не буду писать Розе каждый раз, как об этом забуду. Средство было радикально и подействовало. Не желая лишать ни себя удовольствия беседовать с нею, ни ее того удовольствия, которое она, как говорит, испытывает, получая мои письма, я стал внимательнее, и на эту перемену намекала тетя. После обеда я пошел к дяде, ему нездоровилось. Я нашел его хуже чем вчера. Я посидел немного у него, но так как он собирался спать, то я ушел. Бедный, милый дядя! У него, повидимому, будет лихорадка. Вечером я читал, писал дневник, наконец, теперь хочу заниматься.

28 сентября.

Сегодня был несчастливый для меня день. У Кедрова я переводил для Фаминцына с латинского, а в это время Кедров разбирал греческую фразу. Заметив, что мы занимаемся посторонним, он меня заставил отвечать. Так как я не слушал, то наделал массу ошибок. Он посадил меня, поставив мне нуль. Очень жаль, но я сам виноват. Лапшин меня сегодня спросил. Я до сих пор не могу привыкнуть читать латинские стихи. Кроме того я постоянно воюю с латинскими ударениями. Он мне поставил только три с половиной. Несчастный день! Сегодня мы в первый раз проникли в физический кабинет. Меня электризовали, и я не нашел этого ощущения неприятным, так как оно слишком слабо. Вернувшись из гимназии, я рассказал тете о моем несчастье и получил совет быть вперед благоразумнее. Я пошел навестить дядю. Мне сказали, что он спит, но он проснулся и велел меня позвать. Ему лучше, чем вчера, но он очень слаб. Неммер был у него сегодня. Пробыв у него с четверть часа, я, к сожалению, должен был уйти, чтобы не опоздать к обеду. Сейчас же после обеда я принялся за работу. Я искал латинские слова, потом греческие, наконец, решил задачу. Все это заняло у меня много времени. Я хочу отдохнуть, хочу читать, и стараюсь сократить мой дневник. У нас сегодня Опочинины, но я остался у себя, мне нечего делать в гостинной.

29 сентября.

Сегодня у нас была физика, и, когда мы были в физическом кабинете, я просил несколько раз электризовать меня. Сегодня мы делали опыты с монохордом и с Хладниевыми фигурами. Урок кончился концертом, который Миквиц дал нам на органной трубе. Буш читал сегодня баллы. Не-

смотря на мои пятерки, которые я получил у него четыре раза, он мне поставил только четыре. Это удивило, но не огорчило меня. Это не лишает меня чести и удовольствия получить четыре раза пять. У Лемониуса мы делали совсем необыкновенную вещь—переводили с русского на греческий. Это показалось мне очень трудным, и я не знаю, верен ли мой перевод. Лапшин спрашивал меня сегодня еще раз, и, хотя я все еще не совсем хорошо читаю стихи, все же шло лучше, чем вчера, и я сегодня получил четыре, так же, как и Цв. У Миквиц мы начали тригонометрию. (Вернувшись домой, я застал у нас даму, которой тетя меня представила, и которая поздоровалась со мной, сказав, что она моя тетя. Немного удивленный этим неожиданным приращением семьи, я не нашелся в тот момент, что сказать ей, и ограничился моей самой любезной улыбкой. Это служило моим ответом на все ласки, которыми осыпала меня моя новая тетя. Я не знал ни ее имени, ни какой родней она мне приходилась. Я должен был верить ей на слово и, разумеется, можно себе представить, что я не мог с первой же минуты быть с ней так экспансивен и нежен, как того требовали родственные отношения. Что меня поразило в моей новой родственнице, так это жалобный и тягучий тон, которым она со мной говорила, но я приписал его волнению и радости при встрече с сыном подруги и не обратил на него внимания. Но М. Ф. — злой и насмешливый язык — отозвала меня в сторону и спросила меня, подражая этому тону: «Писарев, кто это?» Я не мог ответить на этот вопрос, но она заставила меня обратить внимание на этот тон, который затем поражал меня все больше и больше.) Сегодня, как все последние дни, я был у дяди. Я нашел его гораздо лучше, чем вчера. Он меня спросил, есть ли письма от мамы. Я ответил отрицательно и даже сказал, что не надеюсь скоро получить от нее известий. Дядя сказал, что завтра я пойду к дедушке. Вернувшись, я нашел письмо от мамы, как полное и приятное опровержение того мнения, которое я высказал у дяди. Хотел бы я всегда так ошибаться. Я прочел письмо при тете (опускаю повторение эпитета новая и ставлю на нем крест) и удовольствие, которое я выказал, читая эти строки, кажется, дало ей обо мне очень хорошее мнение. Мама пишет мне довольно грустное письмо. Вера была больна. Моя милая Кахас тоже была очень нездорова. Бедный друг, Кахас! Несчастья ее маленькой жизни уже начались. Все наши были здоровы. Моя дорогая Малеас тоже наслаждается полным здоровьем. О папаше я узнал немного, кроме того, что он обнимает и благословляет меня. Сестры мне тоже написали и больше, чем в прошлые разы. Роза написала мне очень ласковое письмо, доставившее мне много удовольствия. Она пишет мне о каникулах, которые мне представляются вдалеке, как обетованная земля, благодарит меня снова за мое московское письмо, которое, кажется, не могла сразу прочесть, и описывает свои занятия; вещь знакомая, но о которой слышать всегда приятно.

Она мне все напоминает, как мы проводили в Знаменском *) 25 сентября, все развлечения, бал, спектакль, и приятную семейную жизнь, от которой я оторван уже много лет. Счастливые дни! Счастливое детство, ушедшее навсегда, его не смогут вернуть ни воспоминания, ни горькие сожаления. Боже мой! Грустно об этом думать! Как права Роза, когда она говорит, что тогда мы не думали о разлуке. Это время казалось таким далеким и вот оно наступило и в свою очередь пройдет, уступая место другим дням. Бог знает, будут ли они счастливее, но уже, конечно, они не будут днями детства. Услышав эту жалобу, эту трогательную элегию, можно подумать, что я несчастлив. О, нет! Я далек от этого, но когда касаешься счастливых воспоминаний, особенно воспоминаний детства, они всегда производят впечатление приятной и грустной мелодии. Находясь под властью этого настроения, я отказываюсь от описания остатка дня и моей тети. Чтобы сделать это, нужно быть веселым и насмешливым, нужно быть в бодром, а не в элегическом настроении. Я обуздываю мое перо, оно угрожает остатку тетради, до сих пор чистому от его маранья.

30 Сентября.

Красов читал сегодня баллы. У нас пятерых пятерки. У Ордина, Цветкова, у меня, Мостовенки и Зеленина. У нас троих пять с крестом, как я видел в книжке Красова. Сегодня, благодаря содействию Красова, Стакоз должен был дать, или по крайней мере, обещать мне Ипатьевскую летопись, но, чтобы получить ее, я должен буду пойти к нему, а он живет на краю света, у Большого театра, но по крайней мере я могу быть спокоен за мое сочинение. Миналь читал наши баллы. У Ордина и у меня 5, у Цветкова 4, у Мостовенки $3\frac{1}{2}$, у Зеленина 3. Вместо урока Стоюнина, у нас была беседа по литературе. Тимаев читал свое сочинение, его темой была Москва; его оппоненты Фаминцын, Зеленин и Иванов сделали ему много замечаний. Я тоже сделал ему два замечания: «золото ослепляет душу, но не поражает ее», мне показалось, что это не имеет смысла.— «По выходе из церкви, свобода повеяла мне навстречу». Я не понимал значения слова «свобода». Мои замечания были приняты. Ордин читал второе сочинение, его тема была «Поэт». Хотя он скромно уверяет, что оно посредственно, я нахожу его прекрасным. Я слушал его с большим удовольствием. Он очень энергично защищал свое сочинение против Цветкова, который на него нападал. Вернувшись, я застал у нас мадам Ватковскую, которой тетя меня представила и которая не приветствовала меня словом «племянник». Приходили не надолго дядя, Раговский, М. М. и тетя Н. Н. Миша был с ними. После обеда я пошел к дяде, думая, что он пошлет

*) Знаменское, родовое имение Писаревых, Елецк. уезда, Орловской губ., где семья Дм. Иванов. жила до 1850 г.

меня к дедушке, но он нашел, что слишком поздно. Милому дяде лучше, гораздо лучше! Я ему прочел мамшино письмо, потом письма сестер и даже забыл их у него. Вечером я читал тетям мой дневник, оказалось, что он гораздо лучше, чем мой дневник за прежние годы. Как подражание, он заслуживает даже чести походить на дневник m-lle Розы. Чтобы быть его верной копией, не хватает только воспоминаний о прошлом. Я еще не решил, когда их начну. Сегодня мне слишком лень, когданибудь, когданибудь они будут начаты. Для меня загадка, когда наступит этот день.

5 октября.

Сегодня Кедров меня спрашивал, чтобы дать мне исправить неудачу, которую я недавно потерпел. Вернувшись из гимназии, я нашел у нас Потулова. Он не нашел, чтобы я вырос, но нашел, что я возмужал. После обеда я занимался сегодня моими летописями и работал над ними очень усердно. Эта работа помешала мне писать дневник, хотя за последние дни было довольно много событий. Вечером было много гостей. Сегодня пустой день.

6 октября.

Сегодня со мной случилась неприятная вещь. После урока Лемонюса меня толкнули, я упал на стол и ударился об угол головой. Хорошо еще, что правый глаз, милостью Божьей, остался цел. Однако, так как удар был довольно силен, меня повели в лазарет. Нас встретил инспектор и спросил, как это случилось. Ему ответили, что я упал случайно. Все говорят, и я тоже говорю, что я поскользнулся. В лазарете нас встретил довольно угрюмый солдат. Ворчун, как все старики, он принялся брюзжать себе в бороду на гимназические драки, жертвой которых он меня считал. Он мне не дал никакой примочки, но сделал мне холодный компресс. Пробыв минут 10 в лазарете, я вернулся в класс. У нас был Буш. Он меня спросил сегодня и поставил мне 5. Вернувшись домой, я нашел только тетю М. П. и Е. В. Моя пострадавшая физиономия их испугала. Милая тетя М. П. послала за арникой для компресса. Тетя Н. П. и М. Ф. скоро вернулись. Тетя удивилась моему несчастью и велела сделать компресс. Вечером пришел дядя. Так как мой ушиб мешал мне выходить, мне не нужно было ничего готовить к завтраму. Я кончил «Collège incendié», начатый вчера. Это совсем детская книга, но очень интересная. Недаром я ее прочел с таким увлечением. В гимназии Лапшин читал свои баллы; у меня было 4, и из всего класса только у одного Ордина было 5. Однако, я надеюсь, что он поставит мне лучший балл в следующий раз, когда я научусь читать стихи. Мы весело провели сегодняшней вечер. М. Ф. была в очень хорошем настроении, она много пела, много смеялась, мне тоже было вчера очень весело.

7 октября.

Сегодня мой ушиб помешал мне идти в гимназию. Человек—животное, привыкающее. Утром мне было не по себе, я не привык в это время быть дома и мне чего то не хватало. Не хватало моей гимназии. Перед обедом я занимался тригонометрией, летописью, потом читал немецкую книгу и, наконец, взял в библиотеке М. Ф., предназначенной для моих сестер, очень интересную книгу «Etienne et Valentin». Я читаю с увлечением, со страстью, как делаю вообще все. Молчание наших меня огорчает. Оно меня не беспокоит, но мне хочется читать их милые письма. Я не могу без них обходиться. Вечером я писал латинские и греческие слова, потом читал, наконец, пришла очередь моего дневника. Вот и еще день прошел, еще шаг к каникулам, но какой он маленький, и как еще до них далеко. Мужайся! Они придут! Дядя, слава Богу, получил сегодня место. Как я рад за него и за себя. Как и мамаша будет довольна. Тетя сегодня много ходила. Вечером у нас были гости.

8 октября.

Сегодня меня спрашивал Кедров, я хорошо ответил. Дома я нашел письмо от мамашы, которое получил дядя и прислал мне. Милая мамаша написала мне несколько строк. Она пишет, что дядя Андрей, который обещал приехать тринадцатого, сдержал свое слово. Пишет, что у нас веселятся. Ах, я представляю себе, какое оживление в нашем кружке, как было бы весело провести там, хотя бы один только день. Прошли каникулы и не вернутся так скоро. Еще почти целый год. Безумие желать сейчас видеть своих, представлять себе каникулы с их радостями. Но, что же делать, если именно в минуту разлуки всего больше хочется видеться, что делать, если это несчастное желание растет по мере того, как яснее понимаешь, что нельзя его удовлетворить. Ждать... терпеливо или нет, смотря по настроению, но все-таки надо ждать. Можно выходить из себя, бесноваться, все желания, все стремления поведут только к тому, что долгий срок, отделяющий меня от каникул, покажется еще длиннее. Положительно не нужно об этом больше думать! Сегодня у меня странное настроение. То я холоден и рассудителен, то, думая о каникулах, готов проливать слезы и чувствую непреодолимую грусть. Это ни на что не похоже.

11 октября.

Сегодня день рождения Миши. Ему исполнилось 18 лет. Тетя М. П. и кузина пошли к нему. Сейчас я кончил латинские слова к завтрашнему уроку и принимаюсь за мой дневник, который я забросил последние два дня. Эти два дня я чувствовал глубокое уныние, вызванное тем, что

каникулы так далеки. Я доходил в своей глупости даже до слез. Теперь, слава Богу, эти причуды прошли. Эти два дня я не хотел браться за дневник, каждый раз, как я его пишу, я думаю о том дне, когда буду читать его среди своих. В том настроении, в каком я находился, в этой мысли, не было для меня ничего утешительного и потому дневник был в немилости, изгнан и заброшен в ящик. Вчера приехал Жуков*) и я получил добрый запас писем от своих. Мамаша пишет мне о Кахас, о моем рождении, она внушает мне продолжать хорошо учиться. Милая, милая мамаша! Ее письма так полны любви. Дядя тоже пишет мне длинное письмо. Он пишет мне о том, как они проводят время, жалеет, что не застал меня в Грунце и выражает желание получить место в Петербурге. Роза также не забыла меня. Об этом свидетельствует длинное письмо о Кахас. Между прочим, она пишет об очень грустной вещи, о возможности разлуки с мадемуазель Жюли. Это, право, очень грустно. Она такая милая. Я, которого она выхаживала так настойчиво, с такими нежными заботами во время моей болезни в 1853 г., особенно обязан ей благодарностью. Но особенно живо почувствует ее отсутствие Роза, мадемуазель Жюли относится к ней с большой дружбой. Она очень будет жалеть об ней, моя бедная, милая Роза. Да и все наши, я уверен, будут очень жалеть об ней. Она, как член нашей семьи, ее отсутствие образует на долго большую пустоту. Вера написала совсем кокетливое письмо, на хорошенькой, голубой бумаге, в маленьком конверте. (Сегодня Красов заставил меня писать хронологию русских князей. Я справился с помощью Иванова, который подсказывал. Если это и нечестно, то удобно.) После уроков я пошел за покупками. Я купил русскую историю, брульон и перьев. Тети К. В. не было дома. Она у Раг. Теперь у нас Кат. Павл. Вернувшись из моего путешествия в Гостиный двор, я искал после обеда латинские слова. Писал дневник, теперь принимаюсь за греческий.

15 ноября.

Зима дает себя очень чувствовать. Сегодня я встал с большим трудом. Зимой всего больше хочется спать. В гимназии, куда я пришел довольно поздно, меня вызвал учитель истории. По совести сказать, я не готовил, но, вспомнив, по счастью, то, что учил еще в Грунце, я выпутался, кажется, с честью. На уроке литературы у нас была так давно ожидаемая беседа, чтение Жанны д'Арк. У меня была главная роль, я взошел на кафедру и сказал вступление. Начался пролог. Шло довольно хорошо, пока Стрельников, который играл Раймонда, не испортил впечатления. Он несколько раз принимался читать, и каждый раз начинал смеяться. Королева Изабелла, которую играл Исаев, была тоже довольно.

*) Тульский помещик, сосед Писаревых по имени.

плоха. Тем не менее пьеса в общем сошла недурно. Лемониус тоже спросил у меня перевод и поставил мне четыре. На уроке Лебединского мы с Фаминцыным искали слова из Овидия. Лебединский спрашивал меня, и я ответил довольно хорошо. На ученьи директор выговаривал нам за небрежность в маршировке, и, кажется, это оказало свое действие. За обедом М. Ф. выразила желание читать чтонибудь вместе, и мы принялись читать «Прогулки вокруг света». М. Ф., как всегда, хотела читать все, предисловие, корабельный журнал, где были записаны все матросы экипажа, введение, и это задержало нас довольно долго. Но мы всетаки прочли семнадцать писем и шестьдесят страниц, проследив за путешественником по атласу его путь. Книга интересная и, если кузина, по счастливой случайности, окажется более постоянной, я буду продолжать ее с удовольствием.

16 ноября.

Сегодня, идя в гимназию, я увидел, что погода совсем переменялась. Стало тепло и сыро, настоящий морской климат. Была совершенная оттепель, и тротуары были совсем мокрые. Лапшин объявил нам сегодня, что вместо урока Красова у нас будет латинский. «Кто хочет читать?» — спросил он. Я поднял немного голову. «Вы хотите читать?» — спросил он у меня. — «Если позволите», ответил я. — «Хорошо, вы прочитаете то, что мы переводили о Фаетоне и сделаете ваши замечания». Так я навязал себе неподготовленное чтение, да еще у страшного господина Григория. После большой перемены я, как вчера, взошел на кафедру и начал читать. Прочитав 30 страниц, я начал переводить, и, кажется, мне удалось перевести правильно и красиво. Ордин сделал мне несколько поправок, но немногие были приняты. Замечания, которые я сделал, относились к поэтическим вольностям и конструкциям. В общем я, кажется, справился со своей задачей. Едва я покинул мое триумфальное сиденье, как раздались восклицания: Райковский, Райковский! В одну минуту мы сидели за книгами. Все страдания христианских мучеников встали перед нами, но, зная кое что, мы, наконец, успокоились немного за нашу участь и стали ждать появления отца Андрея. Наш священник пришел первый и, предупредив нас о приходе грозного посетителя, стал рассказывать дальше по истории церкви. Однако, его скоро прервали. Дверь широко открылась и появился отец Андрей в темно-малиновой рясе. Он начал с левой скамейки, и Потапов, последний у окна, рассказал о празднике Пятидесятницы, за ним следовали Ордин, Мостовенко, Стрельников, и, наконец, настала моя очередь. Мне пришлось рассказать об обращении Павла, я это сделал удовлетворительно, и гроза прошла дальше. Слава Богу, я выпутался лучше, чем ожидал. Едва я вернулся домой, как М. Ф. объявила мне, что мы должны читать Полиекта. Сняв мундир, я принялся за чтение, но мы

успели прочитать только один акт. После обеда тетя послала меня к Катерине Павловне. Я нашел квартиру, хотя и с некоторым трудом. Е. П. предложила подождать ее, чтобы вместе пойти к нам, и я провел четверть часа с мадемуазель Мари и ее гувернанткой. Вечером я занимался латинским. У нас были сегодня гости: Цертелев, дядя, Виленский и Жуков.

17 ноября.

Сегодня по дороге в гимназию со мной случился довольно неприятный случай, я потерял Овидия, и, несмотря на все мои поиски, не мог найти его. Никто не спросил меня сегодня, и, следовательно, на уроках не было ничего интересного. Узнав о моей беде, Фаминцын предложил мне очень деликатно своего Овидия, так как у него их несколько. «Так, продай мне его»,—сказал я ему. Он не согласился, и мы решили, что он мне его одолжит на год. Дома я читал биографию Буало и сделал из нее извлечения, которые я прочту завтра на беседе. После обеда тетя и все наши пошли к Копьевым, а я провел вечер один, за чтением Современника. Сегодня день рождения Кахас. Милой крошке исполнился год. С какой тревогой я ждал писем в прошлом году и как я был счастлив, получив известия о рождении моей милой, маленькой сестры. Что то делается у нас?

18 ноября.

Сегодня на уроке французского я читал III сатиру Буало. Миналь похвалил мое чтение и мой перевод. Но наши пансионеры, особенно Мостовенко и Ордин, осаждали меня насмешками за некоторые выражения моего перевода—лизоблюд и потом—ели боком. Тем не менее, заслужив похвалу, я доволен уроком. Сегодня у нас была беседа по литературе. Читали Орлов *) и Стакоз. У Орлова было сочинение о литературных обществах начала нынешнего столетия. Сочинение было хорошее, и он энергично и с успехом защищал его. Стакоз написал описание Нежина (?). Вернувшись домой, я получил много писем от наших. Мне писали мамаша, тетя Катя, дядя Андрей, Вера, а Роза, раскаиваясь в своей забывчивости, вознаградила меня за эту небрежность длинным дружеским письмом и обещанием написать еще более длинное. Дядя хочет приехать в Петербург. Я хочу спать. До свидания.

[1855 г.].

3 апреля.

Сегодня начало уроков после Пасхальной недели. Скучно возвращаться в классы после целой недели ничего неделания. Это *far niente* так приятно. А потом нет ничего более нелепого, чем эти три-четыре

*) Орлов, Ник., ученик VII кл. Его сочинение «О литературных обществах XIX ст.» получило похвальный отзыв по округу.

недели занятий, которые предшествуют экзаменам. Но делать нечего, я пошел в гимназию. Я опоздал и вошел к Миналю двадцать минут спустя после начала занятий. Сегодня из всех учителей спрашивал один Лемониус. Остальные читали или диктовали программы. Я услышал сегодня мало утешительную новость: директор сказал, что экзамены начнутся около 10 мая; это не очень весело. Однако, о времени экзаменов ходит всегда столько смутных слухов, что никогда не знаешь, кому верить. После уроков у нас был Военный Устав, потом ученье. Сегодня у нас батальонного ученья не было, было взводное и застрельщичье. Вернувшись из гимназии, я застал у нас мадам Рагов. и Сашу. Вечером, как всегда, были кое-какие гости. Я хочу спать и потому сокращаю сегодня мой дневник.

От Редакции.

За разрешение поместить дневник Д. И. Писарева в настоящем сборнике Редакция приносит глубокую благодарность Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук—в лице академика Н. А. Котляревского, Б. Л. Модзалевского и Е. П. Казанович.

Редакция, к сожалению, за недостатком места, принуждена была отказаться от помещения в сборнике отзыва Д. И. Писарева о его гимназическом образовании из статьи—«Наша университетская наука» (сочин., т. III, стр. 2—11).

...

Из воспоминаний Викт. П. Острогорского *).

В 1852 г. я был переведен (из 1-й гимназии) пансионером, на казенный счет, в 3-ю С.-Петербургскую гимназию, так как отец мой в феврале 1852 г. скончался, и платить за меня было некому, вакансий же казенных в 1-й гимназии не было.

Третья С.-Петербургская гимназия, выпустившая из своих стен столько педагогов, была в то время заведением совсем особенным. Начать с того, что с падением классицизма министра Уварова, она была в то время *единственная в Петербурге классическая, с обоими древними языками*, из которых греческий начинался в 3-м классе, а латинский со второго. Гимназия эта была самая многочисленная, с параллельными отделениями до 5-го класса, когда пансионеры, которых всех было что-то около 250, соединялись в один класс с приходящими. Назначение ее было, по преимуществу, готовить педагогов,—так что все казенно-коштные, переходя в последний, седьмой класс, курса здесь не оканчивали, а переводились без экзамена в Главный Педагогический Институт, чего, впрочем, я избежал, бла-

*) «Из истории моего учительства». СПб., 1895 г.

годаря покойным — директору Ф. И. Буссе, и, кажется, В. Я. Стоюнину (секретарю Педагогического Совета), считавшим за лучшее довести меня до университета, так как в конце пятидесятих годов уже шли толки о закрытии института. Как дорогая по плате 1-я гимназия, откуда с 5-го класса переводили в лицей, и куда принимали только потомственных дворян, считалась, некоторым образом, аристократической, почему здесь лучше кормили и одевали, и обходились с учениками как-то все-таки помягче, и секли поосторожнее и пореже, так самая дешевая по плате — 3-я, где было множество казенно-коштных, большею частью круглых сирот, или, вообще детей безответных бедных чиновников, счастливых тем, что дети, так или иначе, пристроены, отличалась в мое время очень плохим содержанием, / грубым обращением с учениками и, по-истине, жестокими нравами интерната, напомнившего мне впоследствии бурсу Помяловского. С 1856 г., как и все в России, и наша alma mater немножко поочеловечилась: гувернеры, напр., в маленьких классах перестали драться, ограничившись более ругательными словами, — порка совсем прекратилась; поступило несколько новых учителей, обращавшихся с учениками более гуманно и старавшихся заинтересовать своим преподаванием; но, когда перешел сюда, в 1853 г., я, если исключить нескольких добрых товарищей, с которыми завязалась у меня тесная дружба и образовалась своя маленькая кружковая жизнь, тяжелое это было заведение. Конечно, спасибо и за то, что оно, как-никак, все-таки дало кое-какое образование многим из нас, бедняков, как, напр., и мне самому; но скольких же и выбросило оно за борт, как негодных, до окончания курса, скольких озлобило и ожесточило в нежную пору ранней юности.. Во главе заведения стоял добрый и благороднейшей души человек, Федор Иванович Буссе — педагог, пользовавшийся большой известностью, посланный некогда от министерства народного просвещения за границу для изучения педагогики под руководством самого знаменитого Песталоцци, с которым, говорят, он очень сблизился. Но, в тот период, когда учился в гимназии я, он, — по усталости-ли, болезненности, или просто по невозможности действовать более самостоятельно, — мало принимал активного участия в управлении заведением, и гимназия, назначение которой было подготовка будущих педагогов, не носила в себе педагогического характера ни в смысле песталоцциевской гуманности, ни в смысле выбора учителей (за немногими исключениями) и гувернеров, ни, наконец, в общем характере и строе заведения, которое весьма мало задавалось целью сделать из нас образованных людей. По крайней мере, у такого гуманного директора-педагога и добрейшего, любившего нас, человека, был инспектор некий Аккерман, на глазах всей гимназии выпоровший в коридоре моего товарища, ученика третьего класса, так, что беднягу, к ужасу детей, вынесли в лазарет на простыне, и вообще славившийся своей слабостью к телесным наказаниям. Не мешало управление директора и плохому

содержанию учеников, которые в своих, часто справедливых, жалобах, встречали отпор в виде строгого наказания за дерзость осмелиться пойти якобы против начальства. Не было у нас никакой библиотеки для учеников, — даже русских писателей, Жуковского, Пушкина, Гоголя не давали нам на руки, — и первая книга, выпрошенная мной, кажется, в 5 классе, из большой учительской библиотеки, было смирдинское издание сочинений Тредьяковского. Теперь, чуть не через 40 лет, проведя сам на педагогической службе более тридцати, с изумлением обращаюсь к своей гимназической юности с грустным воспоминанием о том, что в столице, в единственной педагогической «классической» гимназии, чуть-что не с 600 учеников, могла совершенно отсутствовать со стороны начальства решительно всякая мысль о том, чтобы хотя сколько нибудь способствовать чтением умственному и нравственному образованию тех, кого с детских лет обрекали на служение распространению образования во всем государстве. И в результате выходило то, что ученики, как справедливо говорит мой покойный гимназический товарищ, Д. И. Писарев, в своей статье *«Наша университетская наука»*, поступали в университет невеждами, совсем беззаботными на счет литературы не только иностранной, не зная таких писателей, как Шекспир, Шиллер, Гете, Диккенс, и т. п., — но даже и русской, причем начитанности и развития по части исторической уже не было вовсе. Конечно, исключения были, особенно начиная с половины пятидесятих годов, но здесь влияло чтение домашнее, — книги, приносимые в гимназию бывшими нашими воспитанниками-студентами; вообще влиял новый дух времени, побуждавший книгой или журналом дополнить свое убогое развитие — и часто дополнить и направить, без всякого руководства, вкривь и вкось, — но гимназия, в смысле нашего обучения и образования, была здесь совсем не при чем.

Прежде, чем перейти к преподаванию русского языка и словесности, которое составляет важный предмет моих воспоминаний, брошу взгляд на постановку в гимназии учебных предметов вообще, кроме математики и физики. Я почти не буду называть учителей по именам, чтоб не тревожить памяти людей, может быть, вне своего учительства, и очень почтенных, да и не в именах дело, тем более, что все эти педагоги были продуктами своего крутого времени и тяжкого педагогического режима. Гимназия наша, как я сказал, была единственная *«классическая»*, — следовательно, древние языки играли в ней подобающую важную роль. И нужно отдать справедливость: они тогда, не смотря на большое число отведенных на них уроков, нисколько не тяготили нас, и между нами, в старших классах было не мало учеников, которые занимались латынью охотно и самостоятельно, и достигали в ней весьма порядочных успехов. Этим обязаны мы были особенно покойному университетскому лектору, Григорию Ивановичу Лапшину, сумевшему своим, до педантизма серьезным, отно-

шением к предмету, к преподаванию которого он относился, как к какому-то священнодействию, возбудить и в нас, юношах, любовь не только к языку в его сжатых, определенных и ярких формах, но и к самому содержанию писателей, особенно Вергилия и Овидия, и, вообще, к древнему миру. Недостаточно ученый для профессора, в гимназии он был на месте вполне. Своею справедливою педантической требовательностью по грамматике он заставил нас основательно работать, обращением внимания на выразительное чтение латинского периода и стихов, на их скандирование, давал чувствовать музыкальную красоту чуждого языка, который старался передавать возможно красивыми оборотами русскими (мы много учили у него стихов наизусть), сообщением же многочисленных примечаний литературных, биографических, исторических и археологических в разных сторонах быта незаметно вводил нас в подробности жизни древнего мира. И нужно заметить при этом, что грамматика в то время стояла на втором плане: ознакомив с нею в самых основных чертах в третьем классе, старались поскорее обратить учеников к чтению авторов, и затем прибегали к ней только постольку, поскольку это нужно было для их понимания. Но если преподавание латыни, благодаря Г. И—чу, которому старались подражать и другие латинисты, в значительной степени способствовало нашему литературному образованию и развитию, так сказать, филологического вкуса, а личность почтенного наставника, несмотря на некоторые его странности и педантизм, возбуждала к себе уважение, — то уже отнюдь не могу сказать этого о языке греческом, и слова Гейне: «Не говорите мне о греческом языке, а то я очень рассержусь» — приходят на память тотчас же, как вспомню о бесполезно убитых на этот предмет многочисленных часах, и убитых, благодаря только безобразнейшему преподаванию. Хотя знали мы по-гречески немножко и больше, чем тот же Гейне, утверждавший, что «греческие правильные глаголы отличаются от неправильных только тем, что за правильные меньше секут», но, сколько помню, греческий язык, можно сказать, отсутствовал в нашем гимназическом образовании совершенно. Вверенный до самого последнего класса преподавателю-немцу, не выучившемуся даже правильно говорить по-русски, крайне смешному своими манерами, с какими-то выкрикиваниями на высоких нотах бабьим голосом и пришепетыванием, ко всему этому еще страшно рассеянному оригиналу, бедный греческий язык, как и читаемые на нем писатели, к великому вреду нашего образования, остался нам чуждым почти совершенно, и, поступив в филологический факультет, мы должны были учиться по-гречески сызнова. Говорят, преподаватель этот известен был еще в молодости в Германии своими филологическими трудами, и впоследствии, кажется, не мало способствовал насаждению и утверждению в России новейшего Катковского классицизма; но, как мне теперь кажется, этот несомневаю-

щийся немец, чиновник от классицизма, в наше время для нас, юношей, представлял собой первообраз тех чехов, которых мы призвали впоследствии, в семидесятых годах, из-за границы—точно нарочно, для того, чтоб поселить отвращение, или, по крайней мере, полное равнодушие в русских детях к грекам и римлянам, и ко всему, что носит на себе следы великой культуры древнего мира.

Не менее печально были поставлены у нас и языки новые. Они были, прямо сказать, в каком-то загоне. Классы обоих новых языков шли своим порядком, но не делали мы почти ничего, выезжая на трудах тех редких счастливых, которые приносили практическое знание языков из дому. Преподаватели, может быть, и почтенные люди, по-русски говорить почти не умели и не желали, — значит, мы их не понимали. Какой-то, именно «дурацкий», господствовавший более или менее во всех тогдашних мужских учебных заведениях, квасной патриотизм видел в преподавателях-иностранцах только смешных «шмерцев» да тонконогих «легкомысленных французинов», и ни с кем из учителей не проделывалось столько школьных глупостей и надувательств, как именно с этими бедными иностранцами. Что же касается успехов в новых языках, то скажу одно, что по-французски я, окончив курс, мог только читать, почти ровно ничего не понимая, а немецкий язык, который в детстве знал почти как свой родной, наполовину забыл... Таким-то образом гимназия, готовившая будущих учителей, не дала нам не только знания греческого языка, но и языков новых.

Убита была совершенно в гимназии и история, особенно всеобщая, преподававшаяся по безобразнейшему, общепринятому тогда, учебнику, сначала высокопарного Смарагова, а потом Зуева, причем, за неимением библиотеки, мы решительно ничего не читали по истории. История русская, проходившаяся по краткому учебнику Устрялова, носила густую патриотическую окраску и выучивалась чуть не наизусть; и точно для того, чтобы нагляднее показать нам всю незначительность и придавленность такого предмета, как история, и преподаватель истории был у нас какой-то необыкновенно загнанный, — из семинаристов, страшно боявшийся и начальства, и даже нас, всегда ходивший на ципочках и тонким голоском задававший нам по книге отсюда до сюда, или очень редко, с акцентом на *о*, рассказывавший своими словами почти то же самое, что стояло в учебнике. Впрочем, это был добрый, простой человек, никого никогда не обижавший, ставивший всем хорошие баллы. Кажется, впоследствии он был где-то в провинции директором гимназии, и, говорят, хорошим, но что ему была история, и что он для истории?

Таково было на рубеже старого Николаевского времени и начала новых Александровых дней положение в нашей «филологической» гимназии учебных предметов, долженствовавших дать нам в совокупности «образо-

вание» общее, гуманитарное, просвещенные и вооруженные которым, мы должны были вступить в главный педагогический институт или университет. Я нарочно оставил под конец русский язык и словесность, и перейду теперь к ним.

Год пребывания в 3 классе, уже 3-й гимназии, по отношению к русскому языку представляется мне как-то смутно. Те-же диктовки, то-же ученье и писанье стихов наизусть, то же чтение и рассказ по той же книге для чтения Максимовича, — новое представляла только грамматика, которая уже не писалась на доске, как в 1-й гимназии, а была роздана каждому ученику, в виде тоненькой-тоненькой книжечки, ценой в 7 коп. — «Сокращенная грамматика Востокова», которая, разделенная учителем на маленькие порции (синтаксис помещался в ней на нескольких страницах), вся с начала до конца, со всеми примерами, была за год выучена нами слово в слово и послужила основой и единственным прочным материалом наших грамматических знаний. Кроме этой сокращенной, было еще дано на класс несколько экземпляров грамматики того же Востокова, но уже полной, ценой, кажется, в 17 коп. Она должна была служить для справок по правописанию, но так как я был грамотен, и даже в ятях ошибок не делал, то и не раскрывал ее вовсе. Хорошая была эта тоненькая русская грамматика, написанная хоть и немцем, но просвещенным серьезным филологом, сумевшим выбрать из наших грамматических дебрей только самое существенное и необходимое, и изложить все это строго-догматически, просто и точно настолько, что она, при внимательном чтении, была понятна 12—14 летним детям даже без всяких объяснений; да и самые то выражения на столько в ней сжаты и определены, что весьма хитро, да и незачем было ученику излагать ее своими словами, а достаточно только при ответах иллюстрировать ее своими примерами, по образцу приведенных в книжке, что и делалось нами без особенных затруднений, точно также как и этимологические разборы по формуле. Впоследствии, просматривая и проходя, уже учителем, с учениками курс грамматики по разным обязательным учебникам, которых развелось у нас видимо-невидимо, и где авторы их пускались в тонкости фонетики и словообразования, я часто вспоминал эту «тоненькую» грамматику Востокова, и удивлялся, почему это мы, старые гимназисты, кроме нее, никакой грамматики не изучавшие, и расставшиеся совсем с русской грамматикой в III классе, и грамотны были, и могли без труда заниматься грамматиками других языков; между тем как потом, да часто и теперь, эта грамматика проходится усиленно, иногда даже в старших классах, а ученики пишут с ошибками и путаются в терминах, на что жалуются учителя древних и новых языков.

Август 1853 года, когда я перешагнул из третьего класса в четвертый, отнесенный в гимназии уже к старшим классам, даже занимавшимся в особой большой камере, начинается для меня новый период, так сказать,

моего литературного гимназического образования. Этот период, продолжавшийся до университета пять лет (в 5 классе сидел я из-за недавней мне математики два года), тесно связан для меня с незабвенной личностью покойного Владимира Яковлевича Стоюнина, преподававшего во всех старших классах русский язык и словесность, и все время состоявшего секретарем педагогического совета, на который имел он большое влияние, и где веское и умное его слово было авторитетом. Из всего тогдашнего педагогического персонала, за все шестилетнее мое пребывание в 3-й гимназии, насколько представляется оно теперь в моем воображении, прямо должен сказать, что на мой личный взгляд, этот человек только и был у нас одним настоящим серьезным педагогом, любившим свое дело и сознательно стремившимся подействовать на нас, юношей, своим преподаванием и отношением к нам не только образовательно, но и воспитательно. Его светлая личность окончательно решила мое педагогическое и литературное призвание, и во всю мою педагогическую деятельность по настоящее время служит мне идеалом учителя и человека. В жестокий век сухого формализма казенной педагогики, когда учитель был почти всегда только чиновник, редко приобретающий уважение учеников и обыкновенно игравший роль точного исполнителя приказаний начальства, у которого старался заискать расположение, Стоюнин, несколько суховатый, пожалуй, гордый на вид, серьезный и сосредоточенный, сдержанный и ровный в обращении, резко отличался от всех учителей и гувернеров какою-то особой манерой держать себя так, что его невольно именно уважали, как мы, дети и юноши, так, сколько могли мы заметить, и все другие преподаватели и начальство, как наше гимназическое, так даже и высшее, наезжавшее в гимназию. Он отнюдь не был, так называемым, популярным, учителем, и вовсе не искал этой популярности: держал себя от нас в некотором отдалении, немножко, что называется, на высоте; но никого мы так не уважали, и даже не любили, хотя и не умели, да и не могли, при тогдашнем отдалении ученика от учителя, выразить ему этой любви видимым образом. Была в этом человеке большая нравственная сила, поддерживавшая в нем собственное достоинство человека и побуждавшая и нас, школьников, уважать его личность. Никогда не унижал он себя до несправедливости, до раздражения, окрика или грубости, редко даже возвышал голос; никого никогда не наказывал, ни на кого не жаловался и почти, особенно в старших классах, не ставил дурных баллов, не придавая и вообще баллам значения; но все мы вели себя у него в классе прилично, так что внутренняя дисциплина была у него образцовая, и все, до самых неспособных и апатичных, решительно все, занимались у него — кто как мог. Вторая особенность покойного, действовавшая на юношей, была действительная, настоящая и серьезная образованность, соединенная с культурностью, проявлявшеюся в его обращении, манерах и такте. Речь его.

не блиставшая красноречием, пафосом, эффектами, поражала нас своей свободой и простотой в выборе слов и выражений, определенностью, необыкновенной ясностью и содержательностью, а когда касался он своих любимых предметов, достигала влечения и сердечности. Видно было и нам, юношам, что у этого человека в душе, что называется, Бог был, и прочно заложены дорогие убеждения: так, как Владимир Яковлевич, у нас и с нами не говорил в гимназии никто, а горячие и серьезные речи его на выпускных актах, отличавшихся тогда большою торжественностью, были в наших глазах торжеством нашего наставника.

Но, конечно, главная «образовательная» сила его, как учителя, заключалась в самом преподавании. Но прежде, чем говорить о последнем, надобно принять во внимание, что в эти 1853 — 58 годы, учитель словесности был поставлен в тесные рамки схоластической программы, составленной по пресловутым обязательным книжкам Зеленецкого (рhetорика, пиитика и история литературы), которые мы должны были за три класса (пятый, шестой и седьмой) знать, лукаво не мудрствуя. Писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Жуковский были изданы Бог знает как, дорого и с урезками, да и книг было мало, и они были редки, при этом еще Гоголь был не в фаворе, а о Белинском в классе не упоминалось вовсе,—и известная хрестоматия А. Д. Галахова, составленная, кажется, по поручению Управления военно-учебных заведений для корпусов, была единственной нашей живой настольной книгой в классах словесности, а изданные отдельно к ней примечания (III часть) единственным источником, из которого почерпали мы, в смысле книги, здравые понятия по теории словесности. Никаких подробных разборов произведений в роде тех, какие находим в известных книгах Стоюнина и Водовозова, не было еще и в помине: все это, пособия, сборники авторов и отдельные издания их сочинений, явились потом; в то же время, о котором говорю я, положение преподавателя словесности, без пособий, библиотеки, при схоластической программе, тщательно очищенной от всяких «вольномыслий», входящих в юношеские головы через литературу, было крайне тяжелое. Но и в это дореформенное время между словесниками находились добрые и образованные люди, которые, пользуясь находящимся в их руках скудным материалом, ухитрялись развивать вкус молодежи, обращать ее интересы к писателю, к хорошей книге, даже давать кое-какие положительные эстетические и историко-литературные знания. В числе таких людей Стоюнин бесспорно занимал одно из самых видных мест во всей России.

Но постараюсь в общих чертах припомнить, как вел нас покойный. Уже в четвертом классе, куда переходили мы совсем грамотными и умея письменно пересказывать прочитанное, повеяло на нас совсем новым духом. Не могу припомнить, что за курс полагался в этом классе,—помню одно: роздали нам Славянскую грамматику Пенинского, довольно объемистую и

с хрестоматией, но много-много раз пятнадцать-двадцать в году мы по ней читали и переводили Евангелие, да, кажется, выучили спряжение глаголов. Но эти занятия были у нас каким-то придатком, чем-то таким, что нужно было проглотить, как пилюли, не спрашивая, зачем это нужно, и чему и сам преподаватель, повидимому, не придавал значения. Роздали еще и обе части хрестоматии Галахова, из которых на вторую (поэзию) и набросились мы с жадностью, зачитываясь разнообразными ее образцами и, не довольствуясь отрывками, стали стараться приобрести гденибудь на прочтение и целое сочинение. Такой интерес к этой книге возбудил в нас и Стоюнин, прочитавший из нее несколько образцов, рассказавший нам кое-что о жизни их авторов и по ней назначая образцы для устного изучения, причем при ответе заставлял объяснять отдельные слова и выражения и пересказывать выученное кратко и подробно. С этого-то четвертого класса и начали мы интересоваться чтением, которое продолжалось у нас до самого выхода, все усиливаясь и способствуя нашему развитию. Здесь не могу не вспомнить маленького эпизода, относившегося именно к четвертому классу. Из библиотеки, как я сказал, никаких книг не давали, приносить с собой книги из дому тоже не всегда было удобно, и вот придумали мы, чтобы те из нас, кто ходит в отпуск и может читать дома, прочитывали интересные книги, а затем, возвратившись в гимназию, рассказывали прочитанное товарищам, чтобы таким образом меняться содержанием прочитанного и знакомить с книгами тех бездомных, которым не к кому было ходить, и кто сидел в гимназии безвыходно. Так образовалось у нас в темном углу длинного корридора нечто в роде маленького кружка, клуба, где, в зимние вечера, после вечерних занятий, а то и в спальне по ночам, шли не только оживленные рассказы прочитанного, которыми рассказчики старались отличаться, но и долгие жаркие дебаты.

Кроме изучения стихов и прозаических отрывков, с четвертого же класса начались очень заинтересовавшие нас небольшие самостоятельные сочинения, которые, обыкновенно, тут же прочитывались и обсуждались сообща в классе, под руководством преподавателя, причем к обсуждению призывался весь класс; сам же преподаватель только направлял нас, указывал погрешности и помогал их исправлению. И что особенно нравилось нам, 14—15 летним мальчикам—это то, что учитель обращался с нами, как со взрослыми, никогда не смеясь над нашим невежеством. Так заинтересовались мы понемногу и книгой, стали присматриваться к самым способам выражения, начали инстинктивно чувствовать силу и красоту языка, а вместе с тем приучались разбирать самый строй сочинения, т. е. его тему, план, части. Гордясь тем, что мы «учились уже у Стоюнина, — и значит, не какие-нибудь школьники, а настоящие заправские гимназисты», — перешли мы в 5-й класс, где занятия приняли характер уже более систематический. Хрестоматия оставалась та же, но по ней уже задава-

лись для учения наизусть вещи более серьезные, очень нравившиеся нам музыкаю стиха, напр., *Умиравший Тасс*, *Тень друга*, *На развалинах замка в Швеции*—Батюшкова, *На смерть Гете*—Баратынского, особенно много произведений Пушкина, *На смерть князя Мещерского*—Державина. Реторику Зеленецкого хотя нам и роздали, но по ней проходило очень мало, все же необходимые понятия из теории словесности, логики и психологии просто и ясно рассказывал преподаватель, за которым записывали мы весь урок в виде сжатых конспектов; так же велось дело по словесности и в 6 классе, где на руках у нас была пиитика Зеленецкого. Просматривая впоследствии эти конспекты, послужившие материалом и мне для занятий с учениками на первых порах моей учительской деятельности, я увидел, что в этих конспектах в сжатом виде излагался тот материал, который вошел потом в книгу Стоюнина *«Руководство к теоретическому изучению литературы»*. Сочинения и их разбор в классе попрежнему занимали самое видное место, и вот некоторые из нас осмелились представить на суд учителя свои стихотворные опыты. Не смеясь над слабыми произведениями нашей школьной музы, явно подражавшими изучаемым образцам, он серьезно останавливался на их форме и содержании, показывал всю трудность этой формы и ничтожность, бедность или надуманность наших поэтических вымыслов с вымышленными же чувствами; везде прибегал он к сравнениям наших опытов с произведениями писателей великих, показывая нам этим истинное значение и требование поэзии. При этом мягко осуждая, в самом деле, плохие произведения оригинальные, он однако сочувственно относился к переводам одного из нас Гете, причем прочитанные в классе отрывки из Ифигении в Тавриде подали повод к живой беседе и о самой пьесе, и об ее авторе. Всем этим воспитывался в нас литературный интерес—единственный, кажется, умственный интерес в гимназии, а рассказ старших товарищей о происходивших тогда в 6 и 7 классах литературных беседах, где отличался своими сочинениями тот или другой ученик, возбуждали заманчивые мечты о том, как-то на будущий год будем принимать участие в беседах и мы. Но мечтам этим лично для меня осуществиться не пришлось: к великой моей горести, из-за математики и физики остался я в 5 классе, а когда на следующий, 1856 год, перешел в шестой, беседы эти, так много способствовавшие развитию и литературному образованию учеников, уже были прекращены. Еще до каникул 1856 года—значит, перед переходом в 6-й класс, вероятно, имея в виду беседы, В. Я. предложил желающим выбрать по одному из русских писателей, которого на каникулах и изучить, и затем результаты этого изучения представить осенью, в виде сочинения. Теперешний пятый класс новых моих товарищей был плохой, и охотников взять работу, кажется, почти не нашлось; но я взял, помнится, по совету Стоюнина Веневитинова, которого сочинения мне и были выданы из библиотеки,

Упоминаю об этом потому, что эта первая моя, так сказать, ответственная литературная работа доставила мне на каникулах истинное наслаждение, и я не без некоторой гордости представил разбор осенью своему любимому преподавателю. Разбор, конечно, оказался довольно слаб, но В. Я. предложил мне переработать его, под его руководством, воспользовавшись данными мне, как материал, несколькими критическими статьями. Но, так как беседы были прекращены, и после каникул не состоялось даже и одной, то Стоюнин предложил мне прочесть мою работу публично на акте, что я, перейдя в 7-й класс в июне 1857 г., и сделал, поощренный аплодисментами публики и товарищей *).

Последний год моего пребывания в гимназии (1857—1858) вспоминаю с удовольствием. Всеобщее пробуждение России к новой жизни пахнуло свежим воздухом и на нашу гимназию. Поступило несколько молодых преподавателей, заговоривших совсем новым языком, даже старые как-то подтянулись и стали менее педантичны и придирчивы. Порки не было уже и в помине, и даже в маленьких классах прекратились воспитательские, а то и преподавательские, щипки и колотушки, и всем ученикам, не взирая на возраст, стали говорить—«вы». Приходя после праздников в гимназию, ученики приносили из дому вороха новостей, слухов о реформах, предположений, мечтаний, вопросов—и все таких живых, интересных; стали появляться в гимназии книжки журналов—«Современник» и «Русский Вестник», и в старшей камере и по ночам в спальне пошли нескончаемые дебаты обо всем этом, а у учеников седьмого класса разговоры о будущей деятельности и, сообразно с ней, выборе факультета. Но, кажется, более всего способствовали в эту пору умственному нашему оживлению наши старшие товарищи, уже студенты, большею частью, бывшие наши певчие, свободно посещавшие во внеклассное время свою *alma mater*, нередко обедавшие и пившие чай, по старой памяти, вместе с нами и принимавшие участие в многочисленных спевках и церковных службах. Они помогали нам готовить уроки, носили книги и передавали университетские и городские новости... Не по дням, можно сказать, а по часам росла наша гимназическая молодежь, так недавно еще детски-наивная, и ничего, кроме гимназических стен и скучной учебы, не ведавшая, почти ничего, кроме некоторых русских писателей, не читавшая...—молодежь, которая два года назад, наскоро вымуштрованная на военный лад во время крымской войны, парадировала вместе с отрядами из других гимназий и университета на майском параде, и рвалась на войну сложить за отечество свои победные головы,—и многие, выйдя в юнкера, и сложили...

*) Это сочинение невыпускного ученика, кажется, было в 3-й гимназии единственным, прочитанным на акте.

Обращаясь к урокам словесности в этом последнем, седьмом классе, вспоминаю, что в руках у нас была невозможная *История русской литературы* Зеленецкого, но по ней отвечали мы только на выпускном экзамене; в классе же знакомились с выдающимися произведениями русской литературы, преимущественно XVIII века, в историческом освещении, продолжая в то же время учить наизусть некоторые образцы. Сжатые и дельные рассказы В. Я. были по-прежнему интересны и поддерживали и развивали в нас любовь к родной литературе; но замечательно вот что: потому-ли, что новейшие русские писатели, вообще, не смотря на наступление нового времени, еще не допускались в курс литературы, или по чему другому, но только, даже в классах В. Я. Стоюнина, мы почти ровно ничего не слышали ни о Лермонтове, ни о Гоголе, и весьма мало о Пушкине... Все это, более живое, более понятное молодежи, весь этот материал, который вошел потом в «Руководство к теоретическому и историческому изучению литературы» и в «Пособие при преподавании словесности» — все это было еще не для нас, и, как я слышал от позднейших учившихся у Стоюнина поколений, вошло в уроки его в гимназии нашей и женской Мариинской, уже после нашего окончания курса.

Написав на выпускном экзамене сочинение «О пользе чтения книг» и прочтя на торжественном акте 19 июня 1858 г., где гимназическим хором был даже пропет хор из Карла Смелого (так цензура окрестила известную оперу Россини «Вильгельм Телль») «Как ярко солнца луч играет», прощальную речь со стихами к товарищам, я окончил курс своего гимназического образования и без экзамена поступил на филологический факультет петербургского университета.

Обращаясь в воспоминании о давно отошедшем, так сказать, в глубь времен, к моему окончанию гимназического курса, брошу еще взгляд на свою гимназическую alma mater и на то, с каким капиталом знания выпускала она, в лице моем, в университет будущего учителя словесности. Оговариваюсь, что говорю только о тех шести годах (1852—1858), когда учился там я.

Удивительное, как подумаю теперь, было это учебное заведение. Единственное в столице, оно имело прямою целью готовить будущих учителей-педагогов и, сообразно этой цели, было единственное филологическое с двумя древними языками, которые должны были сообщить уму известную строгую дисциплину и, конечно, знание писателей и классического мира. Во главе заведения был поставлен, бесспорно добрейший и почтенный человек, известный педагог, Ф. И. Буссе. Большинство учеников, из которых многие сироты никогда не ходили в отпуск, были пансионеры, следовательно, всецело находились под влиянием гимназии. И между тем, что же мы видим? Было-ли это заведение скольконибудь «педагогическое», в смысле видимого влияния на общий строй со стороны

директора? Кого избирал он себе в ближайшие помощники в качестве инспекторов, гувернеров-воспитателей? Какие меры к нашему облагораживанию, развитию нравственному и умственному предпринимались со стороны их? Тяжело на это ответы, — тяжело даже теперь, почти через сорок лет. Директора мы видели только обходящим гимназию и распекающим провинившихся; не смотря на всю абсолютную его честность, нас обрезаляли в пище и одежде совершенно так же, как, большею частью, это делалось и в других учебных заведениях; один из инспекторов, как я упоминал, драг несчастных детей беспощаднейшим образом; другой, грубоватый и солдатообразный, отличался только строгостью и исполнительностью, не блеща образованием и не оставив, во мне по крайней мере, никакого воспоминания, как о человеке сколько нибудь сердечном. Воспитатели? — но лучше не говорить об этих несчастных неудачниках, загнанных нуждой на каторжную, оплачиваемую жалкими грошами, подневольную воспитательскую службу. Может быть, многие из них и хорошие были люди, — там у себя дома; но, Господи, какими убогими, невежественными оригиналами, над которыми мы жестоко, бессердечно потешались и которых уже нисколько не уважали, какими озлобленными мучителями были они, за редкими исключениями, которые, впрочем, продерживались в гимназии очень короткое время. И никакой-то, решительно никакой библиотеки, ни гимнастики, ни игр, — ничего, чтоб хоть чем нибудь наполнить, скрасить нашу казарменную жизнь... Что мы читали, и читали-ли что нибудь, на что, куда направлялось наше нравственное и умственное развитие — никому до этого не было никакого дела...

Но ведь заведение наше было не только общеобразовательное, — как имеющее целью подготовку педагогов, оно должно было быть образовательным по преимуществу. Могли тот скарб знаний, который нам давали, назваться образованием? Указав уже ранее на отдельные предметы (оставляю математику с физикой, так как или я был совсем к ним неспособен или не умели меня им выучить), должен я сказать: знания наши были самые жалкие, отрывочные, не освещенные никакой общей мыслью, целью; знания чисто формальные, так сказать, школьные, улетучивавшиеся безвозвратно тотчас после экзамена. В классах новых языков мы забывали и то, что знали дома; ни греческий язык, ни история, можно сказать, не существовали. — для меня, по крайней мере, — вовсе, и только одна латынь, связанная с личностью педантического, но почтенного, любившего свой предмет, Г. И. Лапшина, да словесность, преподаваемая такою образованною, светлою личностью, как В. Я. Стоюнин, дали мне некоторый запас знаний, и поселили во мне, юноше, уважение к личности преподавателя и платоническое благоговение перед неясным еще для меня, но влекущим к себе словом «образование». Не будь этих двух людей, которые, кажется, и побудили меня, тогда еще, в гимназии, решиться

избрать педагогическую деятельность,—я вышел бы в университет круглым невеждой. Да и в этих-то двух предметах, латыни и словесности, образование мое все-таки было довольно жалкое. Из латинских классиков я, кроме читанных в классе отрывков, сам, самостоятельно, по своей охоте, не прочел ровно ничего, а в области литературы, не только не читал почти вовсе ни Шекспира, ни Диккенса, ни Теккерея, но мало был знаком и с новыми русскими писателями. Но как же, спросит читатель, выпускались, с аттестатами такие невежды, как я? Да так же и выпускались, и не я один, а, полагаю, большинство; ведь в классе можно было отделываться вызубриванием клочка курса, или школьным обманом, практиковавшимся, без малейшего зазрения совести, из урока в урок, что знали и сами учителя, и время от времени жестоко каравшие неумелых простофиль попадавших в просак, а к экзамену курс, сокращаемый до минимума, вызубривался по билетам, которые бывали зачастую и подменные,—только не нужно было попадаться...

Но ведь все же в нашей гимназии, типически отражавшей в себе все тогдашнее русское среднее образование, было хоть чтонибудь такое, о чем в настоящее время всяких строго соображенных и исполняемых программ, нравственных дисциплин и т. п., можно искренно пожалеть? Да, было,—и вот что. Не смотря на весь строжайший казарменный режим, обусловленный немногими правилами, преследовавшими внешнее благочиние и порядок, личности ребенка, а тем более юноше, в старших классах (с IV) предоставлялась полная свобода заниматься и делать с собой, что угодно. Приготовление уроков, в значительной степени все-таки усваиваемых в классе, да и задававшихся по учебнику в малых дозах, у скольконибудь способного ученика времени брало немного, а у некоторых учителей репетиционные ответы были довольно редки, и к ним только и готовились, так что свободного времени было довольно. Правда, большинство наполняло свой досуг беспросыпным сном или битьем баклуш; но кто хотел читать и умел добывать книги, тот читал; в особом классе был рояль, и там играли и пели, а то составлялись по вечерам целые хоры в старшей камере, или разыгрывались на больших, сдвинутых в виде подмосток, плоских столах целые сцены из пьес, напр., «Недоросля» и др. Редко, помнится, и выгоняли тогда учеников, стараясь, как-никак дотянуть малого до окончания курса, особенно, если он обнаруживал наклонность хотя-бы к одному из преподаваемых предметов. Этому в глазах начальства и совета придавалось великое значение, и на ученика, отличавшегося по словесности, смотрел более снисходительно математик,—и наоборот. Таким образом, со средних классов, когда уже более определялись наклонности, призвание юноши, его старались ободрить и поддержать в этом направлении, и в результате выходило то, что в старших классах оказывались у нас свои математики (правда, кроме математики, не делавшие

ничего по другим предметам), словесники, латинисты, занимавшиеся вволю своим любимым предметом, и впоследствии выходявшие хорошими специалистами, которым гимназия не заградила пути в университет.

Нельзя не помянуть добром также и тогдашнего положения гимназического учителя, особенно старших классов. Он был поставлен самостоятельно и вообще в гимназии, и в совете, который тоже не был тогда стеснен всякими циркулярами и регламентациями так, как, напр., в семидесятых и восьмидесятых годах. Личность учителя, в общем, была в глазах учеников священна, и если проделывались с учителями всякие дурачества в младших классах, то в старших уже ничего подобного почти не случалось, и терпели даже самых плохих; но за то, если попадались личности, в роде Г. И. Лапшина или В. Я. Стоюнина, то они пользовались общим уважением и могли иметь на учеников большое влияние, — тем более, что умели и могли всегда отстоять юношу в совете, или перед начальством.

Таким-то образом, как ни многие, более слабые из нас, становились жертвами тогдашнего школьного режима и условий своеобразно понимаемого образования, но, на сколько помню, все, сколько нибудь поумнее и поспособнее, так или иначе, все-таки оканчивали курс, и выходили из гимназии хотя и довольно свободными от наук (если не имели к какой нибудь из них особой склонности), то и без отвращения к ним. Можно было бы не любить математики, или древних языков, можно было мало интересоваться литературой, но никто из нас не выносил из гимназии ни к одному предмету отношения враждебного, хотя бы даже лично он и не любил самого преподавателя. Юноша конца пятидесятих годов, до которого еще на гимназической скамье доносились слухи о вострепенувшейся жизни в университетах и о новых профессорах, хотя и очень плохо был подготовлен к восприятию университетской науки, но бодро и с розовыми надеждами глядел вперед, платонически веря в заманчивость и силу науки и жадно стремясь к образованию, недостаток которого в себе он смиренно сознавал.

...

Празднование 50-летнего юбилея Петербургской 3-й гимназии.

(Из «С.-Петербургских Ведомостей» 1873 г., 28 января).

«3-я С.-Петербургская гимназия вчера праздновала день пятидесятилетия своего существования. Вчерашнее празднество не было лишено своеобразности и потому мы считаем не бесполезным сообщить о нем не-

сколько подробностей... Самое торжество происходило в присутствии главного начальства ведомства народного просвещения, едва ли не всех представителей Петербургского педагогического мира и бывших воспитанников гимназии. Директор заведения, магистр греческой и римской словесности Лемониус говорил о классицизме и о целях, которые преследовались заведением; преподаватель латинского языка, г. Аничков, говорил о прошлом гимназии; воспитанник Георгиевский прочел длинную речь по-латыни; один из бывших воспитанников (ныне профессор) посвятил дню юбилея пространное исследование об одном классическом слове. Бывшие воспитанники почтили торжество по-своему, и с особенною признательностью отнеслись к памяти людей, которым они считают себя обязанными тем хорошим, что они вынесли из гимназии. Настоящим героем дня был всеми ими уважаемый и любимый В. Я. Стоюнин, к общему для них прискорбию оставивший заведение в 1871 году. Самые жаркие аплодисменты покрывали все те места отчета, где говорилось о г. Стоюнине; самый тесный и многочисленный кружок постоянно указывал то место, где г. Стоюнин находился; самые горячие тосты и выражения признательности обращались к нему же. Желая ознаменовать добрым делом день, когда бывшие воспитанники снова увидели в своей среде своего любимого преподавателя, они во время обеда составили подписку на образование Стоюнинского капитала, чтобы выдавать из него ежегодно денежное пособие одному из выходящих воспитанников; при этом решено: праздновать 26 января ежегодным обедом бывших воспитанников 3-й Петербургской гимназии и при этих случаях усиливать Стоюнинский капитал новыми сборами. За тем же обедом открыта и подписка на составление стипендии в честь юбилея».

По поводу описанного юбилея вдова В. Я. Стоюнина, Мария Николаевна (основательница известной частной гимназии в Петербурге), сообщила редакции настоящего сборника следующие подробности:

«В феврале 1873 г. В. Я. Стоюнин, живший в то время в Москве, получил приглашение на юбилей 3-й гимназии, праздновавшей свое 50-летие. Ничего не могло удержать В. Я. от поездки в Петербург на торжество родной гимназии и он поспешил туда вместе с женой.

Сильна была привязанность В. Я. к этому учебному заведению и не мудрено: там он учился и там он, по окончании университета, учил в течение 18 лет. Тут сложилась его личность, определилось призвание и тут он вложил всю душу в любимое дело.

Горячо встретили и приняли В. Я. в Петербурге его бывшие сослуживцы и ученики после 2-х летней разлуки. Неожиданно для себя В. Я. сделался центром всего торжества. Во время чтения отчета, составленного и прочитанного бывшим учеником и потом сослуживцем В. Я.—Н. М.

Аничковым, каждый раз, когда упоминалось имя Стоюнина, раздавался взрыв аплодисментов.

Тут же на празднике присутствовал бывший тогда министром народного просвещения граф Толстой, убежденный враг В. Я.—Взгляды того и другого на народное образование были диаметрально противоположны, и потому, естественно, что министр боялся «вредного», по его мнению, влияния В. Я. на направление педагогических воззрений, того обаяния, которым он пользовался в широких кругах общества и любви молодежи к Стоюнину. Преследование Толстого заставили В. Я. бросить дорогую ему гимназию и принять место инспектора Николаевского института в Москве.

И вот, на юбилее 3-й гимназии, оба врага встретились лицом к лицу, по странной случайности буквально, так как один сидел в первом ряду кресел, другой против него среди преподавателей.

Неприятные минуты пришлось тут пережить графу Толстому среди оваций в честь В. Я., особенно в тот момент, когда по окончании акта министр проходил между шпалерами учеников и публики, а следом за ним шел В. Я., сопровождаемый оглушительными аплодисментами и горячим выражением симпатии со стороны публики.

На товарищеском обеде после акта опять центром общего внимания оказался В. Я., большинство речей бывших сослуживцев и учеников относилось к нему и в заключение состоялась подписка на стипендию В. Я. в Мариинской гимназии, где В. Я. преподавал с самого основания ее, но, к сожалению, не долго: его удалили оттуда после первого выпускного акта, где В. Я. произнес речь, возмущившую принца Г. П. Ольденбургского.

Умиленный и растроганный вернулся домой В. Я. после пережитых впечатлений этого памятного для нас дня, и я, как сейчас слышу, его слова: «Сегодня я получил истинную награду для педагога, которую никто не может отнять у меня. Такие дни вознаграждают за все обиды и страдания, перенесенные от врагов и дают силу жить и работать дальше над любимым делом».

...

Воспоминания о Третьей С.-Петербургской Гимназии восьмидесятых годов.

Профессора Н. Я. Чистовича.

В гимназию я поступил в 1870 г. в первый класс, десяти лет. После поверочного экзамена по русски и по арифметике меня привели в класс пансионеров. Принят я был полупансионером за неимением свободных вакансий в классе приходящих. В сущности и в классе пансионеров, живу-

ших в гимназии было всего человек двенадцать, остальные же были приходящие. Но существование даже небольшого ядра сплоченных общими интересами пансионеров отражалось на характере всего класса. Пансионерский класс считался более отчаянным в отношении шалостей, более сплоченным товариществом и смотрел несколько свысока на класс приходящих. И действительно, все промежутки между уроками проходили в шалостях и драках. Мы делились на партии, напр., классиков и реалистов, не понимая хорошенько смысла этих слов, и дрались между собой очень усердно. Я как слабый, да и все же сдерживаемый воспитанием, по возможности держался в стороне от драк и потому мало сходил с товарищами. Уже с первых дней поразила меня вся обстановка гимназии. В ней нас учили, но не воспитывали. Воспитателями или гувернерами были все немцы: Бель, Кеммерлинг, Миллер, Кейзер. Директором был В. Х. Лемониус, который, как чистый немец, хоть и Петербургский уроженец, очевидно, предпочитал в качестве воспитателей немцев. Сам он был добрый и образованный человек, но от детей он был очень далек и не интересовался младшим отделением, которое его и не знало и видело в нем лишь страшилище, хотя и не делавшее никому зла. Вся жизнь гимназии была в руках инспектора, в то время Капитона Ивановича Смирнова, но он ограничивался лишь преподаванием в первом классе латинского языка (хотя по специальности был географ и написал учебник, по которому и мы учились). Капитон Иванович для нас малышей был пугалом (он в то же время был нашим классным наставником). Каждую субботу Капитон Иванович раздавал нам недельные ведомости с отметками, для предъявления родителям, и при этом, если у ученика оказывались единицы или нули, или сам ученик был записан в журнал за шалости, то производилась расправа. Заклучалась она, смотря по тяжести проступка, в оставлении на час и более в классе, а если вина была более тяжкая, то в заключении в карцер. Карцеры были у нас двоякие: 4 темных в верхнем этаже и 4 светлых в нижнем. Карцеры были маленькие. Темные карцеры были устроены в проходной комнате между корридорм, в который выходили классы, и клозетом. У этой комнаты часть была отделена деревянной стеной, и отгороженная часть была разделена поперечными перегородками на 4 стойла или конуры, в которых были лишь маленькие скамейки, на которых можно было только сидеть, но нельзя было лежать. Стена, отделявшая карцер от проходной комнаты, имела 4 запирающихся двери и не доходила до потолка, а на высоте выше человеческого роста переходила в деревянную решетку, через которую только и мог проходить слабый свет в карцер, а так как сама передняя комната была без окон, погруженная в постоянный полумрак, то и в карцере было совсем темно. Сидеть в этих темных карцерах считалось самым серьезным наказанием. В нижнем этаже было тоже 4 карцера, но те были светлые, и заключенные могли в них читать.

Я остановился на карцерах, так как это было первое, что поразило мою детскую душу, когда в первый же день Капитон Иванович вызвал самого маленького из учеников Бриггера и объявил ему, что он должен идти в карцер и просидеть в нем целый день. В чем была вина бедного Бриггера, я так и не узнал. И вот мы были предоставлены воспитателям, которые очень своеобразно понимали свои задачи. Как сейчас помню высокую худую фигуру Эдуарда Андреевича Беля. Он во время перемен ходил по корридору и если в классе шум становился слишком громким, появлялся в дверях и кричал: «Еще слово!» А если заставал драку или другое подобное же преступление, то ставил виновных к стенке до конца перемены. Насколько он подходил к своей воспитательской роли, могу привести такой пример. Будучи в хорошем настроении, он предложил воспитаннику написать свою фамилию и, когда ученик написал «Бель», он сказал: «Ну, теперь припиши спереди Ко». Так за ним и пошло прозвище Кобель. Другой воспитатель Кеммерлинг был не лучше и не хуже Беля. Его у нас звали Сычем. Это был сухой, суровый человек, никогда не улыбавшийся, никогда не интересовавшийся учениками и тоже смотревший на свою обязанность, как на охранителя внешней тишины. Да и все остальные были такие же. Это были Фрейтаг, по прозвищу «Чижик», Миллер — «Копейка», Кейзер — «Рябчик». Те из них, которые были посвирепее, как Бель, Кеммерлинг, внушали нам только страх; кто же был побезобиднее, как Фрейтаг, становились прямо мучениками. Особенно жалок был Фрейтаг. Математик по образованию, он был неудачник и дальше роли гувернера не пошел. Он совершенно не умел дисциплинировать шалунов и сделался их жертвой. За ним ходили воспитанники толпою и пели ему: «Чижик, чижик, где ты был». Он сердился, грозил пожаловаться инспектору, но был в сущности слишком добрый и едва ли доводил когда-нибудь свои угрозы до исполнения. У сплоченной группы пансионеров было какое-то удайство в том, чтобы изводить тех из воспитателей, которые не умели внушить к себе страха, да и все гимназисты младшего отделения видели в гувернерах как бы своих естественных врагов, мешающих им веселиться и шалить. И только на старшем отделении у нас были воспитатели, с которыми установились не только добрые отношения, но и настоящие симпатии.

Теперь скажу о преподавателях. О Капитоне Ивановиче Смирнове я уже упоминал. Это был небольшого роста человек, уже около 50 лет, но вполне бодрый и очень подвижной. Латинского языка в первом классе было 8 часов в неделю, так что два раза бывало по 2 часа. Учились мы по учебнику Кюнера и должны были за первый год вызубрить всю первую часть (этимологию). Отзубривали мы свои уроки, а Капитон Иванович спрашивал их, в том и было все преподавание. Он был требователен и справедлив, одинаков со всеми и потому пользовался уважением. Мне думается, детская душа всего больше жаждет справедливости, да и не только дет-

ская. У нас в старших классах был грозный учитель латинского языка Эрнест Эрнестович Кесслер, известный знаток филологии и автор прекрасной латинской грамматики (синтаксис). Он был неумолимо требователен и строг, но в то же время безусловно справедлив, и все его искренне уважали и даже любили. В младших классах превосходным преподавателем был учитель математики Николай Гаврилович Потапов. Это был умный человек, умевший приноровиться к детскому пониманию и необыкновенно просто и ясно излагавший свой предмет. Он пользовался большим уважением, пока был преподавателем, но вскоре К. И. Смирнов оставил гимназию, получив пост директора одной из гимназий, и инспектором был назначен Потапов. С этого времени его популярность стала меркнуть и совсем померкла, когда он перешел в Университет на чисто полицейскую должность инспектора студентов. К числу любимых учителей надо отнести преподавателя русского языка Павла Садоковича Юрева. Он был уже старик лет 60-ти, но еще очень бодрый. К ученикам он относился строго, но все чувствовали в нем добрую душу и любили его, хотя и боялись. У него на уроках никто не посмел бы шалить, хотя он никогда никого не наказывал. Держал себя с учениками он просто; когда кто-нибудь скажет, бывало, что нибудь несообразное, называл нас «Езопками» и часто давал нам свои прозвища. Преподавал он только младшему отделению, старшим же классам преподавал русскую литературу Александр Дмитриевич Мохначев, очень даровитый преподаватель, уроки которого доставляли нам истинное наслаждение. Немецкому языку обучал нас Василий Васильевич Крейцер. Это был еще молодой человек лет 25-ти, высокого роста, худой, чахоточный, с живым взглядом и длинными выющимися волосами, очень красивый. Его уроки шли очень живо. Обыкновенно он спрашивал заданный урок всех учеников в один час. Иногда он заставлял нас хором отвечать всех зараз выученные стихи. Слабо было поставлено преподавание французского языка. Обучал нас ему Александр Иванович Поповицкий, лет 55—60; он был из семинаристов и, говорят, хорошо образован по богословию, но во французские учителя, очевидно, попал по недоразумению, лишь потому, что пожил во Франции и владел этим языком. Преподавать он не умел и не умел себя поставить, так что уроки его проходили в шалостях, и бедный старик никак не мог дисциплинировать своих маленьких слушателей.

В младших классах греческому языку обучал нас Крутков, прозванный «Нютавом», т. к. он произносил так название греческих букв ν и τ. Это был в сущности очень добрый человек и хороший историк, но, волею судеб, попавший в учителя самого мучительного для нас предмета, да еще навязываемого нам ежедневно, и потому становился нашим естественным врагом. А так как мальчики беспощадны, то и изводили бедного Нютава жестоко. Подметили, что он не выносит, если бросить на пол сломанное стальное перо, и вот во время урока кто-нибудь бросал перышко. Крутков

бросался в ту сторону, говоря: «Кто бросил?» Тогда в противоположном конце класса снова раздавался звон брошенного перышка, и наш бедняга устремлялся туда ловить нового преступника, которого, конечно, уловить ему не удавалось. Но все это были лишь шалости, отношение же воспитанников к Круткову в общем вполне дружелюбное.

В воспоминаниях моих первые годы гимназии оставили тяжелое впечатление. Это был период утрированного классицизма, видевшего задачей преподавания не усвоение мирозерцания классических авторов, а исключительно изучение самых языков, тонкостей их грамматики. Мы имели каждый день уроки латыни все 8 лет, а с третьего класса ежедневно и греческий язык. Мы усвоили грамматику этих языков так, что могли хорошо переводить не только с латинского и греческого на русский, но и обратно. Ценой невероятных усилий мы овладевали этими мертвыми языками, свободно читали классических авторов, но, к сожалению, нас очень мало знакомили с духом читаемых произведений, обращая внимание исключительно на форму. Лишь в старших классах, благодаря, может быть, всего более Кесслеру, некоторые из нас полюбили древних классиков и познакомились с античным миром и то, главным образом, из уроков Я. Г. Гуревича.

Итак первые годы гимназии были почти сплошную зубрежку: зубрили латинские слова и грамматику, зубрили по-гречески, по-немецки, по-французски. Зубрили и географию. И так шли первые пять лет: утром отсиживали 5 часов на уроках, вечером должны были готовить уроки по 5 предметам, и так изо дня в день. Эта монотонность детской жизни и непрерывный труд были так нелепы и противоестественны, что, я помню, мой брат Алексей говорил, что завидует собакам, что они свободно бегают, а он вынужден сидеть весь день. Требования были так велики, что большая часть воспитанников не доходила до конца курса. Из моего первого класса до конца курса, не оставаясь на второй год, дошло только двое: Василий Бураго и я, да и Бураго это пошло не в прок: он не мог пойти в университет, должен был поступить на службу в Фармацевтическое Общество торговли аптекарскими товарами и скоро умер от чахотки. Это непрерывное сиденье над ничего не говорящими сердцу древними языками и вся бездушная система Толстовской школы вела к тому, что у воспитанников гимназии назревало отрицательное отношение к ней, у некоторых доходившее почти до ненависти. Я знаю воспитанников, вспоминающих гимназию с отвращением, и, действительно, программа гимназий того времени не могла вызвать других чувств: первые пять классов гимназии были сплошным страданием. Мне лично ученье давалось сравнительно хорошо, я все время до 8-го класса шел первым учеником и окончил курс вторым (первым кончил Адам Липский) с серебряной медалью, но все эти первые годы непрерывного труда пронесли, не оставляя никаких отрадных воспоми-

наний. Оживать мы стали лишь с 6-го класса, когда между преподавателями стали попадаться истинные педагоги. О них считаю своим долгом сказать несколько слов. Я уже упомянул об учителе русской литературы А. Д. Мохначеве. Программа того времени была такова, что главное внимание уделялось лишь старой русской литературе и до современных писателей, как Некрасов, Достоевский, Тургенев, Гончаров и не доходили. Надо было иметь большой талант, чтобы при таких условиях сделать свои уроки интересными. И Мохначев достиг этого. Он превосходно читал, уроки его были настоящими лекциями, читал он с любовью и так выразительно, что уроки его были для меня наслаждением. Был у нас также выдающийся учитель истории Яков Григорьевич Гуревич. Он старался заинтересовать учеников и привлечь их к изучению истории. Но ближе всех по духу был нам скромный учитель математики и физики Петр Петрович Семенников. Это был человек лет под пятьдесят, тихий, скромный, очень бедный и в высшей степени добросовестно относившийся к своим урокам. Он был сама аккуратность; худенький, чисто выбритый, с аккуратно причесанными волосами и чистеньким вицмундирчиком, он на первый взгляд не производил впечатления и среди педагогов не пользовался уважением начальства: директор В. Х. Лемониус и близкие ему немцы немного свысока смотрели на Петра Петровича, и мы его оценили не сразу. Сначала он казался сухим педантом. Аккуратность, с какой он, войдя в класс, делал проверку учеников, неуклонная педантическая система ведения дела сначала немного шокировали, но постепенно мы научились его ценить и понимать. Объяснял он всегда просто и ясно. Справедлив был безусловно и совершенно не допускал за собой никаких ухаживаний. Один ученик вздумал поднести ему книгу по математике, произведение своего родственника. Семенников принял книгу, но на следующий же день отдал ее тоже научной книгой, так что гимназист был сконфужен, введя его в расход. Завоевал наши сердца Петр Петрович тем, что относился к нам, как к равным. Окончив урок, он любил порассказать о новых открытиях. От него мы впервые узнали о существовании бактерий. Он не жалел времени и устроил практические занятия по физике, для чего нарочно приезжал вечером в гимназию. Все его существо было проникнуто доброжелательством к нам, но всего больше мы узнали его лишь в последнее время, когда возникла история, угрожавшая одному из учеников, и он горой заступился за него. И по окончании нами курса Петр Петрович встречался с нами с искренней радостью и доброжелательством.

С теплым чувством вспоминаю я также учителя русской словесности Николая Александровича Вестенрика, преподававшего нам с 5 класса, но рано умершего и замененного А. Д. Мохначевым. Николай Александрович был умный преподаватель и человек бесконечной доброты. Он никогда не нуждался в каких бы то ни было репрессивных мерах для поддержания

порядка в классе: мы все любили его и даже мысли не могло явиться сделать что-нибудь ему неприятное. Ученики большею частью давали учителям прозвища, отличавшие какой-нибудь недостаток учителя, но у любимых учителей таких прозвищ не было: инстинктивное уважение к ним не позволяло давать им обидных кличек. Не было прозвища и у Н. А. Вестенрика.

Был у нас в старших классах преподаватель французского языка Georges Wild. Это был маленький живой старичек, полный самых высоких идеалов, но, конечно, совершенно не гармонизировавшийся с общим тоном классической гимназии, организованной немецкими классиками с Лемониусом во главе. В Педагогическом Совете Wild не имел никакого авторитета и ученики его порядочно изводили и много портили крови бедному старику. Наш класс как-то лучше к нему отнесся, сумел почувствовать в нем родную нам душу и, кончая курс, мы решили отличить двух наиболее симпатичных нам учителей П. П. Семенникова и Вильда. Мы в складчину купили им подарки: Семенникову подстаканник с вырезанными нашими фамилиями, а Вильду — альбом с нашими портретами, пригласили их на квартиру нашего товарища Василия Григорьевича Дружинина и поднесли им подарки с соответствующими речами. Юбиляры были растроганы до слез, и у нас осталось светлое, радостное воспоминание об этих минутах.

Теперь несколько слов о доминировавшей группе преподавателей. Во главе гимназии стоял Василий Христианович Лемониус. Он родился в России, кончил курс в нашей гимназии, был в ней преподавателем греческой поэзии и директором и все же остался немцем, плохо владевшим русским языком и совершенно чуждым нам по духу. Он был классически образованным человеком, едва ли понимавшим и интересовавшимся чем-нибудь вне своего классически монотонного существования. Как сейчас вижу эту высокую, сухую фигуру в синем вицмундире с седыми клочковатыми волосами и седыми баками, но с бритыми губами и подбородком и слегка косившими, как будто не слушавшимися глазами. Он читал нам исключительно Гомера. Уроки заключались в том, что мы ему переводили отрывок из Одиссеи или Иллиады, а он нам объяснял особенности ионического диалекта, на котором написаны эти произведения, и объяснял значение прочитанного по примечаниям к читаемому тексту. А так как у некоторых из нас было то же самое издание, то мы отлично видели, что все свои сообщаемые знания он почерпал из этих примечаний. Человек он был добрый, никому зла не делал, но и пользы мы от него не чувствовали. Ближайший к нему учитель был преподаватель немецкого языка в старших классах — Буш. Ему в то время было под восемьдесят лет. Он был совершенно седой, с остриженной «бобриком» головой и подстриженной седой же бородой. Держался он совершенно прямо и ходил с необычайно важным видом, не обращая на нас никакого внимания, и внушал

нам страх. Была у него странность. Он требовал, чтобы каждый воспитанник всегда имел при себе лексикон и, если такового не оказывалось, ставил ученику нуль. В старших классах этот, как бы оживший, манекен являл, по моему, крайне разумную систему: он переводил с нами лучшие произведения немецких классиков. Так, мы прочитали у него из Шиллера *Лагерь Валленштейна*, *Мессинскую невесту*, *Орлеанскую деву*, первую часть *Фауста* Гете, *Гердеровского Сиды*, *Рейнеке Фукса* Гете, сагу Тегнера *Фриттьоф и Ингеборг*. Под конец он дошел до такой дряхлости, что попадал не в свой класс, переводил с воспитанниками одну и ту же страницу несколько уроков подряд. Из близких к начальству лиц нужно упомянуть еще Германа Васильевича Бюрига, учителя греческого языка, не пользовавшегося у нас любовью и относившегося к нам с высокомерным презрением культурного тевтона к дикарям. Когда ему задавали вопрос, он говорил: «Что за необразованные вопросы, точно из деревни».

В настоящем маленьком очерке я упомянул лишь тех преподавателей, с которыми судьба связала нас на более или менее продолжительный срок.

Быстро пронеслись 8 лет в непрерывном труде и незаметно изменилось и наше отношение к гимназии. В младших классах она казалась нам тюрьмой, а к выпуску мы постепенно привязались к ней, она стала нашей *alma mater*.

Теперь, оглядываясь на пережитое, я должен отметить по справедливости, что гимназия приучила нас к труду и несомненно внушила стремление к знанию и высшим человеческим идеалам. Вспоминая своих товарищей по выпуску, я не вижу между ними «дельцов» в житейском смысле, напротив, почти все стремились в университет и многие посвятили себя науке. Мне думается, что школа, внушившая такое направление своим питомцам, исполнила свою задачу.

Гимназические годы И. А. Шляпкина.

Из воспоминаний В. Г. Дружинина.

Всем нам дорогая Третья Гимназия празднует редкое в истории средних учебных заведений торжество—столетие своего существования. Такие торжества невольно заставляют вспомнить о прошлом родного училища и о выдающихся его воспитанниках, которых оно вскормило и вывело на дорогу плодотворного служения на пользу родной науки и просвещения. Один из таких воспитанников нашей Гимназии был несомненно профессор

И. А. Шляпкин, сам воспитавший целые поколения в средних и высших учебных заведениях и стяжавший себе почетное имя своими учеными трудами. О нем я имею в виду повести речь, за время пребывания его в Гимназии.

Илья Александрович Шляпкин родился 9 мая 1858 г. в селе Александровке близ Белоострова. Отца своего он не помнил. О жизни в детстве он никогда не распространялся, а начинал свои воспоминания с Гимназии.

Когда И. А. минуло шесть лет, за год до смерти отца, его взял к себе для воспитания А. А. Ревви, женатый на его родной тетке. Супруги были бездетны и ребенок заменил им сына; а они сами отнеслись к нему действительно, как к родному сыну.

А. А. Ревви отдал И. А. в пансион Юргенс для приготовления в гимназию; из него в 1868 г. он поступил в I класс 6-й Гимназии приходящим. Это стоило дяде больших хлопот, т. к. пришлось выписать мальчика из податного сословия и записать купеческим племянником, обстоятельство, о котором с большим юмором впоследствии повествовал сам купеческий племянник. Через год он перевелся в 3-ю Гимназию, во второй класс казеннокоштным пансионером. Это создавало в жизни мальчика новую обстановку. К дяде он попадал лишь перед праздниками, а на праздники иногда ездил к матери в Александровку. Надо заметить, что И. А. в старших классах Гимназии скоро перерос умственно своего дядю и семью его с их будничными интересами и заботами. При всей сердечности семейной обстановки у дяди, она мало удовлетворяла умственные интересы И. А. Сам И. А. всегда считал себя во всем обязанным дяде и тетке, что, конечно, справедливо относительно детского возраста; и сам он отблагодарил их за это: похоронив дядю, он поселил у себя в Александровке тетку и в своем доме закрыл ей глаза по кончине ее.

В пансионе Юргенс встретился он с К. А. Ивановым, будущим известным педагогом, автором учебников по истории и исторических монографий для юношества, с которым перешел в 3-ю Гимназию; оба попали в один класс, хотя К. А. Иванов остался приходящим; они вместе прошли весь курс Гимназии и Университета и оставались во всю жизнь близкими друзьями. Их одноклассниками оказались: А. И. Барбашев, впоследствии автор монографии о Витовте, магистр русской истории, к сожалению, рано сошедший с житейского поприща вследствие постигшего его психического расстройства; Н. М. Бубнов, будущий профессор Киевского университета по кафедре Всеобщей Истории. Они составляли ядро класса, и около них группировались наиболее способные ученики. Все они хорошо учились, много читали, увлекались спорами между собой о прочитанном, одним словом, в старших классах жили умственными интересами среди других пансионеров, которые в большинстве случаев представляли из себя

юношей, выброшенных из семей в пансион вследствие тяжелой нужды, переживаемой их родителями.

Этот кружок в средних и старших классах испытывал свои литературные силы. Писали прозой, писали стихами. Рифма рано далась К. А. Иванову и он слыл поэтом класса. Занимались они также писанием поэм на любимых педагогов. Соль этих произведений заключалась, кроме шуточного изображения действующих лиц, в том, что педагоги в разговорах говорили своими излюбленными выражениями. Иванову удавались этого рода произведения. Его «Война гимназистов с чертями за освобождение Кесслера из ада», поэма в триста с лишним стихов была весьма популярна, особенно после следующего происшествия. Автор переписывал свою поэму по просьбе кого-то во время латинского урока Кесслера, и увлекшись своим делом не заметил, как подошел к нему Кесслер, который усмотрел, что Иванов что то усердно пишет. Увидя стихи, Кесслер спросил о их содержании с замечанием, что они не относятся к предмету занятий, и потребовал выдачи написанного. Пришлось признаться в совершенном «преступлении» и выдать поэму, которая была потом прочитана всеми педагогами и, по имевшимся сведениям, доставила им большое развлечение, и возвращена была автору без всякой за то кары. Да не за что было и карать. Тон поэмы был шутливый, но отношение к Кесслеру самое сердечное. Шляпкин тоже пробовал сочинять стихи, написал гексаметром, пародируя Илиаду, повествование о распре, бывшей между преподавателями Вестенриком и Мохначевым, но не особенно удачное. Одно его стихотворение было даже где то напечатано... Он написал еще несколько стихотворений в своем дневнике... Но скоро он понял, что все это слабо, его это не удовлетворяло и он прекратил навсегда упражнения в стихосложении.

Здесь надо отметить черту характера И. А., которую он сохранил в течение всей своей жизни. Принадлежа к лучшим представителям класса, он не чуждался и остальной умственно более слабой братии, находившей в средних и старших классах свои интересы в игре в карты, попойках, и не потому, что он сам прилежал к этого рода развлечениям, а потому, что искал и находил в другом человеке только хорошее, оправдывая отрицательные черты характера обстоятельствами жизни. Отсюда проистекало то теплое отношение к людям, которое всегда отличало И. А. Такие жалкие типы были в Гимназии (они уже умерли, почему можно назвать некоторых из них, а именно: Кузька Смирнов, с белокурой, курчавой как у барана головой, сильно отстававший в классах и не кончивший курса Гимназии, Воеводин, Веденяпин, и др.). Они влекли жалкое существование; но во всю их последующую за Гимназией жизнь, они нередко обращались к И. А. за помощью, и он, по мере своих скудных средств, всегда поддерживал их и никогда не отказывал в помощи и поддержке.

В период средних классов Гимназии И. А. познакомился с профессором, а потом ректором Римско-Католической Духовной Академии в Петербурге, прелатом Норбертом Рокицким († в 1878 г.). Они встретились летом в Белоострове, где патер жил на даче. Собирая гербарий—любимое занятие летом—патер подошел к Александровке и где то на лугу увидал И. А.; завязался разговор; патер зазвал юношу к себе и пригласил его. Опытный «ловец человеков» облюбовал нового знакомого. По возвращении в город И. А. стал посещать патера по праздникам и воскресеньям. Они вели длительные беседы, в коих часто касались таинственных явлений человеческой жизни, объяснить себе которые не по силам было юноше, и в лице патера он нашел себе опытного истолкователя. Этими беседами, а также знакомством с писателем Н. С. Лесковым, внушено было И. А. увлечение мистицизмом и вообще всем таинственным, а также строгим католическим церковным ритуалом, которое он сохранил на всю жизнь. В свободные вечерние часы, патер, взяв свечу или лампу, водил И. А. по обширной академической библиотеке, полки коей были уставлены фолиантами в белых пергаментных переплетах; хозяин брал с полок фолианты и передавал их юному гостю, который, не помня себя от выпавшего на долю его счастья прикасаться к таким редким книгам, с увлечением перелистывал их. Они брали томы с собой, на квартиру патера и там патер знакомил с их содержанием.

Полумрак обширного книгохранилища, его обстановка—ряды простых, но нарядных шкафов, плотно уставленных книгами, глубоко врезались в память юноши, и он всегда вспоминал эти посещения с священным трепетом...

У патера в квартире жил одинокий человек, некий Скиндер, гравер и эмальер, от которого И. А. получил прекрасные сведения по технике обеих специальностей. Сам патер любил предметы искусства и обладал несколькими полотнами хороших мастеров. Все эти впечатления, при любовной опеке патера, запали в душу И. А. По смерти его, при распродаже его вещей, И. А. удалось купить кое-какие из них, и он берег их как реликвии; между ними была сутана патера с черной митрой, которые Ш. долго носил дома, уже будучи студентом.

Дядя Шляпкина — А. А. Ревви, кроме службы в Государственном Банке, еще прирабатывал: управлял делами княгини Голицыной, очень богатой аристократки. В торжественные праздники он водил к ней на поклон племянника; чопорная, но добрая старушка принимала их радушно в своей роскошной гостиной, обставленной первоклассными предметами искусства — бронзой, картинами, мебелью. Посетителям предлагалось угощение и, сверх того, гимназисту подарок. Когда Ш. возмужал, дядя получил разрешение показать ему всю обстановку квартиры, и после этого, уже сам Ш., при каждом посещении изучал предметы искусства и картины.

Глаз намечивался, а страстная любовь к предметам искусства и старины развивалась с каждым посещением. Обозначились и любимые предметы этой обстановки; особенно полюбил он резной ореховый шкафчик итальянской работы XVI в. Узнав об этом, княгиня завещала ему этот шкафчик, после того, как Ш. провел, по ее поручению, дело об утверждении ее духовного завещания.

Из книгохранилищ, к которым Ш. имел доступ во время пребывания в Гимназии, надо упомянуть еще библиотеку Второго Отделения, получившую впоследствии наименование Библиотеки Сравнительного Законоведения, через друга своего К. А. Иванова, отец которого служил в этой библиотеке. Здесь, по собственному признанию, друзья впервые увидели и осязали Эльзевиров и Альдов, а когда стали студентами, то познакомились и с Дюканжем и Монфоконом ранее, чем их сокурсники.

Гимназия, в которую поступил Ш., считалась тогда в Петербурге образцовой. Во главе стоял В. Х. Лемониус, хорошо памятный всем бывшим в Гимназии за время его долговременного директорства. Он обладал большими странностями, но это был человек чрезвычайной доброты; он прекрасно относился к воспитанникам. Его за это ценили гимназисты, что бывает редко; обыкновенно, оценка педагогов производится гораздо позднее, в зрелом возрасте. Но к Лемониусу (в просторечии его именовали Лемондером) все относились с почтением. Впоследствии мы узнали, что он пользовался большим уважением педагогов за то, что, не щадя себя, при всяких нападках на них со стороны Округа и даже Министерства, всячески их защищал и отстаивал, до тех пор, пока проступок, ставившийся в вину, не был ему доказан с очевидностью. Был даже случай, когда он подал в отставку, заступаясь за педагога своей Гимназии, и таким способом спас его. Надо заметить, что почитали его и пансионеры, которые, как живущие в Гимназии, всегда строже судили свое начальство. Кроме пребывания в Гимназии во время занятий и уроков в старших классах, Лемониус посещал часто вечерние занятия пансионеров, при чем одет был уже не в вицмундире, а в простой домашней куртке. Он обходил столы, за которыми занимались воспитанники, присматривался к работам их, вступал с ними в беседы, был всегда ласков. Для иллюстрации этих посещений и отношения к воспитанникам позволю себе привести следующий случай. Однажды, при таком обходе, Лемониус подошел к одному воспитаннику, облокотился на стол, обняв одной рукой питомца. При тусклом свете тогдашних керосиновых ламп легко было не рассмотреть его фигуры. Не осведомленный о присутствии директора, воспитанник Нолле тихо подкрался к столу, и, заподозрив в наклонившемся Лемониусе кого то из одноклассников, с размаху, с шумом ударяет по спине его тонкой грушевой чертежной линейкой. Каково же было удивление Нолле, когда перед ним выпрямилась фигура директора, вместо товарища. Нолле

совершенно смутился и просил извинения, объясняя, что совершил удар, приняв Лемониуса за кого то из товарищей, говоря: «Виноват, Василий Христианович, я думал, что это товарищ!» Все ожидали грома и молний и строгого наказания виновного. Лемониус только улыбнулся и проговорил добродушно: «Ну, Нолле, емена (его обычная присказка) и товарища так нельзя». Этим эпизод закончился, и Лемониус никогда о нем не вспоминал.

Начиная с шестого класса Лемониус читал Одиссею и Илиаду. Эти уроки не обходились без курьезов. Перевод прочитанного должен был быть по возможности близок к подлиннику в ущерб даже русской речи, с введением в нее грецизмов. Особенно любил он точнейший перевод *accusativus graecus* и приходил в восторг от таких прелестей: Н. С. Мережковский заслужил особые похвалы за такой перевод: «Олень был ранен стрелой относительно затылка, который находился у него посредине спины». Когда переводил сам Лемониус, то он допускал большие вольности в обращении с русским языком. Так: «Однажды на берегу пасалось большое стадо кобылей (т. е. кобылиц)». Или: «в колесницу была впряжена пара голубев» и многие другие.

Главную роль в жизни пансионеров играл инспектор, заведывавший материальной и хозяйственной частями. Ш. поступил при инспекторе К. И. Смирнове, авторе многочисленных учебников по географии. Но затем его заменил Н. Г. Потапов, преподаватель математики в младших классах, впоследствии инспектор студентов в Петербургском университете, и кончивший свои дни попечителем Казанского учебного округа. Он был строг, но по его поступлении пансионерам скоро стало жить лучше прежнего. Он озаботился улучшением их быта, завел лучшее платье, белье, усовершенствовал покрой платья, завел теплые пальто, пища стала лучше и обильней. О последней могу лично засвидетельствовать, так как будучи полупансионером, приходилось иногда завтракать и обедать в гимназии. Стол был прост, правда несколько однообразен, но всегда изготовлен из свежих припасов. Потапов принялся сначала за приведение в порядок хозяйственной части, а впоследствии приступил и к реорганизации части воспитательной. Но Ш. застал еще старый ее строй, достаточно архаичный. Воспитателями были странные люди, наблюдавшие только за внешним порядком. Пансионеры, конечно, были к ним ближе, так как воспитатели на дежурствах спали с ними в дортуарах и проводили с ними все вечера. Из таких могиканов вспомним Цее, по прозванию «башкирская тройка» (неизвестно почему), к которому приставали воспитанники, постоянно спрашивая его, какая у него цепочка для часов — медная или золотая, покоившаяся на его обширном чреве. Он отвечал — золотая. Тогда гимназист старался доказывать, что цепочка медная, и обе стороны вступали в продолжительный спор. Такое терпеливое отношение к заданному вопросу,

хотя этот вопрос повторялся многократно в течение дня, давало повод к бесконечным приставаниям. Повидимому, владельцу цепочки было лестно, что она обращала на себя внимание гимназистов. Другой воспитатель, Миллер, по прозвищу «Копейка», был совершенно бесцветный манекен; третий был Кайзер—«Чижик», знавший это прозвище и постоянно выслушивавший поэтому, во время дежурства, пение настоящего «Чирика» в разных углах пансионерских камер и спален, не смотря на строгое запрещение петь эту песню. Для извода Кайзера, куплеты, по сговору, одновременно раздавались в разных углах помещений, а «Чижик» в виц-мундире имел неосторожность бегать из угла в угол, тщетно ища обидчиков, из которых никого, конечно, поймать не удавалось. «Чижик» был добрый старик, а Миллер—злой. К ним надо прибавить «Сыча» — Кеммерлинга. Тупой немец тоже знал свое прозвище; ему громко воспевали: «Сыч проклятый, на колбасе распятый, сосисками прибит, чтоб не был он сердит». Его не любили. И наконец, «Галдило» — Соколов, грубый вологжанин с сильным местным говором на о, вспыльчивый, но добрый. Воспитателями приходящих и в классах общих старших были И. А. Алехин и М. Н. Кузнецов, по прозвищу «Трохейский», от слова «трохей», ибо был небольшого роста; это были люди новой формации, их любили и уважали.

Состав преподавателей в то время был образцовый, за немногими, конечно, исключениями. В памяти воспитанников того времени особенно запечатлелись светлые имена следующих преподавателей.

Словесность преподавал сначала Н. Е. Вестенрик, а по смерти его, А. Д. Мохначев. Первый из них прекрасно знал свой предмет, но был подавлен массой уроков ради насущного хлеба, что отзывалось на преподавании. Он был просвещенный человек и прекрасно относился к воспитанникам. Второй в старших классах читал лекции, которые слушались с большим увлечением. Заметив в воспитаннике склонность к своему предмету, или вообще к чтению, они открывали ему доступ к фундаментальной гимназической библиотеке, в то время хорошо обставленной. На уроках нам показывали факсимиле древних памятников письма по изданиям Общества Любителей Древней Письменности, которые имелись в библиотеке, так как Гимназия получала их по подписке. В числе получавших из библиотеки книги, были Ш. и Иванов.

Латинский язык преподавал Э. Э. Кесслер, автор прекрасного руководства к изучению латинского синтаксиса, преподаватель Историко-Филологического Института, где студенты ценили его и любили, как и гимназисты, за обширные знания и за справедливое отношение к ученикам, не смотря на большую строгость и требовательность в отношении к его предмету. Он особенно как-то умел прививать знание предмета и внушать к нему интерес и любовь даже среди гимназистов, которые потом в университете избирали себе специальностью естественные науки. И эта любовь

оставалась на всю жизнь, чему можно привести многочисленные примеры. При этих условиях знание латинского языка было выдающееся среди других гимназий. Кесслер достигал не только умения переводить и понимать прочитанное из автора, но и пересказывать собственными словами на языке подлинника.

Историю преподавал Я. Г. Гуревич, автор учебников и составитель хрестоматий по истории, открывший впоследствии свою гимназию. Его уроки проходили с большим интересом; он внушал желание расширять знания чтением пособий по своему предмету и нередко обращал уроки в чтение выдающихся сочинений по истории. Он был очень отзывчивый человек, неутомимый труженик. Завязавшиеся с ним в гимназии отношения сохранялись навсегда.

Математику преподавал П. П. Семенников, известный основатель нескольких библиотек для чтения, очень хорошо подобранных, в коих он преследовал не одну только коммерческую цель, а ставил их задачей облегчать людям, ищущим просвещения, нахождение необходимых им пособий. Мы уважали его, как чрезвычайно добросовестного преподавателя. Но особенно любили и ценили его за воспитательные беседы, которые он от время до времени вел с воспитанниками старших классов в часы уроков, если то позволяло своевременное прохождение курса. Беседы велись на нравственные и житейские темы и заставляли юношей задумываться над многими житейскими вопросами.

Новые языки преподавали немец В. Э. Буш и француз Вильд. Владевшим языками они давали немного, но не владевшие выходили из гимназии с умением понимать прочитанное и правильно переводить на русский язык. К Бушу относились безразлично, но Вильда любили, несмотря на многие его странности.

В наше время существовал обычай особым образом чествовать преподавателей. 14 сентября, в день храмового праздника, все воспитанники, посетившие богослужение, приглашались на общий завтрак с чаем и угощением. После занятия мест за общими столами в столовой, по бывшему ранее сговору, выбирали депутатов, которые шли в учительскую и приглашали в столовую по одиночке любимых преподавателей. Директора и инспектора звать не полагалось. При появлении приглашенного, все вставали, встречали их дружными, несмолкаемыми аплодисментами, и иногда качали их. Таким овациям из года в год подвергались Кесслер и Семенников.

В частности наш выпуск (1879 г.) особо отблагодарил своих любимцев, Семенникова и Вильда. Первому поднесли на память серебряный подстаканник на блюде, на котором были выгравированы фамилии всего выпуска. А второму поднесли малахитовый альбом с карточками учившихся у него языку. Для поднесения такого сувенира выбирали чью либо квартиру, в ней устраивали в полуденное время чай с угощением и при-

глашали одного из виновников торжества. Семенникову сказал приветственную речь А. О. Липский, а Вильду на французском языке—Н. С. Мережковский. Ни тот, ни другой не ожидали этого, и, при выслушивании речей, обильно прослезились. К нашему общему сожалению, нам не удалось сделать того же Кесслеру, так как были в выпуске два-три упрянца, которые относились к нему враждебно, как к представителю классицизма; делать же подношение не от всего выпуска почиталось тогда неудобным; но мы все скорбели потом, что не пренебрегли мнением этих упрямцев.

В своих автобиографических заметках Ш. не отмечает влияния гимназических наставников на свои научные вкусы; любовь к книге действительно зародилась и развилась в нем попутно с увлечением словесностью и чтением сочинений по специальности. Присматриваясь к чужим книгам, захотелось иметь и свои. Но пансионеру негде хранить книг, и вот библиотечка Ш. составлялась на квартире дяди. Средства на покупку добывались от сбережений с платы за уроки, от отказа ездить на праздники в Александровку к матери. Но новые книги не доступны по цене; отсюда прямой путь на рынок, к друзьям книголюбов, к милым всем нам букинистам. Таковы обстоятельства времени детства и юношеского возраста Ш., которые могут объяснить зарождение в нем любви к книге, к предметам искусства и древности.

В гимназии Ш. учился хорошо; не давалась ему одна только математика, которая и помешала ему получить при выпуске серебряную медаль.

Ш.-гимназиста я впервые увидел воспитанником VI класса. Это был широкоплечий блондин со светло-голубыми глазами, быть может, как говорят, не ладно скроенный, но крепко сшитый, очень подвижной при разговоре всегда оживленном, широко размахивающий руками, охотно принимавший участие во всякой возне, вплоть до перепалки картофелем после завтрака или обеда, с сидевшим против него Кузькой Смирновым, и до пальбы булками в эконома, когда эти булки оказывались черствыми и затхлыми.

Открытая натура Ш. легко завязывала знакомства, а потом шло сближение на почве общих интересов, любви к книге, возникала дружба, сохранявшаяся навсегда...

Говоря о Ш.-гимназисте, нужно, конечно, отметить и некоторые иные его черты: они, конечно, не опорочат его, но без них его облик будет не полон. Ш., как и все пансионеры, обладал колоссальным аппетитом; с'есть два-три завтрака было для пансионера явлением нормальным, добыть завтраки при ограниченности средств было не легко, и вот, за разные небольшие услуги, вроде объяснения непонятных мест при переводах классиков, на состоятельных приходящих налагалась дань, обязывавшая их приносить пансионерам завтраки; дань доставлялась с охотой платившим, а получавший радостно утолял аппетит.

Другая страсть, как увы, все человеческие страсти, хотя и благородные, все же приводила к пагубным последствиям. Страстно любя книгу и получая на просмотр и прочтение книги от своих товарищей, Ш. был заподозрен в том, что «зажиливает» некоторые книги. Дело объяснялось просто. Владелец книги ею не дорожил, а получивший книгу на прочтение, зная это, придерживал книгу у себя... Это подало повод к стихотворному обличению, написанному поэтом выпуска К. А. Ивановым, ближайшим другом Ш. Пелось оно хором на мотив из «Страделлы» и оканчивалось дружеским нападением всего класса на заподозренного в заживлении книги. Оно начиналось так:

На веку своем
Книг сжил ли ты немало!
Побьемте же, побьем,
Товарищи, нахала.
Терренция ты спер,
Бесстыдник и ско...,
Товарищам в позор,
Твою мы образину
Побьем, побьем,
Побьем, побьем...

Остальных стрóf — их было несколько... я не мог найти, а память их не сохранила.

Полагаю, что Ш. был не совсем виноват, поступая так с книгой, которая могла погибнуть в руках владельца, мало ею интересующегося. Такими приемами, впрочем, пользовались многие собиратели старины до и после Ш... Применял их и Ш. впоследствии, спасая таким способом многие предметы от верной гибели в руках невежественных владельцев. Так поступал Ш. вполне бескорыстно, как то доказал, пожертвовав все свои собрания ученым учреждениям.

В старших классах Гимназии Шляпкин давал уроки и тем поддерживал свою мать, которую он страстно любил и обожал в течение всей жизни, несмотря на размолвки и разногласия, между ними происходившие. Ее внушению он, повидимому, был обязан тем твердым мирозерцанием, которое он сохранил в течение всей своей жизни. Это трогательное отношение к матери он выразил также в распоряжении положить под свое вечное изголовье ларец, в котором он по смерти ее хранил ее косу и некоторые принадлежавшие ей предметы, что и было в свое время исполнено.

В мае 1877 года И. А. Шляпкин выдержал выпускные экзамены и осенью того же года поступил в Петербургский Университет, с которым уже и не расставался до самой своей смерти (29 апреля 1918 г.).

...

Отрывки из воспоминаний пансионера.

В конце июня 1873 г. десятилетним мальчиком я приехал в Петроград. Все для меня было ново и необычно в этом громадном столичном городе после простора и простоты сибирского города, похожего больше на село, чем на город. Если память мне не изменяет, впервые я вступил в пределы своей будущей *almae matris*—3-й гимназии—8-го августа. Парадный вход, лестница с железной решетчатой дверью наверх, облаченный в ливрею почтенный швейцар «Мушкет» и масса родителей с младенцами, приведенными «на заклание»,—все это произвело на меня впечатление чего-то сухого, страшного и гнетущего и навсегда врезалось в память.

Как меня экзаменовали, что спрашивали, не помню теперь. Помню, что по совету матери, старался «не трусить» и «бойко отвечать», но едва ли мне это удавалось.

Через день или два я узнал, что принят в подготовительный класс и что должен явиться к началу занятий 16-го августа.

Учителем подготовительного класса тогда был Н. А. Полиектов. Подготовительный класс помещался, отдельно от других, в третьем этаже младшего отделения, выходящего окнами на Соляной переулок. Теперь это помещение сломано и возведено новое здание. В классе нас было человек тридцать. Н. А. Полиектов казался для того времени добрым человеком и к нам «приготовишкам» относился хорошо. Но что меня поразило на первых порах в нем—это оценка наших ответов. В первый раз, как он меня вызвал и велел прочитать какой-то рассказ из хрестоматии Поливанова и который я бойко и выразительно прочитал, я вдруг увидел, что получил за это тройку. Я был просто поражен такой оценкой. Что же еще нужно? Почему это только три? Как нужно читать, чтобы получить пятерку или хотя бы четверку? Уже в то время я любил читать и прочитал не только все детские книги, которые можно было достать в Сибири, в роде «Хижины дяди Тома», «Робинзона Крузо» и «Истории Рима» Фурмана, но читал даже «Бурсу» Помяловского и кое что из Гоголя. «Конька Горбунка» знал почти наизусть и декламировал его своим домашним. Моим врагом была арифметика и я несколько бы не удивился тройке за нее, но не за русский язык, даже грамматика которого не особенно пугала меня. Тройка. По правде сказать, эта тройка сразу как то убила во мне веру в себя и охладила мою любовь к занятиям вообще. Вряд ли я когда-нибудь удостоюсь лучшего балла. Очевидно, для этого нужно быть каким то особенным человеком? Но каким же? Много позднее я понял эту осторожную систему отметок у учителей, но когда я ее понял, я понял также и весь вред отметок вообще.

Вскоре после поступления в гимназию я захворал корью и не посещал занятий около полутора месяца. Когда я поправился и явился снова в свой класс, занятия шли по заведенному порядку, товарищи мои видимо вполне уже освоились с ними и превратились в настоящих «гимназистов» — дисциплинированных в классе, резвых сорванцов в зале и на дворе, забияк, отравленных стадностью, во время рекреаций.

В классе сидел новый учитель, вместо ушедшего Полиектова, Н. А. С—в—«галдило», как называли его гимназисты. Это был человек иного склада, чем Полиектов. По своему он был хорошим педагогом для того времени: умел поддерживать дисциплину, добросовестно относился к своему делу и, хотя видел в нас не детей, а только учеников, все же пользовался, если не любовью, то во всяком случае авторитетом.

Кроме своего учительства в приготовительном классе, С—в был еще и воспитателем на младшем отделении пансиона. Со второй половины учебного года я был сделан пансионером и имел возможность испытать горе и радости пансионской жизни и плоды педагогической деятельности воспитателей.

На младшем отделении в то время несли дежурства три воспитателя: вышеупомнутый Н. А. С—в, Э. Ф. Бель и А. Д. Кеммерлинг. Ни один из этих воспитателей-гувернеров, собственно говоря, не был подготовлен к своей деятельности. Во время своих дежурных дней они являлись только надзирателями, поставленными для соблюдения порядка. Их роль заключалась только в том, что они ни на минуту не отлучались из того помещения, где находились дети, и награждали наказаниями тех, кто выходил из рамок дозволенного, короче говоря, пансион делился на два лагеря, враждебных между собою, мы—дети и они—воспитатели. Роль первых заключалась в том, чтобы напроказить и насолить гувернерам, роль вторых выражалась в том, чтобы изловить и наказать шалунов. Большого не требовалось.

Когда нам было лет 13—14, мы много уже читали, знали почти всех лучших писателей того времени и интересовались книгой. Правда, был в большем ходу и Тераиль и Монтепен и Поль-де-Кок, но на ряду с ними обращался и Дрепер («История умственного развития Европы») и Добролюбов с Писаревым. Чтение было без всякой системы, читалось все, что попадалось под руку, все, что приносилось из дома и пансионерами и проходящими. Мы даже составили свою библиотеку, в которую жертвовались разные книги: за право пользования библиотекой необходимо было принести какую-нибудь интересную книжку. Хранилась библиотека в одном из пустых шкафов, ключ от которого был поручен мне. Однако, наша библиотека просуществовала недолго, она была обнаружена начальством и реквизирована. Кто-то попался в классе за чтением Поль-де-Кока и должен был признаться, что получил книжку из нашей библиотеки. Мне при-

илось отсидеть в воскресный день после обеда часа два в карцере, по распоряжению Н. Г. Потапова.

К этому же времени относится и другое наше предприятие. Мы стали издавать газету-журнал «Гимназические Новости». Помимо статей, рассказов и стихотворений в журнале помещались и каррикатуры. Первый номер прошел удачно, но на втором нас «залопали». «На местах» *), вместо приготовления уроков, сотрудники старательно переписывали для подписчиков экземпляры журнала, они так увлеклись работой, что не успели до прихода инспектора убрать и спрятать изготавливаемые экземпляры и были накрыты. Проницательный взгляд Потапова заметил смущение работников и попытку спрятать нашу литературу, лежавшую на партах вместо латинских авторов. Газета попала в инспекторскую цензуру и я со своим товарищем Вегенером, как главные редакторы, были привлечены к ответственности. Мы выслушали строгое внушение и получили первое и последнее предостережение следующего содержания: «если выйдет третий номер вашей газеты, то четвертый вы будете обдумывать в карцере. Вместо того, чтобы учить уроки, вы занимаетесь всякой ерундой, да и другим мешаете учиться». Апеллировать на приговор цензора было некому, да и бесполезно. Слава Богу, что нас не ввергли в узилище.

Карцерами Потапов награждал нас особенно щедро. Достаточно было жалобы гувернера, учителя и даже просто служащего, чтобы там виновник нашел себе уготованное место...

С уходом Потапова на должность суб-инспектора в Университет, пансионский режим несколько ослаб. За краткосрочное пребывание инспектором А. А. Слепцова—этого светлого явления в жизни 3-й гимназии, интересы учащихся повысились. Своим подходом к нам, частыми дружескими беседами с нами в рекреационное время на всевозможные темы Слепцов направил нашу мысль по совершенно другому пути. Вспоминается такой случай. В одно из своих посещений пансиона Слепцов застал меня за чтением какого-то бульварного юмористического журнала. Я ожидал разноса, наказания и конфискации чужого журнала и приготовился к энергичному отпору. Но к моему удивлению Слепцов подсаживается ко мне и начинает разговор на тему: что меня может интересовать в этой бульварной прессе и неужели я могу удовлетворяться таким чтением? Мои попытки защищаться и указать, что и здесь могут встретиться серьезные или по крайней мере остроумные мысли, беспощадно разбиваются логикой Слепцова и я чувствую себя припертым к стене. Нас окружают товарищи, вступают с нами в разговор, беседа становится общей и оживленной, она совершенно не носит характера «потоповских» разговоров с нами, но

*) «Местами» назывался обширный, человек на 50, класс, в котором с 5 до 7 час. веч. пансионеры готовили свои уроки.

вместе с тем в ней чувствуется сила умного и благорасположенного к нам человека. Разумеется, победа остается за Слепцовым, и мы долго еще после его ухода продолжаем обмениваться затронутыми в разговоре мыслями. Это было что-то новое, неизведанное нами, и мы начинали понимать, каково должно быть «начальство» в гимназии. Но Слепцов очень скоро был признан неудобным и изъят из состава педагогов.

После него инспекторская власть перешла в руки А. А. Федотова, мягкого и добродушного человека, но совершенно не способного заменить с одной стороны Потапова, а с другой—Слепцова. Жилось нам при нем много легче, но не стало того крепкого порядка, который был при Потапове, и не создавалось ничего нового, что могло бы идти ему на смену. У наших воспитателей не хватало ни желания, ни умения руководить нами. Учителя в классе ограничивались прохождением программы и выставлением нам отметок, гувернеры—отбыванием положенных дежурных часов и наказанием ослушников. Директора, «бессмертного» В. Х. Лемониуса мы видели лишь мимоходом и тогда еще, когда требовалось пустить на нас «тяжелое орудие» для вразумления и назидания. В большинстве случаев эту роль исполнял инспектор, но «Антоша» не умел исполнять ее так, как умел это Потапов и не внушал нам особого страха; жилось поэтому нам легче, но наше благополучие продолжалось не особенно долго. Федотов вскоре заболел и умер, а на его место был назначен учитель греческого языка в младших классах А. Ф. К—в.

Когда К—в был только учителем, гимназисты, не скажу, чтобы любили его, но относились к нему очень хорошо. Он никому не делал зла, был со всеми ровен, не преследовал и не придирался и этого было достаточно, чтобы он слыл за хорошего человека. Заняв — неожиданно для всех—инспекторскую должность, К—в сразу переменялся: насколько он был приемлем, как учитель, настолько он стал несносен, как инспектор: мелочный, придирчивый, мстительный и упрямый. Шибко не взлюбили его пансионеры, да вряд ли он приобрел симпатии и среди своих товарищей-педагогов: слишком он близко принял к сердцу интересы наступившей реакции и того Деляновского режима, который осуществлялся тогда в школах. К — в старался плыть по течению и преуспевал в сферах. Многим из нас было, что называется, не в моготу переносить К—ва, он раздражал нас ежедневно своими придирками в роде того, почему пальто не застегнуто на все пуговицы, почему валяется бумажка на полу, почему шли по улице гурьбой в четыре-пять человек и все в этом духе. Несносно все это было чрезвычайно и раздражало иной раз до того, что выйдешь из терпенья и наговоришь ему грубостей, а это влекло за собой помимо наказания и продолжительную месть К—ва, до такой степени изводящую, что очень и очень многим пришлось из нас искать себе пристанища в других гимназиях и учебных заведениях. Из того кружка, к ко-

тому принадлежал я, только троим из семи удалось получить аттестат зрелости в 3-й гимназии.

Пришлось и мне оставить стены пансиона раньше времени и искать пристанища в другом месте. С грустью покидал я гимназию и оставлял своих товарищей, с которыми сдружился с самых юных лет. Дух товарищества, та спайка между нами, которая приобреталась в пансионе, общность интересов, укреплявшаяся в виду необходимости отстаивать их от покушений начальства, связывали нас прочными и крепкими узами. С уверенностью могу сказать, что потом в жизни мне не удавалось найти себе таких близких и дорогих друзей, какими я запасся во время пансионской жизни в гимназии.

Больше половины нашего кружка уже нет в живых, за пятидесятилетний период времени смерть успела их вырвать у нас; сошли со сцены и те, память о которых не может быть особенно светлой, но вместе с ними сошли со сцены жизни и такие педагоги, вспоминаешь которых с уважением, таковы, напр., Я. Г. Гуревич, Э. Э. Кесслер и даже грозный Н. Г. Потапов. Правда, и у них были недостатки и они причиняли иной раз большое горе нашему детскому и юношескому сознанию, но кто не без греха? Вспомним, что это были люди своего века и вряд ли лучше того, чем они были, они и могли быть. Мир их праху!

Январь 1923 г.

П. Попов.

...

Из „Автобиографической заметки“ Д. С. Мережковского *).

«Я воспитывался в (петербургской) 3-й классической гимназии. То был конец семидесятых и начало восьмидесятых годов,—самое глухое время классицизма: никакого воспитания, только убийственная зубрежка и выправка. Директор—выживший из ума, старый немец Лемониус, очень похожий на свою фамилию. Учителя—карьеристы. Никого из них добром помянуть не могу, кроме латинского учителя Кесслера, автора известной грамматики; он тоже добра нам не делал, но, по крайней мере, смотрел на нас глазами добрыми.

С товарищами я мало сходил: был нелюдим и застенчив. Несколько ближе—и то не очень—сошелся с Евг. Соловьевым, впоследствии публи-

*) Печатается, с разрешения Петроградского Института Книговедения, по подлиннику, хранящемуся в архиве проф. С. А. Венгерова. — Первоначально «Автобиографическая заметка» была опубликована в «Русск. Слове» 1913 г., № 65; см. также «Русск. Литерат. XX века» под ред. С. А. Венгерова, М. 1914 г., т. I, стр. 288—294 и «Полное собрание сочинений Д. С. Мережковского», т. XXIV. Москва. 1914 г. стр. 109—116.

цистом и критиком (теперь уже покойным); но и с ним—не по сходству, а по противоположности: он был скептик, я уже и тогда немного мистик.

Лет 13-ти начал писать стихи. Помню две первые строчки первого стихотворения:

Сбежали тучки с небосвода,
И засияла в нем лазурь.

Это было подражание «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина. Тогда же написал первую критическую статью, классное сочинение на «Слово о полку Игореве», за которое учитель русского языка Мохначев поставил мне пятерку. Я чувствовал такую авторскую гордость, которой потом уже никогда не испытывал...

В последних классах гимназии я увлекался Мольером и составил из своих товарищей «мольеровский кружок». Ни о какой политике у нас и речи не было, что не помешало мне получить однажды повестку из III-го Отделения. Нас всех пригласили в известное здание у Полицейского моста, допрашивали и ни за что не хотели поверить, чтобы мальчики 16—17 лет не занимались «свержением существующего строя». Если меня не арестовали и не выслали,—я этим обязан только положению отца. Мать сумела скрыть от него это происшествие.

Я продолжал писать стихи. Отец гордился ими, отдавал их переписывать и показывал знакомым. Кажется, в 1879 г., когда мне было лет 14, он повез меня в Алупку, к 70-летней старухе гр. Елисавете Ксаверьевне Воронцовой. Я не знал, что имею счастье целовать ту руку, которую полвека назад целовал Пушкин.

В Петербурге, в 1880 г., познакомившись у гр. Толстой, вдовы поэта, с Достоевским, отец повез меня и к нему. Помню крошечную квартирку на Колокольной, с низенькими потолками, тесной прихожей, заваленной экземплярами «Братьев Карамазовых», и почти такой же тесный кабинет, где Федор Михайлович сидел за корректурами. Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские, жалкие стишочки. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою. Мы ему, должно быть, помешали.

— Слабо, плохо, никуда не годится,—сказал он, наконец:—чтоб хорошо писать,—страдать надо, страдать

— Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает!—возразил отец.

Помню прозрачный и пронзительный взор бледноглазых глаз, когда Достоевский на прощанье пожимал мне руку. Я его больше не видел и потом вскоре узнал, что он умер.

Тогда же познакомился я с С. Я. Надсоном, кадетом Павловского военного училища, и полюбил его, как брата. Он был уже болен наследственной чахоткой. Постоянно говорил о смерти. Мы много спорили с ним о религии. Он отрицал, я утверждал.

Надсон познакомил меня с А. Н. Плещеевым, секретарем «Отечественных Записок». Помню мелькающие в дверях соседней комнаты худые, острые плечи, зябко укутанные пледом, похожим на старушечий платок, хриплый, надорванный кашель и неистово рычащий голос М. Е. Салтыкова.

Первое стихотворение я напечатал, кажется, в 1882 г., в «Живописном Обозрении», у Шеллера-Михайлова; потом стал печатать в «Отечественных Записках».

Окончив гимназию в 1884 году, я поступил на историко-филологический факультет петербургского университета. Университет дал мне немногим больше, чем гимназия. У меня так же не было школы, как не было семьи.

Дополнением к этим воспоминаниям Д. С. Мережковского могут служить еще следующие строфы из его «Старинных октав» *):

Стучится дождь однообразно в стекла.
К экзаменам готовлюсь я давно,
Зевая, год рожденья Фемистокла
Твержу уныло и смотрю в окно:
В грязи шагая, охтенка промокла...
И сердце скукой мертвою полно.
Решить не в силах трудную задачу.
Над грифельной доской едва не плачу.

Но вот пришел великий грозный час:
Вступая в храм классической науки,
Чтобы держать экзамен в первый класс,—
Я полон дикой робости и муки.
Смотрю в тетрадь не подымая глаз,
Лицо в чернилах у меня и руки,
И под диктовку в слове «осенять»
Не знаю, что поставить—е иль ъ.

Я помню место на второй скамейке,
Под картою Австралии, для книг
Мой пыльный ящик, карандаш, линейки,
Казенной формы узкий воротник,
Мучительный для детской тонкой шейки.
Спряжение глаголов я постиг
С большим трудом; и вот я в новом мире,
Где божество—директор в вицмундире.

От слез дрожал неверный голосок
Когда твердил я *lupus... conspicavit...*
In ture pascebatur... и не мог
Припомнить дальше; единицу ставит
Мне золотушный немец педагог.
Томительная скука сердце давит:
Потратили мы чуть не целый год,
Чтобы понять отличие *quid u quod*;

А говорить по-русски не умели.
И в сокровенный смысл частицы *ut*
Стараясь вникнуть, с каждым днем глупели,
Гимнастика ума полезный труд,
Направленный к одной великой цели:
Нам выправку казенную дадут
Для русского чиновничьего строя,
Бумаг, служебных дел и геморроя.

Так укрощали в молодых сердцах
Вольнолюбивых мыслей дух зловедный;
Теперь уже о девственных лесах,
О странствиях далеких мальчик бедный
Не помышлял: потухла жизнь в очах,
В мундир затянут, худенький и бледный,
По петербургской слякоти пешком
Я возвращался в наш холодный дом.

*) Полное собрание сочинений Д. С. Мережковского, т. XXIV. Москва, 1914 г., стр. 29—31, 40, 52—55.

* * *

О, юность бедная моя, как мало
 Ты вольных игр и счастья мне дала:
 Классической премудрости начало.
 Словарь латинский, холод, скука, мгла...
 Как часто я бранил себя, бывало;
 Но все прошло,—теперь не помню зла:
 Не до конца сумели в пыльной груди
 Нелепых книг тебя испортить люди...

* * *

Лемониус директор, глух и стар,
 Софокла нам читал и Одиссею,
 Нас усыплять имея редкий дар;
 Но до сих пор пред ним благоговею,
 Лишь вспомню, с крепким запахом сигар,
 Я вицмундир перед скамьей моею
 И тонкий пух седых его волос
 И в голубых очках багровый нос.

Урок по спрятанной в руках бумажке,
 Бывало, всякий бойко отвечал.
 При нем играли в карты мы и в шашки:
 Нам добродушный немец все прощал,
 Но вдруг за белый воротник рубашки
 Неформенной, за галстук он кричал
 С неожиданным пылом ярости безмерной
 И тем внушал нам трепет суеверный.

Честнейший немец Кесслер—латинист,
 Заросший волосами, бородатый,
 На вид угрюм, но сердцем добр и чист,—
 Как древние Катоны, Цинцинаты
 И Сцеволы: большой идеалист,
 Из года в год, отчаяньем объятый,
 Всем существом грамматику любя,
 Он нас терзал и не жалел себя.

Ответов ждал со страхом и сомненьем
 Краснея сам, смущаясь и дрожа:
 Ему казалось личным оскорбленьем
 Неправильная форма падежа,
 Ему глагол с неверным удареньем
 Из наших уст был как удар ножа.
 Земному чуждый, пламенный фанатик,
 Писал он ряд учений грамматик.

Читал Платона Бирюк—не педант,
 Напротив, весельчак, но злейший в мире,
 Весь белый, бритый, выхоленный франт,
 В обрызганном духами вицмундире:

К жестоким шуткам он имел талант.
 Того, кто знал урок, оставив в мире,
 Он робкого лентяя выбирал
 И долго с ним как с мышью кот играл.

Несчастный мальчик, с мнимой отвагой,
 К доске уже бледнея подходил;
 Тот ободрял его, шутил с беднягой
 И понемногу в дебри заводил,
 Не торопясь; но покрывались влагой
 Глаза его, он медленно цедил
 Слова сквозь зубы и в дремоте сладкой
 Ласкал тихонько подбородок гладкий.

Как выступал на лбу ученика
 Холодный пот, с улыбкой сладострастной
 Следил, и мухой в лапах паука
 Тот бился все еще в борьбе напрасной:
 Томила жертву смертная тоска;
 «Скорей бы нуль!» мечтал уже несчастный,
 В схоластике блуждая без руля,
 А смерти нет и нет ему нуля.

Но в старших классах алгебры учитель
 Был хуже немцев—русский буквоед,
 Попов, родной казенщины блюститель;
 Храня военной выправки завет,
 Незлобивый старательный мучитель,
 Он страшен был душе моей, как бред...
 В лице—подобье бледной мертвой ласки—
 Мерцали хитрые свиные глазки.

В нем было все противно: глупый нос
 И на челе торжественном и плоском
 Начальственная важность, цвет волос
 Прилизанных и редких с желтым лоском;
 Он—неуклюж, горбат и хром, и кос,—
 Казался жалким, странным недоноском.—
 Всегда покорен и застенчив, раз
 Я дерзким бунтом удивил наш класс.

Мне от Попова слушать надоело—
 «Ровней держитесь, выпрямите грудь».—
 Я на скамью—неслыханное дело—
 Сел, опершись локтем, чтоб отдохнуть,
 И пуговиц, ему ответив смело,
 На сюртуке дерзнул не застегнуть;
 Он закричал, но я решил упрямо:
 Умру, не застегну, не сяду прямо.

Лемониус с инспектором пришли,
 И сторожа меня на новоселье
 В сырой холодный карцер повели
 И заперли на ключ в позорной келье,—

Жилище крыс, но там, во тьме, в пыли,
Я чувствовал нежданное веселье:
Подвижником себя воображал
И в лихорадке сладостной дрожал.

Как жаждал сердцем правды я и мщенья.
Не все ль равно, за что восстать—за мир
И все его обиды и мученья,
Или за право расстегнуть мундир?
Тебя познал я, демон возмущенья:
Утратив сердца прежний детский мир,

Я чувствовал,—хотя был бунт напрасен,
Что ты, Злой Дух, мой темный Бог—прекрасен.

Тебе остался верен я с тех пор
И, соблазненный ангелом суровым,
Не покорясь, всю жизнь веду я спор,
Из за несчастных пуговиц с Поповым.
Душа безумно рвется на простор.
За то, что я к мирам стремился новым,
За то, что рабства я терпеть не мог,—
Меня казнил Лемониус и Бог.

...

Из воспоминаний о 3-й С.-Петербургской гимназии.

Когда говорят о Гесиодовском первобытном мире, не могут не начать с Хроноса; когда повествуют о древне-эллинской поэзии—всегда на первом месте является Гомер с его эпосом.

Главным лицом в древнем мире 3-й гимназии был ее директор Вильгельм Христианович Лемониус,—личность несомненно вполне историческая, но вместе с тем как-бы мифическая и легендарная.

Несмотря на темносиние очки, темно-синий виц-мундир и табачный дух, исходивший от его платья и от большого клетчатого носового платка (он был одним из последних Могикан, нюхавших еще табак), для многих гимназистов моего времени в нем сочетались черты если не древнего героя, то чего то сказочного. Для многих он обладал божественными, по Гомеру, чертами: он был как будто *«ἀίέν ἀατής»*—«вечно несокрушимый», и он, казалось, обладал некоторыми свойствами вечности: я и мои сверстники знали и слышали от старших, от наших дядей и отцов, что не было времени, когда бы в 3-й гимназии не было Лемониуса. Как только кто либо начинал вспоминать учебные годы в гимназии, лицо рассказчика расплывалось в улыбке и он сейчас же называл имя Лемониуса. Разные учителя, воспитатели, воспитанники, наставники, приходили, проходили через гимназию, уходили и исчезали где то вне ее, в пространстве внешнего мира, а Лемониус, казалось, как какой-то библейский Мельхиседек, пребывал во веки.

В. Х. Лемониус знал весь педагогический Петербург и несколько десятков выпусков 3-й гимназии.

В 1884 году, когда праздновалось 25-летие директорства В. Х. Лемониуса, совпадавшее с сорокалетием его педагогической деятельности в гимназии, 3-я гимназия торжественно чествовала его особым актом, на котором я, в числе нескольких выбранных для произнесения ему приветствий воспитанников, читал адрес на латинском языке.

На этом торжестве В. Х. Лемониус был почтен поднятием тогда на колонне актового зала портрета его, позже перевешенного на стену зала, портрета, написанного масляными красками. Деятели министерства просвещения всегда были бедны, а потому почетное для юбиляра намерение преподавательского состава было воплощено в произведении художника, не угрожавшего своим талантом затмить славу Тициана или Вандика. На портрете верно воспроизведены три поражающие воображение гимназистов колоритные пятна, бросающиеся в глаза при созерцании В. Х. Лемониуса в день юбилея: густые седины его волос, как бы копною обрамлявшие его голову, темно-синие очки и аннинская лента, красная с желтым бортиком. Все это есть на портрете. Зеркало души, т. е. глаза директора прикрыты большими темного стекла очками и этим достигнуты два результата — воспроизведен точно факт ношения Лемониусом таких очков и обойдена трудность художественного изображения много-ученой и много-опытной души педагога, которому тогда было 67 лет.

Немало потрудившийся на своем веку В. Х. Лемониус бесспорно долгие годы был как бы знаменем классицизма. Но в годы прохождения мною и братом моим, Сергеем, курса гимназии он уже ничего нового в преподавание не вносил. В VII классе, т. е. предпоследнем, он читал с нами «Илиаду» Гомера, а в VIII классе «Филоктета» Софокла. Чтение состояло в том, что вызывавшиеся по алфавиту воспитанники читали последовательно по десятку стихов и переводили. Любители, к числу которых принадлежал я, обыкновенно выручали товарищей, отрицательно относившихся к классикам. Это делалось тем проще, что Лемониус, за многочисленностью прошедших перед ним мало интересных в общем лиц, никак не мог выучиться разбирать нас и потому бывали и нередко случаи, что, я, например, переводил Гомера за хронически игнорировавшего его моего товарища, Сергея Рябинкина.

В VIII классе «Филоктет» Софокла дал нам, рядом с тем возвышенным интересом, который представляет собою знакомство с высокими греческими трагиками, ряд веселых настроений и эпизодов. Прежде всего, Лемониус, в 1850 г. написавший на латинском языке диссертацию: «De parasceniis. Dissertatio philologica et archeologica», считал себя знатоком греческой сцены и читал нам вступительную лекцию об устройстве древнегреческого театра. Не обладая умением хорошо чертить, он на классной доске мелом довольно плачевно изображал план театра, при чем гимназисты забавлялись, как неудачно проводимыми им линиями, так и несоответственными названиями, которые он давал чертимому. Так он вписывал в круг (напоминавший неудачный блин) «куб» (вместо квадрата), проводил «касающую» вместо «касательной» и т. п. Бурное сочувствие страдальческим воплям Филоктета вызывали смачно читавшиеся Лемониусом восклицания: «паппапаппаи» (ст. 754), «паппа, фег», «аттатаи» (ст. 785 — 790)

и радостно улыбались лица, когда Филоктет в последних стихах (1454) упоминает: «Νύμφαι ἐνυδροί Λειμώνιαδες» («Нимфы, живущие в воде, луговые», «Леймониады»), в которых приветствовали родственниц Лемониуса.

В общем В. Х. Лемониус был очень благодушен и, кроме редких случаев, когда какой-нибудь обидчивый преподаватель нажалуется ему на воспитанника, почти никогда не пушил нас и хронически повторял прилежно учившимся воспитанникам, отвечавшим ему и за себя, и за плохих: «Очень хорошо!»

В своих назиданиях воспитанникам на русском языке он часто вставлял слова: «вот, именно, вот», что, вероятно, означало какое-то особо соответствующее педагогическому намерению немецкое слово, а, когда гневался, жестоко путал слова. Так, раз, грозно разнося воспитанника Брюханова, которого «француз» Вильд (а в сущности швейцарец) обвинял в зачитывании его книжек, он назвал его поведение «гнуснейшим», злоупотребив и атрибутом и *superlativ*'ом, а его отношение к делу он назвал «салопным» (вместо «халатного»).

Инспектором классов в момент нашего с братом Сергеем поступления в III класс, позднюю осень 1880 г., был Николай Гаврилович Потапов, а после него, после кратковременного инспекторства А. А. Слепцова, А. Ф. Крутков, человек, кажется, не дурной, но очень грубый, и как преподаватель, — он преподавал греческий язык — очень неважный.

Коренастый, что называется «топорной» работы, он обладал и языком довольно «суконным» и произносил русские слова, как произносят малороссы: свою фамилию, например, он произносил как будто бы она кончалась не на о и в, а на о и у — «Круткуу», слово «дигамма» он выговаривал, как «дихамма». Своею здоровою фигурой и бородою «лопатой» он казался нам похожим на греческого «гоплита» — тяжело вооруженного воина. До крайности близорукий, он, чтобы читать, положительно упирался своим слегка отмеченным оспой носом в книгу.

Гимназисты, народ, что касается до отлынивания от тягот учения, шустрый, скоро учли дефект близорукости Круткова. Он имел прозвище «Ворона» за то, что так обзывал постоянно воспитанников, если они терялись при ответах. И вот, когда «Ворона» задавала учить наизусть греческие стихи, более отчаянные проделывали следующее: они на классной доске писали мелом заданные стихи латинскими буквами. Но часто получались печальные последствия: несчастные ленивые преступники «гибли жертвою Евменид» — разности алфавитов двух классических языков. Первые стихи Одиссеи писались по латыни так: «Andra moi enpere, Musa, polytropon, hos mala polla planhte...» Крутков совершенно недоумевал, когда вызванный гимназист начинал свою декламацию так: «Андра мой еннере, Муза...» Гимназист, читая с доски, перепутывал латинские буквы с греческими, а Крутков, не могший никогда догадаться, что текст был изображен латинскими бук-

вами, из себя выходил, находя невероятным, чтобы столь характерную греческую букву «пи» (π) произносили, как «ро» (ρ).

Говоря о «греках», упомяну о преподавателе в старших классах, Германе Васильевиче Бюриге. Он был всегда важен, напыщен, хорошо выбрит и одет в хороший виц-фрак, а его серые, холодно глядевшие через очки, глаза хронически выражали презрение к этим «русским» гимназистам, поведение которых он часто называл «довольно подлым» («Gemeine Behandlung»). Сам он был лишь весьма надут, придавал себе вид какого-то бюрократа высокого ранга, но познания его ограничивались умением пользоваться примечаниями хороших немецких изданий. Когда я приобрел Геродота того самого издания (кажется Abich'a), которое было у Бюрига, я оказался постигшим всю эллинскую премудрость. Гимназисты, отлично понимая пустую надутость Бюрига, с удовольствием читали строки, в которых надутость и чванство остроумно высмеиваются Лукианом Самосатским в его знаменитых «Разговорах мертвых» («Διάλογοι τῶν νεκρῶν») и посвойски реагировали на эти черты Бюрига. Их забавляло дурачить надутого балта (он происходил из Пернова) и они всячески изощрялись, придумывая разные хитрости.

По сравнению с ничтожными, выдающиеся преподаватели особо высоко ценились воспитанниками.

В четвертом, если не ошибаюсь, классе, мы увлекались уроками географии Павла Ерофеевича Ваденюка. Это был художник своего дела. Брюнет, с бледным, худым, очень живым и благородным лицом, он как-то привлекал всеобщие симпатии и своею манерою держать себя с учениками, и своею талантливостью. Он, по виду, скорее походил на профессора или адвоката и ходил он всегда или в сюртуке, или в черном фраке.

Ваденюк говорил легко, отлично владел предметом и чудно умел набрасывать кроки и чертить карты и нас научил с увлечением заниматься столь полезным для точного усвоения географических знаний черчением карт на память, «ex tempore».

К великому нашему горю, П. Е. Ваденюк не выдержал петербургского климата и, оплакиваемый нами, преждевременно скончался. Искренними, горячими слезами почтили мы его; смерть его была для многих из нас большим горем.

Другим выдающимся преподавателем был молодой тогда, а ныне уже почивший, Виктор Андреевич Геннинг, бывший потом инспектором Аннинского немецкого училища. В. А. Геннинг преподавал историю, которую до него и некоторое время одновременно с ним в старших классах преподавал известный учитель истории и издатель прекрасных хрестоматий по истории Я. Г. Гуревич, много лет потом стоявший во главе своей гимназии — «гимназии Гуревича», на Лиговке, угол Бассейной.

В. А. Геннинг своим жаром в преподавании истории, а равно знанием

и живым интересом к предмету вызвал во мне и во многих моих товарищах и уважение к себе, и особое внимание к истории.

Еще совсем молодой человек, блондин с довольно длинною клинообразною бородкою и с довольно большими усами, Геннинг в нашем воображении походил не то на Густава Адольфа, не то на Валленштейна, не то на герцога Альбу. У него часто болели от усиленных чтений глаза и он носил темные очки, что придавало ему строгий вид. Да он и был строг. Его успех в наших глазах объясняется исключительно его преданностью своему предмету и нравившимся нам умением ясно и интересно излагать сущность дела с кафедры. Он нам читал лекции, сам увлекался и нас увлекал, и в том факте, что я пошел на историческое отделение историко-филологического факультета, несомненно, сказалась доля влияния В. А. Геннинга.

Но первым из *dei maiores*, своего рода Зевсом, или Юпитером, на преподавательском Олимпе гимназии моего времени был самый выдающийся преподаватель 3-й гимназии—знаменитый в наших глазах латинист—Эрнест Эрнестович Кесслер.

Небольшого роста, широкоплечий, с умным лицом, обрамленным довольно густыми темными волосами, с большим умным лбом и строгими, иногда на мгновение вспыхивавшими остроумием или насмешкою глазами, обыкновенно серьезно смотревшими сквозь большие золотые очки, Э. Э. Кесслер одним своим обликом производил на учеников самое дисциплинирующее влияние.

Его урока ждали с трепетом, иногда с замиранием сердца; но этот трепет проистекал вовсе не от страха перед суровостью или строгостью, а был естественным явлением: природное достоинство, большие знания, вследствие этого большой авторитет преподавателя были вне сомнения. Он знал свой предмет великолепно. Известны его грамматика, синтаксис и особо изданные и обработанные для русских гимназистов старших классов «*Radke's Materialien*», т. е. особо избранные и составленные по Цицерону и другим классикам русские статьи, полные всяких грамматических и синтаксических трудностей, для перевода на латинский язык.

На уроках Э. Э. Кесслера не бывало ни шума, ни глупой возни, ни пререканий. С момента, когда дежурный по классу шепотом сообщал: «Кесслер идет!» все замолкало и приходило в порядок. Он входил в класс, легким движением глаз и головы приветствовал вытянувшихся для его встречи учеников, садился на кафедру, пробегал журнал, в котором делал установленные пометки, и сейчас же принимался за урок, который у него шел постоянно напряженным темпом, при сосредоточенном внимании большинства класса. Языков не распускали, а «*favebant linguis*», т. е. говорил только один отвечающий, а все прочие молчали.

Что значит «настоящий» преподаватель! Если бы вы пришли в тот же

класс на урок «закона Божия» добрейшего, но не имевшего большого веса в глазах гимназистов К. И. Ветвеницкого, или на урок физики В. А. Попова, не мало кричавшего на ленивых учеников и «кормившего» их едннцами, вы бы увидели разницу.

В то время, когда с другими преподавателями чуть что не по рыночному торговались из-за плохой отметки, требовали оценки ответа так, как нужно было или хотелось ученику, — решения Кесслера принимались, как решение судьбы; по поводу их плакали, горевали, сокрушались, не препираться о них или оспаривать их не только не решались, но и не думали. «Αὐτός ἔπε» — «Сам сказал» — и никаких разговоров. Получить от него похвалу или пятерку было лестно и приятно. Какой смех и оживление охватывало класс, когда Э. Э. Кесслер, никогда не травивший и не преследовавший пристрастно учеников, со свойственным ему юмором, по необходимости, изобличал учеников в их незнании или нерадивости.

В общем латинским языком занимались усердно и большинство шло удовлетворительно.

Надо сказать, что Кесслер получил нас очень хорошо вышколенных по латыни из рук Александра Андреевича Кеммерлинга, свирепого преподавателя младших и средних классов. Если Кесслера боялись, как боятся грозы, то Кеммерлинга боялись, как мучителя-педанта.

Его отец был одним из мрачных видений, удручавших мое и брата Сергея воображение, когда мы впервые вступили в гимназию. Нас в начале приняли «полупансионерами» в III класс. Дело было поздней осенью. Мрачно светили желтым, тусклым светом керосиновые лампы, висевшие под большими круглыми абажурами. В третьем этаже, куда поднимались по лестнице от церкви, помещалось «пансионерское» отделение, широкий, но как бы придавленный корридор был полон смутившими нас своим видом гимназистами. «Пансионеры», или «казеннокоштные» отличались некультурностью своей внешности. Плохо стриженные, а великовозрастные и плохо бритые, большею частью бледные или темного цвета лица, вследствие совершенно не гигиенической жизни — много сидели в спертom воздухе, при плохом освещении и не было вовсе ни спорта, ни игр, — они были одеты в незадолго перед тем введенную новую классную форму — черные блузы с черными пуговицами и такие же брюки. У большинства совершенно не видно было белья, и покрой этой, не то арестантской, не то похоронной, одежды был не изящен и часто безобразен. Изящный покрой и металлические пуговицы у ворота, не говоря уж от воротника до груди, строго преследовались. Директор Лемониус как то при мне за элегантную куртку с металлическими пуговицами, сделал замечание доброобразному Баумгарту, назвав его «Какой - то Адонис!»

Среди сновавших, дравшихся, ругавшихся, или сумрачно готовившихся по учебникам к следующему уроку «пансионеров», как темное привиде-

ние, ходил взад и вперед по корридору «воспитатель» Андрей Данилович Кеммерлинг.

Среднего роста, уже старый, с сильною проседью в волосах на голове и в бороде, кривой,—у него одно плечо было выше другого; он слонялся в старом вицмундире, имея за спиной заложенные руки, в одной из которых, как у тюремщика, висели большие ключи от классов и карцера. Он был суров, молчалив и груб. Гимназисты безжалостно травили его, как докучливые собаченки, озорно выкрикивая ему из за угла «Сыч!» когда он не мог схватить виновного. Он как то шипел и по временам хватал мальчишек то за ухо, то за ворот и, вообще, проявлял мало качеств Фребеля, Песталоцци, или даже посредственного педагога. Очевидно, на свою службу он смотрел, как на горькую долю, как на каторжную лямку.

Его сын наследовал от родителя много черт.

Он тоже был слегка кривобок, лицо у него было красноватое, несколько напоминавшее куафюрою и обликом очень искаженный портрет Пушкина, с золотыми очками на носу. Говорил он по русски лучше отца, но все же с некоторым немецким акцентом. Тиранил он учеников ужасно. Особенно мучительны были уроки по переводу с русского языка на латинский.

Когда он входил в класс, большинство воспитанников находилось в лихорадочном состоянии. Медленно разгибал он журнал, как то угрожающе ударял по кафедре большим перстнем с вензелем, медленно клал на кафедру золотые часы, открывал их и произносил такую страшную фразу: «Кто, по произнесении мною русского текста, будучи вызван, будет медлить более одной минуты, получит единицу, кто сделает ошибку против синтаксиса, получит единицу, кто сделает ошибку против грамматики, получит ноль». После такого вступления он брал немецкую книгу, из которой делал сам тут же перевод фразы на русский язык. Фразы были тяжелые, удобопонятные лишь для тех, кто освоился с его своеобразным языком. Произносилась фраза в роде следующей: «Ведь известно, что в древнем Вавилоне сложенные из кирпича стены были столь широки, что две рассказавшиеся квадриги на встречу друг другу могли проехать, не задев одна другую концом оси». Затем он вел пером по списку учеников, положительно замиравших от чаяния грядущих зол. Я помню, как бедный наш товарищ Борис Лебедев, уже давно скончавшийся, так дрожал, что стучали металлические петли его парты. Вызывался один, другой, третий ученик. Поочередно они вставали, лепетали слова, судорожно пытались справиться с фразою, под страшным взглядом Кеммерлинга, и гибли, гибли,—получая единицы и нули. Как жестоко суров был он в отношении баллов, видно из такой справки: из 30 воспитанников V класса к концу учебного года 22 имели неудовлетворительные отметки по латыни и обречены были или оставаться на второй год, или держать осенью переекзаменовку.

Но, разумеется, путем таких пытки и правежа Кеммерлинг терроризовал гимназистов и они, боясь его, с болью и ненавистью, усиленно готовились к страшным не только по впечатлениям, но и по реальному значению для судьбы гимназистов урокам латинского языка.

Талантливым и начитанным в русской словесности был преподаватель русской литературы Александр Дмитриевич Мохначев, бывший позднее окружным инспектором С.-Петербургского учебного округа.

Высокого роста, с умным и смелым, часто насмешливым, по отношению к ученикам выражением лица и карих глаз, слегка коверкавший букву «Л»—он восхищал воспитанников своим мастерским чтением русских классиков. Он часто опаздывал на уроки, и не редко, предпочитая чтение хорошего автора слушанию плохих ответов, сдавался на наши просьбы и читал нам отрывки, то из Гоголя, то из Тургенева и других—вызывая восторженный смех класса, успокоенного чтением от опасения вызовов для ответов.

Важным предметом считалась математика. В младших классах арифметику преподавали очень хорошие преподаватели Белавин—грубоватый, но умный и справедливый, и П. П. Семенников, уже пожилой человек, очень вежливый, воспитанный, но насмешливый. В старших классах алгебру, геометрию, тригонометрию и физику мы проходили под руководством Владимира Алексеевича Попова. Он тогда был человеком средних лет, скорее пожилым. Небольшого роста, с рыжеватыми волосами, расчесанными на две стороны, с пробором посередине, как носят старые женщины, с рыжеватой же бородкой и в очках, оправленных в золото, над несколько лоснившимся, красноватым, толстым носом, он был человек порядка, педантически исполнявший все обязанности преподавательской должности,—всегда аккуратный, всегда в виц-фраке казенного синего цвета. Несколько сутуловатый, с серыми, как-то сухо и «формально» смотревшими глазами, слегка картавивший, он напоминал собою не то духовную особу—такие бывают викарные архиереи или иеромонахи-казначей—не то пожилую особу женского пола. Гимназисты уверяли, что прическу его прилизывала корова сперва на одну, а потом на другую сторону,—а странная его походка—он шел, приседая на каждом шагу, точно на шарнирах,—вызвала весьма верное, по впечатлению, прозвище, присвоенное ему гимназистами: «Шило в»,—некоторой части тела. Вздрагивание при каждом шаге, действительно, вызывало представление о том, что какое-то острие при каждом шаге причиняло ему укол.

В. А. Попов вел преподавание весьма правильно и систематично. Урок посвящался объяснениям, затем задавалось «отсюда до сюда» пройти по учебнику и затем шло опрашивание учеников; кроме того были классные работы—решение задач—«ex tempore». Не имея ни огня, ни таланта, он не мог увлечь и воспламенить, как Кесслер, или Геннинг, или Мохначев,

но он понятно объяснял и настойчиво требовал. В его объяснениях было много шаблона, рутины и педантизма и слог его иногда был очень забавен по витиеватости. Объясняя устройство батареи из элементов Лекланше, он чертил цепь их на классной доске и, по мере нанесения элементов на доску, повторял: — «уголь с углем, цинк с цинком, уголь с углем, цинк с цинком»... Не надо дополнять, что такие его однотонные декламации, при том, что он стоял спиной к классу, вызвали веселое настроение класса, хором повторявшего за ним в каданс упомянутые слова. Он сердился и прекращал черчение.

Объясняя какое то химическое явление, он употреблял такую пышную фразу: ... «соединяется с телом белым, именуемым в общежитии мелом»... Легко себе представить, как увеселялись по этому случаю гимназисты.

С воспитанниками он был очень вежлив, но сух и холоден. Над плохими учениками иронизировал. Когда, в средних классах, бывало, получавший плохой балл ученик начинал всхлипывать или иногда и лить слезы и молить его о пощаде, Попов постоянно цитировал фразу из церковного ирмоса: «Не рыдай ты, мене, мати, зрящи во гробе лежаща».

Необычайным «Spectacle Gala» бывал день «демонстрации физических опытов». Из физического кабинета приносились разные приборы. Главный интерес традиционно вызывали электрическая машина, из которой через цепь воспитанников пробегала коловшая каждого искра, которая заставляла прыгать бузинные шарики, а, особенно, «обыкновенный» и «воздушный» насосы. Для последнего заранее излавливалась сторожем жертва — крыса, а для первого приносилось ведро воды. В. А. Попов серьезнейшим образом отдавался объяснениям на приборах разных вопросов пройденного курса, а гимназисты полны были желаний самых школьнических. Воспитанники, «изучавшие» пневматический насос и губившие бесжалостно крысу, так «действовали», что Попов, опасаясь за целостность прибора, взволнованно кричал: «Уопнет! Уопнет!» («Лопнет, лопнет»). Между тем компания, «изучавшая» пожарный насос, увлекалась до того, что скоро класс превращался в озеро, со стен текли ручьи и, по необходимости, среди крика, хохота, негодующих возгласов Попова, «демонстрация» кончалась за невозможностью стоять на залитом водою полу.

О других преподавателях особо интересного, или замечательного я ничего рассказать не могу: многие из них были добрые, хорошие люди.

Будучи с IV класса приходящим, я, как и братья мои, упомянутый выше Сергей и Георгий, окончивший курс в 1890 г. и скончавшийся в 1914 г., мало имели дела до воспитателей и воспоминание о них сохранилось у меня лишь как о фигурах людей в виц-мундирных фраках, как то беспомощно и мало-результатно пытавшихся укрощать строптивых и мало подчинявшихся им гимназистов. Среди них и физическим, и духовным ростом особо возвы-

шлась фигура до ныне здравствующего Николая Федоровича Арепьева, который, никогда не горячась и не суетясь, как другие, своим обликом и нравственным авторитетом умел внушить и почтение к себе, и симпатии.

Вспоминая гимназические свои годы, не могу не сказать двух слов о высшем учебном начальстве того времени. Министром народного просвещения тогда был известный Иван Давыдович Делянов, впоследствии граф, статс-секретарь, андреевский кавалер и проч. Хитрейший армянин, человек большой образованности, необычайно со всеми любезный, но полный скептицизма и порой цинизма. Маленького роста, с громадным, бананоподобным носом и почти совершенно лысою головою, отороченной лишь маленькою бахромкою волос, с черными, как чернослив, глазами, которые он, нет-нет, закрывал большими веками с черными, густыми ресницами, — он пленял многих простодушных людей своею доступностью: всем он все обещал, всех принимал отменно любезно, но, конечно, делал только тогда, когда это было легко, или нужно по его соображениям. На визитных своих карточках со своими важными титулами, он с легкостью неподражаемой писал для каждого просителя, совершенно неизвестного ему, неразборчивым почерком какие-то каракули и с этим ничтожным багажом выпроваживал просителей, низко ему кланявшихся и горячо благодаривших. В его приемной, на Невском пр., в доме армянской церкви, была грифельная доска, на которой, он, для успокоения просителя и скорейшего его удаления, сам мелком быстро записывал фамилию, адрес, о чем просит, и немедленно, по уходе обнадеженного и успокоенного просителя, быстро смахивал свои иероглифы губкою с самым спокойным выражением лица. О его роли и значении в истории русского просвещения настоящего рассказа еще не имеется. Было ясно, что он был умен, хитер еще более, чем умен, что душа его в некоторых отношениях была душою азиатскою.

За годы прохождения мною курса гимназии (1880—1886) было два попечителя С.-Петербургского учебного округа — сенатор Ф. М. Дмитриев и генерал Новиков. Первый ростом напоминал Черномора из «Руслана и Людмилы», второй был большого роста и ходил в форме генерала генерального штаба с аксельбантами. Оба возмущали меня своею надутостью и страшно задевали наши сердца, преданные гимназии и преподавателям нашим, своею невежливостью и начальническим тоном с преподавателями: при входе в класс они не здоровались с ними, не подавали им руки и заставляли их стоять, когда сами сидели.

На выпускном экзамене мы должны были переводить Тита Ливия с латинского языка на русский *à livre ouvert*, т. е. без предварительной подготовки. Передо мною отвечал мой товарищ Н. Н. Безак. Когда его вызвали, попечитель Новиков спросил у директора, сидевшего с ним рядом:

«Не сын ли это свиты генерала Безака, бывшего нижегородского губернатора?». Получив утвердительный ответ, он, молча, слушал, как Безак, совершенно не поняв выражения Ливия «Sub согопа venire» («быть продаваемым под венком» — «быть продаваемым в рабство»), плел какую то фантазию о том, что побежденные воины шли в победных венках. Никакие попытки Кесслера помочь ему не выводили его на путь спасения, так как он просто не знал данного выражения. Тогда Новиков совершенно неожиданно обратился к директору и громко сказал ему по латыни: «Nis discipulus nihil intelligit, tamen eum non turbabo». («Этот ученик ничего не смыслит, но я его смущать не буду»).

Помощник попечителя Михайлов был молчалив, а его облик напоминал медведя в виц-мундире со Станиславской звездой. Какая польза от него была просвещению, мы не знали.

Другой помощник попечителя после Михайлова — Л. И. Лаврентьев существенно разнился от своего предшественника лишь видом: он был худ и напоминал своею внешностью Дон-Кихота, но был небольшого роста. Сколько раз я его не видел в гимназии, он никогда ничего не изрекал.

Из воспитанников старших классов, бывших в гимназии в годы моего учения (1880—1886), я сохранил живые воспоминания лишь о немногих.

Очень громка была слава «золотого пера», окружавшая Д. С. Мережковского, воспитанника LVI выпуска (1883 г.). Он был одним из немногих, почти единственный успевший вызвать полное одобрение А. Д. Мохначева, который верно и скоро оценил его литературное дарование.

Фигура Мережковского тоненькая, сухенькая, напоминавшая собою египетские рисунки, как и темный цвет лица, мало изменились, и Мережковский двадцатых годов XX века очень похож на Мережковского восьмидесятых годов XIX века.

О большинстве моих товарищей в настоящее время я ничего не знаю; кое о ком имею скудные сведения.

Но все они, после всего пережитого, в дымке невозвратной дали чистой и доброй юности нашей, видятся мне еще более милыми и симпатичными, чем казались вскоре после окончания курса.

В заключение — горячий привет и искренние благопожелания бывшей 3-й Гимназии. Да живет она долго и счастливо и да послужит еще родине источником истинного просвещения; да образует она в своих стенах честных русских граждан, людей высокого духа, мужей добра и разума, достойных лучших из почивших, немалочисленных, незабвенных, славных своих воспитанников.

Борис Ордин.

Петроград.
Январь, 1923 г.

Петербургская гимназия сорок лет тому назад.

(Страничка воспоминаний).

Влад. Дм. Набокова *).

Когда мне было 10—12 лет, ко мне приходил раз или два раза в неделю давать уроки закона божьего отец Ветвеницкий, бывший тогда законоучителем третьей классической гимназии в Петербурге. Мои два старших брата в то время учились в подготовительных классах училища правоведения, где в сороковых годах учился и мой отец. Меня было решено готовить в гимназию. Вероятно, о. Ветвеницкий побудил выбрать именно третью, считавшуюся в то время наиболее «строгой» в деле осуществления той своеобразной классической системы, которую вколачивал в русскую жизнь недоброй памяти граф Д. А. Толстой.

Осенью 1883 г. тринадцатилетним мальчиком я поступил в пятый класс и весной 1887 г., не достигнув еще семнадцатилетнего возраста, окончил гимназию.

В подтверждение своего беспристрастия в оценке ее, я могу прибавить, что мне была дана золотая медаль и что лично мне гимназия, кажется, никакого зла не сделала, — вероятно потому, что и до, и во время, и после нее я искал и находил другие источники для удовлетворения своей жажды к образованию. Не сохранил я и дурного чувства к учителям, — менее всего к преподавателям математики, с которыми у меня было всего более «недоразумений»: кажется, я был очень плохим математиком, и при общей оценке моих успехов, педагогический совет «посмотрел сквозь пальцы» на мое прошлое в этой области. Многие из того, что позднее только я мог оценить и чем возмущался позднее, в то время казалось мне совершенно естественным и неизбежным. Я уверен, что у многих и многих из моих сверстников гимназические воспоминания гораздо тяжелее, чем у меня. И все же: какая безотрадная картина встает у меня перед глазами, когда я памятью переносусь к этим отдаленным временам.

Третья гимназия помещалась тогда там же, где и теперь. Вмещавшее ее угрюмое серое здание казарменного вида на Гагаринской улице было прежде тюрьмой, и какая-то печать тюрьмы сохранилась и на гимназии, особенно в верхнем ее этаже, где помещались младшие классы (до четвертого включительно), и куда я заходил только случайно. Самое здание состояло из трех корпусов: один выходил на Гагаринскую улицу, другой тянулся по Соляному переулку. В этом втором корпусе помещались только квартиры персонала. Оба корпуса соединялись третьим, занятым столо-

*) «Молодая Россия» Берлин, 1922 г., № 1.

выми, просторной и красивой церковью, физическим кабинетом, верхними классами. Актный зал большой, в два света, находился в главном корпусе. Он отпирался перед началом уроков для молитвы, на которую собирались все классы, и потом—на время большой перемены, от 12-ти до половины первого. Остальные перемены мы проводили в коридоре или классах. Большой гимназический двор оживлялся только весной, в апреле и мае. Там играли в лапту и пятнашки. О другом спорте (футболе, лоун-теннисе) в то время и помину не было. Зимой на улицу не пускали. Перемены проходили в монотонной ходьбе взад и вперед по корридорам. В большую перемену пансионеры и так наз. полупансионеры завтракали. Пища была очень неважная, настолько, что я, хотя и имел право, в качестве полупансионера, завтракать, но предпочитал брать с собою—как делали приходящие—бутерброд с мясом или сыром. Классы были довольно обширны и светлы. Но стены были совершенно голы, без всяких картин или хотя бы карт,—глазу не на чем было отдохнуть. Число учащихся в классах очень вариировало—от 25 до 40 и дальше больше. Начиная с первого и до шестого включительно классы были двойные: один—для приходящих, другой—для пансионеров и полупансионеров. Программа для обоих отделений была, конечно, одна и та же, но учителя были разные, а потому и система преподавания и уровень знаний в том и другом отделении были разные. В седьмом классе они механически сливались, при чем случалось, что ученики одного отделения попадали к своему старому учителю, хорошо их знавшему, а для учеников другого отделения он оказывался новым и требования его—неожиданными и непривычными.

Состав учащихся был довольно разнообразен. Он включал и вполне «демократические» элементы (они даже преобладали), и детей из семей высшей бюрократии, при чем надо подчеркнуть, что в гимназии абсолютно не чувствовалось никаких оттенков во взаимных отношениях, которые могли быть поставлены в связь с «сословными» различиями. И учителя—надо отдать им эту справедливость—относились вполне одинаково ко всем.

Что же это были за учителя? И что это было за учение?

В начале восьмидесятых годов классическая система была в полном разгаре. Наша гимназия, как я уже выше заметил, была одним из столпов этой системы, и потому формы ее осуществления в нашей гимназии, можно думать, были наиболее совершенными и, во всяком случае, наиболее характерными. Потому, что происходило у нас—в столице, где высшее начальство было рядом и могло лично наблюдать и контролировать—можно составить себе некоторое представление о том, чем была классическая система в провинции, особенно в более отдаленных и глухих ее уголках.

По количеству учебных часов, на первом месте, конечно, стояли древние языки. Я не помню, как обстояло дело в младших классах, где я не

учился, но в последних четырех классах ежедневно из пяти (или четырех) часов два часа отдавалось древним языкам. В восьмом же классе им отдавалось 14 часов в неделю. Другими предметами были: математика (алгебра, геометрия, тригонометрия), физика, космография (только в восьмом классе), закон божий, русский язык и два новых языка (французский и немецкий), из которых позволялось выбрать один. Об естественных науках не было и помина. О законоведении, философии, истории искусства никто и не помышлял. Латынь и греческий язык еле оставляли место для таких «необходимых» предметов, как история или русский язык.

Уставная программа по древним языкам была очень обширна. Основательное знание грамматики (этимологии и синтаксиса), умение переводить с русского на латинский или греческий и обратно, чтение древних авторов—вот ее основные элементы. Из латинских авторов в пятом классе должны были читаться Саллюстий и Овидий (Метаморфозы), в шестом—Цицерон и Виргилий, в седьмом—Тит Ливий, в восьмом—Гораций. Кажется, полагались еще Тацит и Ювенал, но мы их не «проходили». Греческую литературу представляли Ксенофонт и Гомер—в пятом классе, Лукиан и Гомер—в шестом, Платон и Демосфен—в седьмом, Геродот и Софокл—в восьмом. В программе было указано и примерное «количество» подлежащего прочтению.

Так было в программе. Как же было в действительности?

Первый мой учитель латинского языка в гимназии, по фамилии Кеммерлинг, хорошо памятен всем моим современникам. Правда, я имел с ним дело только один год и лично от него не страдал, но что это было за безумное и нелепое явление. Он был грозой и бичом для гимназистов. Случалось, он начинал так неистово кричать на ученика, возбудившего чемнибудь его гнев, что в соседнем классе было слышно, несмотря на основательные стены, возведенные чуть ли не во «дни Александровы». Вспыльчивость его очень легко переходила в какое то неистовое бешенство, при чем его и так отталкивающее, некрасивое лицо совершенно искажалось, покрывалось пятнами, глаза яростью сверкали из-под очков и весь он являл собою вид взбесившейся обезьяны. Но худшее в нем было не его характер, а его педагогическая система. На первом месте стояли, конечно, грамматика и ненавистное *extemporale*—письменная работа, перевод с русского на латинский. «Авторы», т. е. Саллюстий («о войне югуртинской») и Овидий («Метаморфозы») рассматривались им не с точки зрения историко-литературной, а просто как иллюстрация правил Кюнера (знаменитой грамматики). В течение часового урока мы переводили не более 8 или 10 строк и за весь учебный год прочли не более трех-четырех страниц Саллюстия и сотни другой стихов Овидия. Над каждой строкой, над каждым словом производилась настоящая анатомическая операция, до идиотизма бесполезная. Спрягались все попадающиеся глаголы,

склонялись существительные, проверялись чуть ли не все правила этимологии и синтаксиса. Само собою разумеется, что у нас не получалось ни малейшего художественного впечатления. Саллюстий ли, или Овидий—эта была для нас одна и та же бессмысленная и несносная пытка. Мы ровно ничего не знали ни о их жизни, ни о творчестве, ни о значении их в истории римской литературы.

В связи с этим мне припоминается такой эпизод. В то время отец мой был министром юстиции. Мы жили в генерал-прокурорском доме на углу тогдашних Большой Итальянской и Малой Садовой. Возвращаясь из гимназии, я ходил навверх в столовую и ел оставленный мне завтрак. В столовую надо было проходить через приемную, и тут случалось наталкиваться на тех посетителей, которых отец мой принимал не в служебном кабинете, а у себя на квартире. Однажды я при таких условиях встретился с отцом, провожавшим до лестницы графа Д. А. Толстого, бывшего в то время министром внутренних дел. Меня остановили; отец с некоторой гордостью представил меня гр. Толстому, в качестве ученика любезной сердцу этого последнего классической гимназии. «В каком вы классе?» спросил он, и на мой ответ, что в пятом, заметил: «значит читаете Саллюстия?» Я ответил утвердительно... и мне и в голову не приходило рассказать насадителю классицизма, как у нас «читали» римского историка.

Само собою разумеется, что Кеммерлинг отвратительно говорил по русски (помню, что он почему то слово «римляне» произносил с ударением на втором слоге). Кроме того, у него бывали совершенно дикie причуды. Так, после того, как он объяснил нам построение гекзаметра, он почему-то объявил, что будет ставить единицу всем, безразлично, за каждую ошибку в чтении стиха. И вот, помню я, при чтении первой песни «Метаморфоз» мы попали на стих, оставшийся с тех пор на всю жизнь у меня в памяти: «*Persidaque et radiis juga subeilita, matutius*».

Строй этого стиха не совсем обычный. Вызванный ученик сбился и получил единицу. За ним другой, третий, четвертый. Наконец, вызван был один из лучших учеников—граф П. Н. Игнатьев,—для которого также оказалась неожиданной трудность стиха,—сенсация. Игнатьеву пришлось сесть с единицей... Я чувствовал что дело сейчас дойдет до меня; холодея от ужаса, я напряг всю свою проницательность—и разгадал загадку, заключающуюся в последнем слове стиха. Я прочел его верно,—и еще не вызванные вздохнули свободно. Они были спасены...

И такие вещи совершались изо дня в день, в нескольких классах, не вызывая ни с чьей стороны никаких замечаний. Был окружной инспектор, был директор, был совет—и на глазах у всех этих инстанций полоумный деспот производил свои дурацкие эксперименты, вколачивая вместе с своей нищенской латынью глубокую ненависть и отвращение к ней, засушивая

наши мозги, убивая в нас всякий интерес к классической древности, которая для нас превращалась в источник вечных страданий и ежедневного страха.

...

Классическое образование и 3-я С.-Петербургская классическая гимназия.

(Воспоминания).

Проф. В. А. Оппель.

Да, я воспитанник 3-й С.-Петербургской классической гимназии, если не ошибаюсь, значит, наиболее классической из классических гимназий в С.-Петербурге, существовавших в то время (80-е годы XIX-го столетия). Если я спрошу себя, питаю ли я к классическому образованию какуюнибудь привязанность, то спокойно отвечу: никакой. Это не значит, что в моей памяти нет места для приятных, радостных воспоминаний. Это не значит, что я отрицательно отношусь ко всем педагогам, которые меня обучали «классическим» предметам. Из последующего изложения видно будет, что среди моих воспоминаний много отрадного. Я благодарен гимназии, что она меня все-таки научила учиться, научила и мыслить, но ко всей системе классического образования в той постановке, которая существовала с тяжелой руки графа Толстого, я до сих пор не питаю ничего, кроме ненависти. И я сейчас объясню, почему...

Если взять даже неграмотного человека—в России их еще много,—то, как известно, он по русски говорит очень хорошо и отлично понимает, что ему говорят. Значит, говорить на каком угодно языке можно, не зная грамматики. Конечно, в распоряжении неграмотного человека выбор слов будет сравнительно ограничен, выражение мыслей не так связно, но все-таки он говорит. Если следить за ребенком, который учится читать, как постепенно упражняется его зрительная память, как исподволь он приучается разбирать буквы и слова и, наконец, научается бойко читать, то видно станет, что можно, значит, научиться читать и отлично читать, не зная правил грамматики. Грамматика в конце концов есть вывод из изучения всех сложностей данного языка, грамматике можно и нужно учиться, овладев языком, грамматика есть объяснение того или иного языка, есть конечный результат овладения языком. Так ее изучение было поставлено даже в классических гимназиях по отношению к русскому языку, по отношению к тому языку, которым гимназисты владели с раннего детства. Изучение грамматики в таком виде нельзя проклинать. Наоборот, с самой глубокой благодарностью отношусь я к учителям русского

языка в старших классах, которые отлично преподавали русскую грамматику и выучили ей нас—гимназистов.

Но в отношении всех остальных языков, особенно латинского и немецкого, дело изучения языка начиналось с противоположного конца: коренное значение имело изучение грамматики. Я окончил гимназию безо всяких знаний немецкого языка. По окончании Военно-Медицинской Академии, мне пришлось потратить много времени для того, чтобы научиться читать немецкую медицинскую литературу. Ее я научился понимать. Мое незнание немецкого языка в гимназии было абсолютным. Переходя в 6-й класс гимназии, я получил переэкзаменовку по немецкому языку. Зная, что я провалюсь, я рискнул идти на уроки немецкого языка без переэкзаменовки. К моему счастью, учитель этого не заметил или не хотел заметить, и я продолжал учиться немецкому, не понимая решительно ничего. Несмотря на это, я до сих пор помню некоторые отрывки немецкой грамматики, которые нам преподавались в третьем классе. Вот образчик таких воспоминаний. Дело идет о предлогах. Мы их зубрили наизусть.

An, auf, hinter, neben, in,
Über, unter, vor und zwischen...
Zwischen mir und dir steht Kein Dritter. Kein
Dritter stelle siech zwischen mich und dich...

В старших классах я был знатоком латинской грамматики. За успехи, между прочим, в латинском языке награжден серебряной медалью. Но я окончил гимназию, решительно не умея переводить *à livre ouvert*. Знаю, что в этом отношении я от многих товарищей отставал, но о плодах классического образования могу судить главным образом по себе. Не могу сказать про себя, чтобы я был тупица, что я и не мог воспринять полезного значения «классического» преподавания. Некоторые педагоги оценивали меня несколько иначе.

Для иллюстрации сказанного сообщу следующее. В первом, втором и третьем классах гимназии я учился из рук вон плохо: единицы, двойки, даже нули были очень частыми гостями моих еженедельных «сведений». Учитель латинского языка в младших классах—Франц Францевич Раймон—милейший и добрейший старичек, жалеючи меня, ставил мне за экстемпоралэ, когда только мог, вместо двойки, три с двумя минусами. Я был счастлив, ибо все-таки тройка—не двойка,—тройка, хотя и с двумя минусами, все-таки тройка, т. е. переводная отметка, отметка удовлетворительная. Но такое счастье—получить тройку с двумя минусами—выпадало на мою долю редко. Обычная отметка была двойка, да еще с минусом. Так вот, этот Франц Францевич, симпатичнейший человек, утешал мою мать так: «Володя хороший мальчик; если он кончит гимназию, из него выйдет толк, но вся ваша задача состоит в том, чтобы он кончил гимназию. Может быть, он ее и не кончит...» Как ему удалось разглядеть в малень-

ком гимназистике человека, из которого может впоследствии выйти кое-какой толк, это его секрет, секрет опытного педагога. Но отсюда видно, что некоторые педагоги оценивали меня довольно удовлетворительно.

Я говорю: «некоторые» и говорю это сознательно. Был в гимназии такой педагог—Павел Саддокович Юрьев. Он преподавал русский язык в младших классах гимназии. Приземистый старик, как лунь белый, с круглой белой бородой, с большими очками, постоянно ругавший гимназистов: «кишечниками», «торговками», он ко мне относился без особых надежд. Заключаю об этом по следующему эпизоду: будучи в третьем классе, я провалился на русском экзамене. Мне назначили переэкзаменовку. Явился я осенью на переэкзаменовку. Павел Саддокович сделал мне диктовку. Каких ошибок наделал я в диктовке, сказать не сумею. Но как сейчас вижу фигуру старика-учителя, спускающуюся с лестницы. На встречу ему поднимался учитель русского языка 4-го класса—Трушлевич. Фигура Трушлевича не была мне видна. Размахивая моей диктовкой, Павел Саддокович громко вопрошал Трушлевича: «хотите вы принять к себе такого мерзавца?». Очевидно, Трушлевич отказался... Я остался на второй год в третьем классе. Затем, перешедши в 4-й класс, я встретился с Трушлевичем. Это был прекраснейший преподаватель не только русского, но и славянского языков. Мне лично было с ним легко и интересно учиться.

Так вот, значит, оценка гимназистика 3-го класса педагогами делалась различно: один возлагал на меня надежды, другой—считал «мерзавцем». Очевидно, не один только Павел Саддокович относился ко мне отрицательно. Как раз, когда я сидел второй год в третьем классе, со мной на второй год остался мой большой друг—Дмитрий Булах, впоследствии также сделавшийся врачом, но к сожалению уже скончавшийся от сыпного тифа. Булаха мы в классе называли «индейцем» за его темный цвет кожи, за его статную фигуру, за его лихость в драках, за его физическую силу. Булаха выгнали из третьего класса. Я чуть не вылетел вместе с ним, но как-то уцелел. Плохое ученье и шалости, шалости и двойки—вот был мой грустный удел. Чуть не каждую субботу я, получив недельные отметки, отбывал наказание—был оставляем после уроков на час или на два, ибо в моем дневнике имелись «записи» учителей—одна, две, иногда больше.

Я не стараюсь себя в чемнибудь оправдывать. Нужно думать, что я был слабо подготовлен к гимназии, потому с первого класса шел плохо, в третьем застрял и только после этого, повторив курс третьего класса, пошел более ровно. Но все-таки я утверждаю, что зубрежка грамматики является наиболее темным пятном на всем образовании, и кладет на него какой-то мрачный оттенок бессмысленного препровождения времени, бесцельного убивания памяти на такие вещи, которые не могут практически пригодиться: изучение языков шло с другого конца, чем это нужно было бы делать.

Вспоминаю старшие классы. Я чрезвычайно увлекался речами Цицерона; я не только переводил заданное, тщательно обрабатывал переводы, выучивал прежние переводы, но и составлял целое из отдельных уроков. Однако, переводить Цицерона для самого себя, читать его так, как многие читали, читать для себя—я не научился. Я очень увлекался стихами Горация, также обрабатывал их переводы, хотя, конечно, не в форме стихов, ибо стихом я никогда не владел и не владею, а в форме прозы. Но я не научился читать Горация для себя, читать то, что мне вздумается.

Думаю, что виною этому не моя малоспособность, не моя ленивость, а неправильная постановка преподавания.

Если вспомнить латинский и греческий языки, то нельзя не признать, что в читанных нами сочинениях много интересного, красивого, иногда увлекательного, остроумного. Такие классические произведения, как Цицерона, Горация, Лукиана, на самом деле интересно знать, но при чем тут зубрежка грамматики?!

Рядом с грамматикой я с отвращением вспоминаю экстемпоралэ.

Задача преподавания латинского и греческого языков должна была бы сводиться к тому, чтобы научиться читать, понимать и переводить прочитанное на русский язык. Такая задача вполне понятна, такая задача даже интересна, так как дает возможность ориентироваться в классической литературе, имеющей свои высокие красоты. Но, спрашивается, какой смысл переводить с русского на латинский и греческий? Кто же не знает, что перевод с родного языка на чужестранный является особенно трудным. Чтобы переводить на чужой язык, надо владеть им в совершенстве. Конечно, в наших гимназических переводах дело не шло о достижении совершенства, а шло исключительно о соблюдении грамматических правил. Это была своего рода «классическая» инквизиция, с практической точки зрения совершенно бессмысленная.

Кому придет когда-нибудь в голову переводить чтобы то ни было на мертвые латинский или греческий языки?!.. Никому—за это можно ругаться. Если в 18-м столетии подобное знание латинского языка было необходимо для ученых, ибо ученые трактаты, в частности докторские диссертации, писались на латинском языке, как научном международном языке, то в 19-м столетии латинский язык, как международный научный язык, уже умер. Не было ни одной причины к тому, чтобы заниматься его воскрешением!

Когда я пишу эти строки, меня начинает брать раздумье: может быть, я на самом деле мало способен к лингвистике?.. В 18-м и в начале 19-го столетий большое количество русских врачей писали обширные диссертации на латинском языке, значит, овладевали этим языком. Я же не овладел... Не овладел до такой степени, что я решительно не понимаю латинского изложения диссертаций. Может быть, если бы я посидел за раз-

бором, латинским языком написанных, диссертаций, я бы в конце концов понял их содержание. Но свободно читать такое сочинение, к сожалению, не могу.

Может быть, я ненавижу «классическое» образование потому, что я изучал латинскую грамматику с рвением, знал ее, а между тем с латинским языком так и не управился. Но и сейчас, рассуждая совершенно объективно, не вижу от такого изучения языка никакой пользы. Мне представляется гораздо интереснее и полезнее читать и понимать написанное, не зная грамматики, чем знать последнюю и ничего не понимать в читаемом. В последнем положении я оказывался на протяжении всего гимназического курса, а потому продолжаю ненавидеть «классическое» преподавание классических языков, к которым был причислен в 3-й гимназии и язык немецкий.

Более тупого преподавания, чем то было преподавание немецкого языка, я себе вообразить не могу. На самом деле: я представляю себе сейчас самого себя гимназистом 2-го класса. Я не могу согласиться с тем, что я не учил уроков. Нет, я их не только учил, я их зазубривал, и ничего не выходило. Бывало, мать вечером спрашивала заданные уроки. Я шел ей отвечать, будучи уверен, что я выучил. Оказывалось на проверку, что я ничего не знал. Начиналась обычная канитель. Из столовой, где спрашивала меня мать, я шел через маленькую гостиную в свою каморку, шел очень медленно. Я останавливался на долго у пьянино и бесцельно перебирал клавиши. Я убеждал мою мать, что «урок выучил», она с этим не соглашалась. Я опять учил, опять был спрашиваем, и кое как, наконец, добирался до постели.

На следующий день урок немецкого языка. Меня вызывает учитель и спрашивает грамматику. Оказывается, я ее не знаю. Учитель ставит мне 0. Кажется, достаточно: он убедился, что я ничего не знаю, зафиксировал свое убеждение условным знаком... Кажется, он мог бы успокоиться!.. Зачем же за тот же самый час вызывать меня вторично, зачем же ставить мне второй 0? Ведь не может же учитель не понимать, что, если я не знал урока в начале часа, я не могу его знать в конце часа?.. Нули и единицы переполняют журнал, злоба и ненависть, бессильные, беспомощные, врезаются в память гимназистика и живут с ним всю жизнь. Вот результаты «классического» образования!..

Между тем я не могу относиться с злобной памятью ко всем своим наставникам. Я утверждаю, что учителя немецкого языка в младших классах были невыразимо тупы... И это странно: казалось бы, учителей немецкого языка можно было бы найти в С.-Петербурге. Как будто нарочно, их не оказывалось. Мне приходит в голову такая мысль: может быть, учителя немецкого языка ко мне относились так безжалостно потому, что у меня фамилия немецкая. «Как», рассуждал, может быть, педагог: «этот не-

мецкий мальчик ничего не понимает по немецки?!.. Он должен знать свой «родной» язык, надо его заставить знать «родной язык!..» Может быть, это было так, но и то не совсем... Мои приятели, носящие настоящие русские фамилии, страдали также, как и я: две единицы, а то и три единицы за один час, в перемежку с нулями и двойками, уравнивали их печальное положение с моим.

Совсем иное впечатление оставили у меня учителя латинского и греческого языков. Это были гуманные люди, это были люди, входившие в положение несчастного гимназиста, который должен изучить прежде всего грамматику мертвых языков. Я уже говорил о Франце Францевиче Раймоне. Милейший, добрейший, чрезвычайно мягкий, при шалостях детей воздевавший глаза к небу, складывавший руки на полненьком животике и говоривший тоненьким голосом: «и ти, мой Боже...»

Грозой гимназии был учитель латинского языка старших классов — Эрнест Эрнестович Кесслер. Это был человек небольшого роста, с густыми, щеткой стоявшими, с проседью, черными волосами, с густо заросшими бородой щеками, с черными волосами на маленьких кистях рук; он говорил густым басом, строго смотря через очки и поверх очков. «И что вы там все разговарываете», вопрошал он сурово шептавшихся на задних скамейках гимназистов. Грамматика Кесслера считалась чем-то особенным. По малой грамматике обучались и мы, грешные. Для Кесслера знание грамматики, знание пройденного стояло на первом месте. Как раз упомянутыми знаниями я отличался. Ко мне Кесслер относился чрезвычайно дружелюбно. Когда я, бывало, отвечал, стоя у кафедры, то всегда выжидательно смотрел на его лицо, желая уловить на его спокойной физиономии признаки одобрения или неодобрения, дабы в последнем случае во время отказать от своего грамматического предположения. Кесслер долго терпел, но как то раз спросил меня: «ну, и для чего вы на меня так пристально смотрите?» Я промолчал в ответ. Отвечать было нечего.

Если Раймон был опытный педагог, умевший различать в мальчиках их способности, то Кесслер меня удивил одним замечанием.

Мы сдавали выпускной экзамен. В большой белой зале с колоннами нас разместили на отдельных деревянных столиках, чтобы никто не мог помочь другому выскочить из беды предстоящего перевода. Уловка со стороны педагогов очень серьезная, но для нас она была не так страшна, ибо экзаменационная латинская работа была нам известна. Кое кто из товарищей пробрался в министерство народного просвещения, каким-то образом достиг до сокровенных экзаменационных тем, получил латинскую тему и привез ее на товарищеское предварительное рассмотрение. Говоря просто, мы знали тему и знали, конечно, как с ней справиться.

Для вящего предотвращения списывания, Кесслер гулял между столиками, подходил к отдельным ученикам, иногда давал советы, присматри-

вался, кто и что пишет. Уверенность за перевод, понятно, значительно облегчала работу. Тем не менее работа шла без спешки, дабы не вызвать подозрений. Подходит Кесслер и ко мне. Посмотрев, как я пишу, он вдруг говорит мне: «ведь вас учила писать женщина—не правда ли?» Я должен был согласиться: на самом деле первые шаги моего писания были преподаны мне моей бабушкой. Кесслер каким-то образом по почерку распознал первоначальный способ обучения письму.

Расположение Кесслера ко мне сказалось особенно при устном латинском экзамене. Я шел на серебряную медаль. Однако, на устном экзамене гимназисты переводили *à livre ouvert*. В таких переводах я был, как и упоминал, совсем слаб, потому экзамен выдержал плохо. Чтобы исправить дело, Кесслер убедил экзаменационную комиссию вызвать меня второй раз (это большая поправка), дал мне заведомо старый перевод, зная, что пройденное и переведенное в классах я отлично знаю, и выставил пятерку. Только благодаря такому отношению, мне удалось получить серебряную медаль, а благодаря этому поступить в Военно-Медицинскую Академию, куда принимали по конкурсу медалей. Значит, в конечном итоге я Кесслеру обязан своим правом на получение образования в Военно-Медицинской Академии. Право, для меня в высокой степени драгоценное, право, которое предопределило всю мою дальнейшую судьбу.

Из учителей греческого языка память с удовольствием останавливается прежде всего на Петре Аполлоновиче Сидорове. Он только что кончил университет. Это был цветущий, румяный, веселый, умный молодой человек. Яркий блондин, с густыми, выщипанными белокурыми волосами на голове, с рыжеватой бородкой и усами, с голубыми глазами, он умел из своего предмета не делать страшилища. Некоторой противоположностью Сидорову являлся учитель греческого языка в старших классах. Забыл сказать, что Сидоров преподавал греческий в 4-м классе. Бюриг, как говорило предание, в свое время был страшен. К периоду моего учения он уже несколько устал, обрюзг, ему надоело быть требовательным к грамматике. Может быть, он и сам убедился в бесполезности такого преподавания, но нам он преподавал греческий учтиво. Мы читали Лукияна-Хаарона—вещь, на самом деле очень интересную.

С бритой бородой, с небольшими седеющими усами, довольно полный, с кислой гримасой на лице, в очках, цедящий презрительно слова между зубами, Бюриг лениво вел свои часы, не беспокоя учеников особыми строгостями. Он начинал преподавание с 6-го класса. За то в 5-м классе неистовствовал Кеммерлинг-младший.

Надо сказать, что в гимназии было два Кеммерлинга: старший был воспитателем на младшем отделении, т. е. для первого и второго классов, и слыл под названием «сыча». Младший, Кеммерлинг-сын, преподавал греческий в 5-м классе. Кеммерлинг-отец был уже старик. Несколько

сведенный на правую сторону, с пробритым подбородком и седыми баками, с орлиным носом, он ходил по рекреационному залу, пресекая по боища между гимназистами, быстро вспыхивавшими в период 5 и 10-минутных перерывов между занятиями. Он врвался в гущу дерущихся гимназистиков, схватывал костлявой рукой одного из видных бойцов и тащил его в карцер, в лучшем случае—становил к стенке. Раздражительный старик исправно исполнял свои полицейские обязанности. Так как одному «Сычу» было трудно управиться с мальчишками, то ему в помощь по зале прохаживался «Филин». Фамилию «филина» я уже не помню. Это был также пожилой человек, также с орлиным носом, но на его лице висела длинная, клином, борода. «Филин» был, несомненно, покойнее «сыча». Его движения никогда не отличались быстротой: не помню, чтобы «филин» тащил какогонибудь мальчика за руку к месту наказания, чтобы он производил налет на группу дерущихся сорванцов. Руки его почти всегда покоились в карманах штанов, фалды виц-мундира спокойно висели сзади, тогда как у «сыча» фалды прыгали в восторге от своего хозяина во все стороны.

Если Кеммерлинг-отец был быстр в решениях и поступках, то его сын просто неистовствовал с греческим языком. Я бы затруднился описать фигуру Кеммерлинга-сына. Это было что то небольшое, невзрачное, что то шершавое и лохматое, украшенное малинового цвета носом и очками. Его уроки начинались в 9 ч. утра, т. е. были самыми ранними уроками. В зимнее время в эти часы полутьма. В классе зажжены керосиновые лампы, свисающие с потолка, с абажурами. Гимназисты полусонные, напуганные, не шумят, а только шепчутся.

«Урок начинается...
Кеммерлинг является;
На кафедру садится
И начинает злиться»...

Он преподавал Гомера и заставлял учить стихи Гомера наизусть. Начиналось побоище... Почти весь класс перебивает у кафедры за один час. Единицы и двойки сыпятся, как из рога изобилия. Кеммерлинг шипит, визжит... Счастье, когда раздастся звонок к «перемене». Неспрошенные облегченно вздыхают, зная, что черед их наступит на следующем уроке. Обязанность Кеммерлинга, нужно думать, состояла в том, чтобы заставить гимназистов знать наизусть Гомера. Преподавание Гомера, т. е. чтение и переводы вел в старших классах сам директор Гимназии—Лемониус. Гимназисты очень просто изображали графически его фамилию: рисовался лимон, рядом с рисунком с правой стороны ставилась буква «и» и затем изображался ус.

Лемониус—это фигура замечательная. Прежде всего, нужно было

думать, что он вечен. Нельзя было найти долгое время ни одного, окончившего 3-ю гимназию, который бы не учился при Лемониусе. В мое время это был уже глубокий старик. Довольно высокого роста, прямой, как палка, с совершенно белыми, длинноватыми волосами, окаймляющими изрядную лысину, с гладко выбритым подбородком и усами, с белоснежными баками, с синевато-красным большим носом, при очках, весь пропахнувший сигарным дымом, с пожелтевшими от курения сигар пальцами, он сравнительно бодро передвигался. Давая уроки, он никогда не пользовался кафедрой. Он садился на стул перед средней из переднего ряда парт, раскладывал большое издание Гомера с примечаниями и таким образом проводил свой час, спрашивая заданное. Гимназисты отлично учитывали его мирное настроение: процветали подстрочники, уроки готовились следовательно, самым примитивным образом. Был удовлетворен Лемониус, были удовлетворены гимназисты. Уроки шли мирно и безмятежно. Нечто, совершенно противоположное Кеммерлингу-сыну.

Я изобразил, на сколько мог, всех преподавателей классических наук. Перейду к другим учителям. Центральной фигурой преподавания математики именно для моего класса является Владимир Васильевич Попов. Сильно сутуловатый, с поникшей головой, рыжий, с большой лысиной, с лопатообразной бородой, конечно, в очках, он шел медленно по коридору, и руки его как то беспомощно болтались, обе сразу, в такт шагу. Они как то пассивно содрогались во время ходьбы. Как будто были безжизненным придатком к еще живущему телу. Попов сильно картавил. Мне лично чрезвычайно нравились его простые и вразумительные объяснения алгебры, геометрии, тригонометрии и физики. Бывало, я записывал его объяснения, и после этих записей так легко все воспринималось. Говорят, он не хватал звезд с неба... Может быть, это и так, но он, видимо, вкладывал всю душу в объяснение преподаваемого, и объяснения выходили наглядными, вразумительными и воспринимаемыми.

С Поповым постоянно повторялась одна и та же история. Нужно сказать, что в наше время в каждую четверть выставлялась «четвертная» отметка, которая называлась гимназистами «месячной», как будто отметка ставилась, как вывод за месяц. Естественно, гимназисты интересовались отметками. Некоторые учителя читали в классе «четвертные», и эти минуты были чрезвычайно торжественными. Любители—в том числе и я—вели списки четвертных всего класса. Меня интересовало сопоставлять все эти пятерки, четверки, тройки и двойки, следить по ним за развитием успехов товарищей. Так вот, когда приближалось время выставления отметок за четверть, к Попову обязательно приставали: «Владимир Васильевич, прочтите месячные»... Попов поднимал пальцами обеих рук очки, протирали глаза и отвечал: «месячных я не ставлю, а четвертных не читаю»... Гимназисты знали, что каждый раз последует тот же самый ответ, и тем

не менее опять и опять, и по всем, нужно думать, классам, повторялась такая история.

Думаю, что в конце концов можно потерять терпение и послать надоедливых мальчишек к чорту. Так нет же... Самым спокойным, невозмутимым голосом Попов все отвечает: «месячных я не ставлю, а четвертных не читаю»...

Из учителей русского языка с собой любовью останавливаюсь на Трушлевиче. Еще молодой, худощавый, с каштановыми волосами, закинутыми назад, с красивыми усами, с тонким, правильным носом, с умными небольшими карими глазами, не вооруженными очками, с гладко выбритым подбородком, с медленной поступью, с медленно произносимыми приятным басом словами, он преподавал вразумительно. Сидоров, Трушлевич—это было новое веяние, новые люди, новое преподавание, простое и ясное, легко усвояемое и интересное. В старших классах (7-й и 8-й), у нас появился новый учитель русского языка. Фамилию его я не помню, но зато отлично вижу его физиономию. Довольно высокого роста, с выюющимися каштановыми волосами, закинутыми назад, с близорукими, украшенными очками, красивыми большими глазами, с каким то хищническим выражением глаз, постоянно блестящих, с небольшой курчавой русой бородой, с небольшими усами,—просто красивый мужчина, но с отвратительными пальцами с изгрызанными ногтями, постоянно загадочно улыбающийся, он производил какое то странное впечатление. В нем было что то особенное, что то загадочное; как будто, место учителя было для него случайностью, как будто он о чем то мечтал и мечтал не об учительстве... Он хорошо преподавал, но все таки к нему у меня возникла какая то необъяснимая неприязнь. Не могу отдать себе отчета, в чем тут дело, но что то в этом человеке было несимпатичное.

Было бы, может быть, слишком утомительным останавливаться на всех других учителях. Однако, пройти мимо учителя истории—Геннинга и мимо учителя географии (не помню к сожалению его фамилии) кажется невозможным. Геннинг был рыжеватый господин, тщательно следивший за своей наружностью, тщательно подстригавший свою бородку клином; обладатель приятного баса и изрядного кадыка, он как будто иногда хотел уйти в свой кадык. Поглаживая свою бородку, прижимая подбородок к шее и произнося густым басом «да-с», он положительно уходил в свой кадык. У Лемониуса любимым словом было «эм-ме-нэ», что, нужно думать, должно было значить «именно». С «эм-ме-нэ» начиналась любая фраза Лемониуса. Со слова «да-с» начинал свои повествования Геннинг. А он любил повествовать. Он редко спрашивал. Явившись в класс, Геннинг начинал рассказывать историю, как бы читал лекцию, прохаживаясь взад и вперед перед первым рядом парт. Гимназисты с интересом слушали, иногда записывали. Геннинг, видимо, любил говорить, любовался своим изложением.

Может быть, он готовился к преподаванию в высшей школе... Может быть, его больше привлекала лекционная система преподавания, которой он и пользовался. Не могу сказать, чтобы своими уроками-лекциями Геннинг будил какие либо особые мысли, но излагал он хорошо, иногда даже захватывая аудиторию гимназистов, относился к гимназистам доброжелательно—и его любили.

Учитель географии был очень интересен. Небольшого роста, щеголь, с маленькими завитыми кверху черными усами, с бритым подбородком, он плавно ходил по классу, переваливаясь с ноги на ногу. Нужно сказать, что в то время была мода мужскую обувь иметь без каблуков; за то носки штиблет делались крайне узкими, заостренными в виде пики и несколько загнутыми кверху. Так вот, учитель географии всегда носил именно такие штиблеты. Я сознаюсь, любовался на его шикарные штиблеты, изучал его походку и по возможности подражал ему... Интересно было ходить в перевалку, не чувствуя под собой каблуков, интересно было смотреть, как вытянутые носки штиблет не прикасаются к полу и задорно устремляют свой носик к небу...

80-ые годы были для гимназистов тяжелыми годами. Свинцовая рука министра народного просвещения давила школу. Шелгунов предсказывал, что из восьмидесятников ничего не выйдет. На этот счет имеется даже его специальная статья. Может быть, из «восьмидесятников» не вышло столько, сколько могло бы выйти, при других обстоятельствах обучения. Правительственный классический режим забивал детскую и юношескую мысль. Прилагались старания к тому, чтобы не дать возможности думать. В 5-м или 6-м классах гимназии мы с товарищами затеяли издавать журнал. Журнал пополнялся статьями моих одноклассников; дома я журнал переписывал в единственном экземпляре, затем журнал ходил по рукам. Это был самый безобидный журнал, не содержащий в себе ничего политического. А правительство страшно боялось политики и преследовало ее. И то наш невинный журнал подпал репрессиям. № журнала был у одного моего приятеля-пансионера. Один из воспитателей подсмотрел за журналом, конфисковал его у приятеля и представил по начальству. Ясное дело, из этого ничего серьезного для нас не вышло, но все-таки издание даже такого журнала пришлось прекратить.

И так, правительственная система была направлена к тому, чтобы задушить даже право мыслить у гимназистов. Зубрежка грамматики, очевидно, в программе забивания и уничтожения мозговой работоспособности, была на первом плане. И тем не менее мысль развивалась. Пускай, робко, медленно, но она текла. И, конечно, причиной того, что мысль текла, что потом из нас—гимназистов «восьмидесятников» хоть кое что вышло, заключается в педагогах. Они были умнее своего правительства, они, даже такие люди, как Кесслер—создатель грамматики, смягчали правительствен-

ный гнет; как в большинстве опытные педагоги и умные люди, они осторожно шли с детьми и юношами к лучшему будущему, развивая мозг и внушая любовь к науке. Большое им за это спасибо! Только некоторые, особенно рьяные и тупые люди, неистовствовали. Но это были исключения, а исключения всюду есть и не могут не быть.

3-я С.-Петербургская классическая гимназия, самая классическая из классических, благодаря умелому подбору умных преподавателей, давала чуть не лучшее образование и давала учеников, которые, после окончания гимназии, умели мыслить и работать. Гимназия многим сохранила самое ценное в деятельности человека—умение мыслить. При том гнете, который существовал, это было главным. Главное гимназия сделала. Пускай то же самое она сделает и во втором столетии своего существования, но с лучшим результатом!

— — —

Листки из воспоминаний.

Когда теперь, через 29 лет после окончания гимназии, вспоминаешь время пребывания в ней от 1885 до 1894 г., то останавливаешься на следующем. Годы эти, все знают, какие: вся русская жизнь замерла и для школ, конечно, время было суровое. Министерство, сообразно с общим направлением, мало заботилось о «сердечном попечении» и более обращало внимания на насаждение дисциплины и на внедрение в нас латинских и греческих правил грамматики.

Неудивительно поэтому, что нелестные отзывы преобладают в общей массе воспоминаний о гимназиях того времени.

В этом отношении я представляю исключение, так как у меня нет недоброго чувства к моей тогдашней *alma mater*. Объясняю это не моим незлобием к прошлому, а счастливым стечением обстоятельств: во первых—хорошими традициями гимназии, а во вторых—хорошим составом преподавателей.

Если отделить высшую политику и циркулярные предписания министерства, нивеллирующие гимназии всей России, от внутренней, индивидуальной жизни нашей гимназии, то можно положительно сказать, что учебное и воспитательное дело обстояло в ней много лучше и гуманнее, чем можно было ожидать при существовавших условиях. Учебное дело, правильнее, учеба была поставлена хорошо, т. е. программу выполняли в точности, кроме одного предмета VIII класса, космографии. Говорили, что В. А. Попов, преподаватель космографии, далее тридцатой страницы учебника сам не знает. Каждый педагог учил в меру своих сил и приобретенных знаний, но ни один из них никогда не пытался, хотя бы намеком,

повлиять на наши политические и общественные взгляды. Отмечаю это потому, что уже через 5 лет после окончания гимназии мне приходилось встречаться с молодыми преподавателями, тоже петербургскими, которые отваживались на уроках так или иначе приподнимать завесу запретного и не скрывать от учеников своих политических симпатий, неразрешенных и неодобренных министерством.

В дисциплине не было ни чрезмерной строгости, ни боязливых поправок, доводящих нередко до распушенности. И вот этот «умеренный режим» я ставлю за счет директора В. Хр. Лемониуса. Очевидно, такой порядок был им заведен за много лет назад, во дни его директорской молодости, совпадавшей с началом эпохи великих реформ, и таковым держался, по инерции, до наших дней.

Состав преподавателей, как я уже упоминал, был безусловно удовлетворительный, за исключением «немцев»; их было три и все они, как преподаватели, ничего не стоили. Во всяком же случае половина преподавателей были и хорошие люди и хорошие педагоги. Назову несколько фамилий выдающихся преподавателей, как-то: Геннинга, Кесслера, Суслова, Борисова. Другие были послабее, но тоже не плохи. Даже Вл. А. Попов, о котором в ученической среде были резко отрицательные отзывы, имел свои достоинства, как хороший преподаватель физики (слушая его объяснения можно было не заглядывать в учебник), и в высшей степени исправный человек. За все время, что он преподавал мне физику, т. е. в течение 3-х лет, он пропустил два, три урока и только потому, что был присяжным заседателем в суде. Ученики же считали его малоосведомленным в своей специальности *) преподавателем, человеком мелочным, недалеким и трусливым перед начальством. Думаю, что такой состав преподавателей был случайным и отнюдь не отношу этого к заслугам Лемониуса, который в мое время, будучи «ветх деньми», утратил значительную долю умственных сил и пережил свою былую славу. Но в семье, как говорится, не без уroda, и у нас в большой педагогической семье были свои монстры. Первым из них, со всею очевидностью, надо назвать А. Анд. Кеммерлинга, который оставил по себе на всю мою жизнь, в истинно гоголевском смысле, юмористическую память. Наиболее выпуклые факты на ленте моих воспоминаний о гимназии связаны, к сожалению, именно с Кеммерлингом. Говорю, к сожалению, потому так, что хотелось бы привести и светлые воспоминания о наших любимых и уважаемых преподавателях, но память сохранила о них только общее представление без отдельных фактов. В этом представлении Кесслер является всегда строго корректным; Геннинг отличался внутренним и внешним благородством; Борисов—мягкостью, Павловский—отменной деликатностью и так далее. Так, перехожу к Кеммерлингу.

*) В. А. Попов преподавал математику, физику и космографию.

Это был не умный и неуравновешенный человек, которого и близко к детям подпускать было нельзя, а между тем он более десятка лет был преподавателем и классным наставником именно младших классов. И здесь всецело вина Лемониуса. Кеммерлинг можно было перевести в старшие, или хотя бы в средние классы, если казалось жестоким удалить его вовсе из гимназии, что он вполне заслуживал. В старших классах он был безвреден, только бесполезен. Старшие ученики сумели бы постоять за себя; но малыши, отданные ему под руководство, ничего не могли предпринять, кроме слез, молитв и постоянного трепета перед грядущим классным наставником. Кеммерлинг не щадил ни самолюбия, ни человеческого достоинства ребятишек, был придирчив и жесток. Он пугал ребят своим страшным криком, обращавшимся на высоких нотах в визг, своим багровым от крика, прыщеватым лицом, своими угрозами и наказаниями. Я приведу два факта, которые случились на уроках Кеммерлинга в 1-м классе приходящих в 1886 г.

Кеммерлинг вызвал ученика Т. отвечать урок. Вероятно, мальчик отвечал плохо, и Кеммерлинг послал его на место, поставив в журнале единицу. В горе и отчаянии мальчуган громко плакал. Кеммерлинг приказал ему прекратить плач, но тот не мог и продолжал плакать. И что же сделал рассерженный Кеммерлинг? Он из единицы сделал 100, поставив еще два нуля за то, что плачущий мальчик не мог повторить того, что говорилось далее на уроке. Тогда совершенно исступленный от горя и плача Т., вскочил с места, подбежал к кафедре и... упал на колени перед сидящим с закинутою ногою на ногу Кеммерлингом с мольбою о пощаде. Я далее не помню, что было, так я был потрясен разыгравшейся сценой; кажется, Кеммерлинг вычеркнул два нуля. Он и сам, вероятно, испугался. Зрелище, как видите, назидательное для ребятишек!

Второй случай. Ученик Г., ответив хорошо урок, идя от кафедры на свое место, высунул язык. Кеммерлинг, заметив это, заставил Г. стоять у стенки с высунутым языком до конца урока. Когда Г. прятал язык, Кеммерлинг грозил ему наказанием, и бедняга-шалун должен был опять показывать язык. Еще, не в счет, уже о самом себе. Кеммерлинг задал нам классную работу—просклонять слово *грех* с русским значением. Забыв, что мы учили это слово и оно записано в моем *Vocabularium*, сл., я должен «даже во сне» знать его значение, я обратился к Кеммерлингу с вопросом, «что значит *грех*?» «Вы должны знать»—последовал резкий ответ. По моей глубокомысленной догадке, вероятно, основанной на созвучии и начертании, я решил, что *грех* значит по-русски грецкий орех. И с таким значением просклонял *грех* по всем падежам и числам. Когда же Кеммерлинг возвратил работу обратно, я увидел, что вся моя работа перечеркнута и под ней стояла жирная синяя единица, несмотря на то, что склонение было правильно. Оказалось—вместо «грецкого ореха» надо было

склонять «стадо». Дома, долго мне напоминали этот случай. Отец постоянно при моих житейских промахах говорил: «эх, ты grex, gregis—гречкий орех!» Этих фактов, я думаю, достаточно для характеристики Кеммерлинга, как преподавателя и человека.

Ребятишки задумывались: чем же объяснить такую «злость» Кеммершпока, как прозвали его, и останавливались на мысли, что Кеммерлинг мстит за своего отца Анд. Дан. Кеммерлинга, воспитателя пансиона, которого жесточайшим образом травили ученики во время перемен. Подняться во время большой перемены на младшее отделение в дежурство «сыча» это было то же, что опуститься в дантов ад. Этот старший Кеммерлинг со слезами на глазах жаловался Кеммерлингу младшему на бесчинства, учиняемые маленькими мучителями. И Кеммерлинг-сын вымещал обиды отца на нашем I-м классе приходящих, отданном ему на поток и разграбление, т. ч. наш класс являлся козлом отпущения за грехи всего младшего отделения. А безнаказанность Кеммерлинга после всех его издевательских экспериментов объясняли поддержкой директора и вообще господством у нас в гимназии немцев. Вот каким путем прививаются иногда националистические чувства!

Для учеников не было секретом то, что на Кеммерлинга поступали жалобы не только директору, но и попечителю. Но на нем это нисколько не отражалось и в течение нескольких лет он ни на иоту не изменился. И, вероятно, эта безнаказанность и неисправимость Кеммерлинга на ряду с большим наличием немцев в составе учителей и создало веру о немецком засилии в педагогическом совете. Как иллюстрацию этого засилия, ученики передавали следующий факт, происшедший будто бы на одном из очередных педагогических советов. Краткая передача его такова. Бюриг, преподаватель греческого языка в старших классах, человек грубый и высокомерный, великолепно охарактеризованный и описанный в книжке А. Яроша «До Университета», по какому то поводу с обычной ему наглостью сказал: «я рад, что служу в таком учебном заведении *), где русских только два: поп и диакон». В ответ на эту наглую выходку, молодой преподаватель русского языка, П. И. Ветвеницкий ринулся на Бюрига с кулаками, но был перехвачен его братом, «батюшкой» К. И. Ветвеницким, который с криком: «Петя, Петя, Петя!» успел схватить его за фалды вицмундира. Тут подбежали другие, и положение, грозившее дракой, кончилось обменом «любезностей». Вскоре после этого случая П. И. Ветвеницкий был переведен куда-то инспектором. Этот перевод поставили в связь с происшедшим на совете. Говорили, что в гимназии ему оставаться неудобно, но и перевести его так просто, без повышения, тоже нельзя, чтобы это не носило характера наказания и чтобы происшедшее не по-

*) Училище Правоведения.

лучило огласки. Да и «батюшка», имеющий связи, вступился бы за обиженного брата. Других последствий этот случай не имел. Директор сохранял свой обычный величественно-непроницаемый вид; Бюриг продолжал также грубо-высокомерно третировать старших учеников, а Кеммерлинг тиранил малышей. Не все верили в действительность этого факта; вероятность его была сомнительна: для произнесения в совете подобных слов нужна не только наглость, но и смелость; да и от скромного П. И. нельзя было ожидать такого бурного проявления своего патриотизма. Но ученикам хотелось верить, что было так.

Позволяя себе привести эти «не юбилейные» воспоминания из жизни нашей гимназии, я имею в виду не вызвать только снисходительную или горькую улыбку, а посылить обратить внимание на то, как взаимоотношения учащихся и учащихся переломлялись тогда в сознании учеников и какого рода «легенды» могли создаваться на этой почве.

В. Страхович.

— ... —

Памяти Константина Михайловича Семенова.

«Еще несколько минут и могила на веки скроет от нас прах дорогого усопшего. В такие мгновения является неудержимая потребность бросить последний взгляд на гроб и сказать последнее прости!»

Таковыми словами я начал мою речь на могиле К. М. в день его похорон, 5-го июня 1921 г. Немного не дожил он до векового юбилея нашей школы, той школы, которой он отдал лучшие годы своей деятельности и оставил неизгладимый след в ее жизни и работе. О покойнике принято говорить только хорошее или ничего, и это условие нередко ставит близких и знавших его в трудное положение. Мы же находимся в этом отношении в исключительно благоприятных, счастливых условиях, ибо вся жизнь К. М. была сплошным добром. Мы думаем, что у него не было не только врагов и недоброжелателей, но и людей, относившихся к нему безразлично. Уже первое впечатление, первая встреча неудержимо располагали к нему, а в дальнейшем эти отношения неизбежно переходили в дружбу и в самую искреннюю любовь.

Да иначе и быть не могло. К. М. был человек кристальной души, воплощенная гуманность, смирение, кротость; человек, который готов был помочь каждому и всем, что только было в его распоряжении. Такие высокие душевные качества, конечно, были заложены в самой природе К. М., но многое здесь явилось и результатом жизненной школы. А она была трудна и тяжела.

К. М. родился в многолюдной семье бедного чиновника петербургского почтамта, и с самого раннего детства ему пришлось испытать не мало разнообразных лишений, и даже рано стать деятельным помощником отцу и матери в добывании средств к существованию. И не смотря на все лишения и препятствия, жажда знаний, стремление к свету науки помогли К. М. побороть все эти трудности, и он заканчивает среднюю школу, поступает в университет на физико-математический факультет и оставляет его со степенью кандидата.

Перед К. М. открывается широкая дорога общественной деятельности. Он поступает воспитателем и преподавателем математики в петербургский учительский институт, затем в бывшую гимназию Мая, а в 1892 году переходит в нашу школу, оставив занятия в других учебных заведениях, и отдает ей одной последние долгие и лучшие годы своей деятельности.

Трудясь неустанно над саморазвитием, К. М. вырабатывается в талантливого преподавателя, которого одинаково ценили как мы, его товарищи, сослуживцы, так особенно, учащиеся, среди которых он пользовался большою любовью не только как прекрасный учитель, но и как горячий защитник их интересов во все трудные моменты школьной жизни.

Но пытливая мысль и избыток сил К. М. не удовлетворялись деятельностью только в качестве учителя математики средней школы, и он отдает свои досуги разработке некоторых вопросов из области высшей математики. Эти его работы обращают на себя внимание людей науки, которые дали о них крайне лестные отзывы; к числу таких ценителей принадлежал проф. Успенский, настойчиво поощрявший К. М. продолжать работы в избранной специальности в виду возможной перемены в его педагогической деятельности. Отличаясь поразительной скромностью, он умалчивал об этих своих занятиях, и мы узнали о них только после его смерти, разбираясь в его архиве.

Но эти разнообразные занятия в области математики, очевидно, не вполне удовлетворяли К. М. Сухие цифры, числа без конца, теоремы, аксиомы не могли целиком полонить его, и он ищет отдыха для души, для своей художественной, поэтической натуры, какою он несомненно обладал,—в области литературы, поэзии. Он изучает литературу как русскую, так и иностранную и достигает в этой работе прекрасных результатов. Было очевидно, что работа в этом направлении не была простой эрудицией, а органическим усвоением и глубоким переживанием. К. М. нередко удивлял нас, приводя на память, по разным поводам, целые поэтические и прозаические произведения различных авторов, невольно смущая наших присяжных словесников.

Такое глубокое проникновенное усвоение мировой литературы не могло не отразиться на поэтической натуре К. М., и он сам пишет разнообразные произведения, с частью которых временами и знакомит

нас по тому или другому поводу. Это были стихи по поводу разных событий и на случаи внутренней жизни школы: по случаю праздников годовщин основания гимназии, юбилей товарищей-сослуживцев, проводов уходящих со службы и т. п.

В нашей школе имеется особая книга *Liber Aureus*, в которой заносятся наиболее выдающиеся события в жизни школы. Эта «Золотая книга» за время ее существования, начиная с 1904 года, на три четверти заполнена стихами К. М. и дает таким образом поэтическую летопись выдающихся событий в жизни 3-й гимназии. Приведем некоторые из этих произведений К. М.

В конце мая 1907 года гимназию покинул преподаватель латинского языка, Франц Францевич Райман, после 35 лет непрерывной педагогической деятельности. По этому поводу товарищами-сослуживцами был устроен прощальный ужин, во время которого Ф. Ф. была поднесена фотографическая группа всего педагогического состава школы, говорилось много душевных речей, выражавших искренние чувства любви к этому прекрасному человеку и учителю, а К. М. произнес следующее стихотворение:

«У нас в горах, на родине моей... *)
Вот те слова, что с уст его слетали
Исполнены застенчивой печали...
«У нас в горах, на родине моей...»
Но не в горах запас души своей
Он раздавал так щедро, не в отчизне,—
Провел он здесь, в равнине лето жизни,
Дождлся здесь своих осенних дней.
Уходит он, и в сердце тайный страх,
Что с ним у нас одна лишь связь отныне:
Средь гор родных вздохнет он о равнине,
А мы вздохнем в равнине о горах.

Это стихотворение было тут же переведено на чешский язык Ири-нархом Николаевичем Половинкиным, преподавателем русского и латинского языков в 3-й гимназии, магистрантом при петербургском университете по кафедре славянских наречий.

В 1908 году, в день основания гимназии, Ф. Ф. вспомнил о ней и, поздравляя бывших своих товарищей-сослуживцев, между прочим, писал: «Средь гор родных вздохнет он по равнине». Сегодня я мыслью среди вас, трудившихся вместе со мною на борозде, пролегающей чрез петербургскую 3-ю гимназию. Дай Бог дождаться вам всем радостных плодов благородных ваших трудов!..»

*) Ф. Ф. Райман был родом чех из с.-в. Моравии, от подножия Бескид.

В ноябре 1909 года 3-я гимназия праздновала 25-летний юбилей Степана Осиповича Цыбульского *). За ужином, после поднесения подарка и многих речей, К. М. приветствовал юбиляра следующим стихотворением:

Коллега дорогой, друг древности прекрасной,
Знаток красы пленительной и ясной,
Приветствуя тебя, но не могу облечь
Я в формы древние приветственную речь:
Познавья в классиках мои, увы, убоги,
Хотя и помнятся мне кой-какие боги
Да мифов пять иль шесть,—как видишь, дело швах:
Так мне-ли говорить о мифах и богах?!
То надлежит тебе,—свидетель в том Юпитер!—
Тебе-бы в Риме жить, а ты попал к нам в Питер!
Душой восторженной ты нашу молодежь
К классической красе насильственно ведешь;
Она упорствует, и твой восторг ей странен:
Там нужен-ли Гомер, где торжествует Санин?
Привычно огорчась за милый свой кумир,
Опять уходишь ты душой в античный мир.
Мелькают образы Паллады и Зевеса...
И вновь берешься ты с любовью за «Гермеса» **)
Под мощным действием каких-то дивных чар
Сумел ты сохранить свой юношеский жар...
Резвятся по Неве на солнышке дельфины,
И там, где Доминик, пристроились Афины ***).

Составление росписания уроков — одна из трудных задач в жизни средней школы, так как при этом необходимо примирить интересы школы и преподавателей, вынужденных работать в разных учебных заведениях, для которых дорог каждый час утреннего учебного времени. Эту сложную задачу несколько лет исполнял в 3-й гимназии преподаватель Иван Михеевич Гордеев, которому благодарные товарищи-сослуживцы поднесли подарок, причем К. М. прочел следующее стихотворение:

Много крови, много соков	Все страдаем ею... разве
Губит в школе вещь одна,—	Кто свободен от нея?!
Росписанием уроков	Эти термины «окошко» ****)
Называется она.	А порой и «сводный класс» *****).
Толковать об этой язве	Сердце нам скребут как кошки,
Много здесь не буду я;	Или даже две зараз.

*) Преподаватель греческ. языка и психологии, затем директор гимназии при р.-к. церкви св. Екатерины, теперь товарищ министра народного просвещения в Польше.

**) «Гермес», журнал, издававшийся Цыбульским.

***) Редакция журнала «Гермес» находилась на Невском в доме церкви св. Екатерины.

****) Пробел в ряду занятых часов.

*****) Соединенные классы в случае отсутствия кого-либо из преподавателей.

Право, в год бы захирели
Мы от этого бича,
Если-б, к счастью, не имели
Превосходного врача.
Врач особый... росписанья
Есть в гимназии у нас,
Все его недомоганья
Он излечивал не раз.
Он приходит спозаранку
Делу школьному служить.
Как умеет он на ранку
Ловко пластырь наложить!

Нужен Пиндар иль Гораций,
А не слабенький поэт,
Чтобы гений комбинаций
Был, как следует, воспет;
Если вдруг коллег пяти нет—
Все к нему: «устройство-ка, на!»
Он глазами только вскинет,
И задача решена.
Все сомнения рассеяв,
Можно с твердостью сказать:
Узел Гордиев Гордеев
Смело мог бы развязать!

Поэтические произведения К. М. обладают еще одним, в высокой степени ценным достоинством: они отмечены здоровым русским юмором. Он чувствуется в большинстве его стихотворений, и в «Золотой книге» имеется целый ряд такого рода произведений К. М., написанных им по разнообразным поводам внутренней жизни гимназии. Наша тесная и дружная педагогическая семья довольно долгое время, хотя и с перерывами, собиралось на так называемые «субботники», ежемесячные товарищеские вечерние чаепития в складчину, соединявшиеся с легкой закуской.

Приведем одно стихотворение по адресу устроителей этих субботников:

В моих стихах весьма смиренных,
Я не пою господ военных,
Наполеонов и Аттил.—
Им нужны громкие поэты,
Не им стихи я посвятил.
Пусть курят фимиам герою:
Он грады, веся разгромил,
Но тот мне, как-то больше мил,

Кто вкусной паюсной икрою
Нас безобидно накормил.
Герой ликует, бьет в литавры,
Грохочет гром победных труб,
Но тот мне как-то больше мил,
Кто Марсом добытые лавры
Готов для друга бросить в суп.

Эту особенность своего поэтического дарования, здоровый русский юмор, К. М. донес почти до могилы: недели за две до смерти, он, как-то к слову, сказал нам, что составил для себя такого рода эпитафию:

Родился при царе в туманном октябре,
Умер в Северной коммуне в июне.

И действительно он умер рано утром 1-го июня в Мариинской больнице, куда был доставлен из аптеки, в которую он зашел, почувствовав себя дурно, поздно вечером, 31-го мая, по дороге к сестре, с полученным им по телеграфу известием о смерти близкого человека.

Н. Арепьев.

Февраль 1923 г.

Почетный академик А. Ф. Кони—о Петербургской 3-й гимназии *).

Хотя я не принадлежал к воспитанникам III-й гимназии, а учился во II-й гимназии, но, в качестве петербургского старожила, был всегда исполнен особого уважения именно к III-й гимназии. Она всем казалась самою серьезною по направлению и, вместе с тем, самою трудною, так как в ней, кроме латинского языка, обязательного для всех гимназий Уваровского типа, было широко поставлено преподавание греческого языка. Житейские встречи с бывшими ее воспитанниками подтверждали основательность даваемого ею образования. Опытные психологи говорят, что *«дитя—отец взрослого»*,—отец в смысле задатков личного характера и посева элементарных нравственных понятий, но с неменьшею справедливостью можно сказать, что *отрок* является отцом взрослого в смысле любви к знанию и серьезного направления мысли. Эту задачу исполняла гимназия. Будучи преддверием к Университету, она несла свои просветительные струи в широкое море разнообразных знаний и методов, даваемых последним. Пред окончанием гимназического курса это море открывало широкие и далекие горизонты жаждущему просвещения уму, но для успеха нужно было стоять на берегу прочных первоначальных знаний и испытать дисциплину труда. И то и другое давалось III гимназией «мерою полною», чуждою узости преподавания и односторонности сообщаемого направления. Несмотря на ее классический характер, из нее выходили на арену высшего образования люди разнообразных в будущем профессий. Между ними оказались медики, математики и естествоиспытатели, хотя всетаки преимущественно *юристы*, приученные классиками и их языком к ясному, точному и сжатому выражению своих мыслей, что столь необходимо для деятельности, в которой живое слово играет такую роль,—выходили *педагоги*, как носители и развиватели приемов, завещанных III гимназией,—выходили *представители искусства*, так тесно связанного в своих источниках с античным миром.

Достаточно пробежать список бывших учеников гимназии, чтобы найти имена выдающихся педагогов: Шакеева, Стоюнина, двух братьев Эвальд, Власова, Острогорского, Модзалевского, познакомившего русское общество в ярких очерках с германской средней и высшей школой и с личностью и трудами Аммоса Коменского,—и, наконец, Витберга, основателя «Общества ревнителей русского слова», того слова, которое так нуждается в защите и уважении при тех развязных

*) Из лекции, прочитанной 23-го марта 1923 г. в пользу юбилейного фонда школы.

искажениях, которым подвергается в современной литературе язык, вызвавший восторженные заветы Пушкина и Тургенева.

А затем идут юристы: Пятницкий, один из восприемников Судебных Уставов, сменивших бывшее бессудие, корысть и волокиту старых судов, автор ряда исследований по новым тогда вопросам судебной практики и кассационной деятельности,—Анатолий и Антон Гизетти, оставившие по себе благодарную память, как представители истинного правосудия,—присяжный поверенный Хартулари, блестящий и глубоко знающий защитник в выдающихся делах в первые годы нового суда в Петербурге и тонкий аналитик душевного состояния подсудимых, книга которого «Итоги прошлого» полна поучительных примеров,—Н. А. Оппель, красноречивый адвокат и видный общественный деятель,—профессор Калмыков, являвшийся страстным поборником новых и далеко для него небезопасных взглядов в науке уголовного права в такое печальное время, когда преподавание этой науки застыло на рутинных и черствых взглядах, превозносивших смертную казнь, телесные наказания и не отвращавшихся от клейм и плетей,—и, наконец, В. Д. Набоков, профессор Училища Правоведения и Председатель Уголовного Отделения Петербургского Юридического Общества, автор прекрасного учебника уголовного права и ряда монографий и вместе депутат 1-й Государственной Думы, выразивший ее задачу *летучими словами*: «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной», т. е. власть преходящего усмотрения да подчинится власти закона.

Среди представителей и знатоков искусства мы встречаем двух братьев графов Толстых—Ивана и Дмитрия,—из которых первый был вице-президентом Академии Художеств, а второй—директором Эрмитажа,—и Прахова, так много сделавшего для реставрации, в союзе со своим другом Васнецовым, памятников киевской старины и воссоздания собора Св. Владимира.

Наука вообще нашла себе в бывших учениках III гимназии достойных представителей—медицина (профессора Чистович и Оппель и доктор Казас, напечатавший ряд трудов о губительном влиянии суррогатов спирта на зрение),—история (Куторга и Помяловский), ботаника (Фаминцын) и физика (Петрушевский, как профессор и редактор отдела точных наук в Энциклопедическом Словаре Брокгауза), но и в других областях эти воспитанники умели оставить свой заметный след:—в публицистике—Петр Струве, редактор «Русской Мысли» и автор ряда замечательных статей на злобу дня,—и в литературе—Писарев, яркий и нередко крайний выразитель течений, волновавших русское общество 60-х годов, суровый отрицатель Пушкина и горячий защитник Тургенева против несправедливых и пошлых зоилов, видевших в Базарове «клевету на молодое поколение»,—Мережковский, проявивший в своих «Юлиане Отступ-

нике» и «Леонардо да Винчи» чрезвычайное богатство исторических и бытовых знаний,—Незеленов, историк русской литературы в ее выдающихся представителях, и др.

Я не могу отрешиться и от личных воспоминаний. После закрытия в 1861 году Петербургского Университета, переселившись в Москву, я нашел в Университете тесный кружок воспитанников III гимназии из выпусков 1861 и 1862 годов. Они все (пять человек) жили дружной семьей, имея в своей главе Н. Н. Куликова, будущего заметного педагога. Филологи по призванию, они живо отзывались и на все окружавшие явления. Я очень сошелся с ними и не мог не оценить серьезности их подготовки и их любви к труду. Мы собирались обыкновенно по субботам; Куликов услаждал нас прекрасной игрой на фортепьяно, купленном в складчину у Сухаревой Башни, а затем подходили примкнувшие к этому кружку будущие известные профессора—Ключевский и Кирпичников, и беседа затягивалась далеко за полночь, а утром Ключевский зазывал нас в Кремль, где на площади перед соборами, по воскресеньям, происходили горячие споры между старообрядческими начетчиками и ревнителями православия. Имя Ключевского, его блестящая последующая ученая деятельность могут служить доказательством серьезности направления того кружка, к которому он так охотно присоединялся.—Вспоминается мне и директор II Петербургской гимназии—Аникита Власов *). Он относился к нам участливо и внимательно,—в отсутствие почему либо учителей, приходил к нам в класс (V и VI), тепло беседовал с нами и знакомил нас с появлявшимися тогда и производившими на нас обаятельное впечатление произведениями наших выдающихся писателей—Гончарова, Тургенева и других. Он поощрял наши литературные занятия, интересовался издававшимся в V классе рукописным журналом «Заря» и с добродушной улыбкой шутливо погрозил нам—редакторам—пальцем, когда прочитал эпиграф на обложке: «Поверь, мой друг, взойдет она—заря пленительного счастья,—Россия вспрянет ото сна»... Тем из нас, которые нуждались, он доставлял уроки, как репетиторам или подготовителям для поступления в гимназию.

Встает в моей памяти, как живой, наш любимый учитель истории—Владимир Федорович Эвальд **), дающий урок, ходя, по обыкновению, по классу, волнуя и восхищая нас мастерски рассказанными историческими картинами и образами, и произведший особое впечатление воодушевленным рассказом о Крестовых походах, которыми мы увлекались довольно долгое время. В его отношении к нам сквозила разумная любовь и шутливая нежность, но без всякого желания непременно нам нравиться. Однажды кто то из нас, бредивших Университетом и мысленно считавших себя уже

*) Воспитанник VIII выпуска (1835 г.) 3-й гимназии.

**) Воспитанник XIII-го выпуска (1840 г.) 3-й гимназии; его воспоминания—см. выше—стр. 2—21.

студентами, куда некоторые из нас иногда и пробирались на лекции Костомарова, написал на черной доске: «Gaudeamus igitur—juvenes dum Sumus». Эвальд посмотрел на эту надпись и на нас, мягко улыбнулся, взял губку, стер «juvenes» и написал «pueri» при нашем дружном хохоте. Прошло много лет. Я был уже опытным Председателем Петербургского Окружного Суда, привыкшим к спокойному изложению своего руководящего напутствия присяжным заседателям. Но вот однажды я увидел в числе последних, подлежащих жеребьевке, моего старого наставника, а затем он попал в комплект и был выбран старшиной. Когда мне пришлось говорить мое заключительное слово, восстанавливая перспективу дела и давая присяжным указания на оценку доказательств и на их обязанности, я почувствовал, что сердце мое забилося сильнее обыкновенного, и голос начинает дрожать, и я с трудом совладел с собой под наплывом дорогих воспоминаний невозвратного прошлого и мысли о том, что я, так жадно слушавший его когда то, должен давать ему наставление и поучать его...

...
„Так было...“

(История одного выпуска).

6-го июня 1922 г., около 12-ти часов дня, в бывшей Петроградской 3-ей гимназии состоялся школьный совет. Совет этот был самый обыкновенный из всех доселе бывших в школе педагогических советов. В порядке дня заседания был только один насущный вопрос—выпуск IV класса 2-й ступени в виду только что кончившихся учебных занятий. Классный наставник сделал краткий отчет о результатах произведенной проверки знаний, вкратце упомянул о наиболее выдающихся учениках, назвав по фамилии несколько человек, и предложил Совету считать 16 человек из этого класса окончившими школу. Последовала робкая защита со стороны некоторых преподавателей и представителей от учащихся, присутствовавших на Совете, тех 4-х учеников, которым было предложено явиться осенью, но она получила серьезный отпор со стороны президиума Совета. Больше ни слова не было сказано по поводу выпущенных 16-ти человек, и председатель Совета, закрывая заседание, сухо и официально, как бы подчеркивая этим все недосказанное, поздравил присутствовавших с еще одним выпуском.

Так кончили б. 3-ю Петроградскую гимназию те 16 человек—14-ть мальчиков и 2 девочки, ученики того класса, о котором больше всего говорили в продолжение последних трех лет и вдруг перестали говорить почти перед самым выпуском.

Это был тот класс, который должен был дать, если бы по прежнему сохранился восьмилетний курс обучения, выпуск в столетнюю годовщину гимназии, тот класс, который все знали под одним и тем же именем, который называли все всегда одинаково, но каждый с совершенно разными чувствами, называли тремя многозначительными словами — «классом Николая Павловича».

О нем, об этом классе и будет речь впереди.

Трудно сказать, когда именно заговорили в гимназии об этом классе. Слава о нем, одновременно хорошая и дурная, началась уже давно, даже еще тогда, когда 3-я гимназия еще не называлась Советской школой.

Реформа школы застала учеников этого класса при переходе из III-го, по старому счету, в IV-ый класс, и IV класс был переименован в I-ый класс 2-ой ступени. Одновременно с этим у класса переменился классный наставник, и руководство этим классом получил преподаватель латинского и греческого языка Николай Павлович Ижевский. Тогда класс был разделен еще на 2 отделения, но класс I-а был значительно слабее I-б как по общим успехам, так и по подбору учащихся, который сперва совершенно случайно, а потом уже намеренно производился во 2-м отделении класса. Оба класса, сначала довольно многочисленные, постепенно пустели, особенно I-а класс, так что к концу года их соединили в один, тот самый класс, который официально и неофициально стал называться «классом Николая Павловича».

Уже в 1918—19 учебном году в классе появились заметные признаки какой-то своей особой жизни; ему приходилось жить совершенно обособленно и самостоятельно. Старшие классы относились к нему полупрезрительно и свысока; четвероклассники были для них еще малышами; даже и занимались где-то наверху, на среднем отделении, где-то с маленькими; в свою очередь ученики IV-го класса считали себя неизмеримо выше всех низших классов уже по одному тому, что сами считались учащимися 2-й ступени и, по тогдашним нововведениям, имели право своих собственных собраний, право выбора старост, представителей в Совет и т. д.

Уже одно это заставляло класс замкнуться в самом себе—к старшим его не пускали, к младшим сами не шли; это обстоятельство было довольно характерно для того времени, и только впоследствии черта эта немного сгладилась.

Как всегда бывает в классе довольно многочисленном (тогда в нем было около 30-ти человек), среди учеников было несколько совершенно различных кампаний, которые, правда, жили друг с другом довольно дружно. Внутренняя, классная жизнь сильно осложнялась на первых порах немного неуклюжими формами совместного обучения, которое как раз в тот год только начиналось. Самолюбие класса немного страдало от того, что откуда-то, ни с того, ни с сего в дружную классную семью были втиснуты

8 девочек из соответствующего класса женской гимназии Юргенс, которую соединили тогда с нашей гимназией. Характерно, что из числа более чем 20 учениц этой гимназии, которые поступили тогда в оба отделения I-го класса, дошли до конца и кончили вместе с классом только две, а остальные, все без исключения, или не выдерживали тяжести науки, или же отпадали сами собой по каким-либо другим причинам. Старые дневники и стихи, сохранившиеся от того времени, говорят как-будто за то, что первую половину года в классе занимались гораздо больше флиртом и тому подобными милыми вещами, чем науками. Впрочем, романические истории, происходившие тогда в классе, никогда не выходили за пределы смешного, хотя и трогательного. Во всяком случае в этом смысле жилось довольно весело, и все было до крайности наивно и по-детски забавно...

В классе было довольно много новичков, только что в этом году поступивших в нашу гимназию, новичков, которые, правда, довольно быстро обживались и становились своими людьми. Так или иначе, но сходиться друг с другом стали все уже довольно поздно, во второй половине года, уже после Рождества. Сближение происходило отчасти под влиянием совместного обучения, отчасти под влиянием тех умственных запросов, которые почти одновременно возникали среди наиболее развитых мальчиков. Случайный разговор об оккультизме и теософии, случайный спор на какую-нибудь «философскую» тему, бесконечные разговоры о «проклятых вечных вопросах»—все это сталкивало друг с другом, заставляло теснее сходиться, и на этой почве возникали первые дружбы, пока, наконец, не произошла окончательная «спевка», когда окончательно сошлись друг с другом. Довольно быстро образовался особый кружок, от которого сохранились еще кое-какие воспоминания в виде устава и других интересных документов. Девизом кружка (он назывался «Наше общество») было довольно оригинальное, вполне подходящее к тогдашнему настроению 13—14-ти летних мальчуганов и весьма нравившееся им в то время изречение: «я знаю, что я ничего не знаю». Вслед за этой глубокомысленной фразой в уставе кружка следовал параграф о целях Общества. Вот дословно то, что было написано на том большом белом листе бумаги, который торжественно именовался тогда «Уставом Нашего Общества»: «§ 2. Цели Общества: 1) Приближение при помощи науки к мировой истине путем всестороннего ознакомления с основами мироздания; 2) Разъяснение и обсуждение различных вопросов, возникающих у каждого члена общества». Помнится, что эти две неуклюжие, наивные фразы стоили больших трудов членам той исполнительной комиссии, которая возглавляла кружок, и немудрено, что тогда они вполне выражали собой все желания и стремления членов общества, среди которых самому старшему едва исполнилось 14 лет. Первое время кружком очень увлекались; устраивались шумные и веселые

заседания, прочитывались научные (как их называли тогда) доклады, возникали бурные прения, загорались серьезные «философские» споры. Мало по малу увлечение теософией, оккультизмом проходило... Эти первые интересы стали уступать место другим, и вот в это приблизительно время началось среди членов кружка увлечение астрономией, математикой и естествознанием. Особенно сильным оказалось увлечение астрономией, наукой, которая тогда в наших глазах соединяла всю прелесть таинственного и загадочного с силой и мощью точного знания; и вот полились нескончаемые споры о существовании каналов Марса, об обитаемости планет, стали все чаще и чаще ясными звездными вечерами забираться все вместе на крыши, лазали на чердаки с биноклями в руках, старались перешеголять друг друга в знании звездного неба... Помимо кандидатов в кружке числилось 7 человек действительных членов, а некоторых преподавателей—Николая Павловича Ижевского, особенно горячо любимого и неразлучного с классом наставника, преподавателя математики Константина Михайловича Семенова, последний год преподававшего тогда в нашем классе, Владимира Васильевича Плакса, руководившего занятиями по особенно нравившейся всем тогда науке — физике, пригласили в кружок почетными членами.

Этих трех преподавателей как то особенно горячо любил и ценил класс в то время. Помнится, что назначение классным наставником Николая Павловича, человека почти незнакомого классу, на вид сурового и серьезного, никогда не ставившего, судя по рассказам, отметок выше четверки, было встречено классом довольно недружелюбно. Первые две недели наставником был другой латинист—Сергей Александрович Аннинский, молодой, веселый, разговорчивый, неизменно «тыкавший» всех до единого в классе, которого полюбили с первого дня. Вдруг в один прекрасный день, как раз накануне переселения к нам гимназии Юргенс, в класс явился на урок латинского языка, вместо веселого Сергея Александровича, которого мы все приготовились встретить его любимым приветствием «salvete, magister!», серьезный с немного нахмуренным лицом человек в черном костюме, молчаливо сел на кафедру и, задумчиво посмотрев на нас своими глубокими голубыми глазами и немного нервно поворачивая обручальное кольцо на правой руке, как будто оно ему немного мешало, не то небрежно, не то торжественно проронил следующие слова: «С этого дня я состою преподавателем латинского языка в этом классе и являюсь его классным наставником». Голос был ровный и спокойный, низкий густой бас. В классе переглянулись, некоторые слегка, насмешливо улыбнулись, но выражение большинства лиц, казалось, было недовольным.

Так неохотно, скорее безразлично, встретил класс своего нового классного наставника, и никто не подозревал тогда, чем скоро сделается этот человек для всех нас...

Преподавание в классе, несмотря на общий развал и переустройство, царившее тогда во всех школах, было поставлено довольно хорошо. Занимались в продолжение 7 — 8 уроков в день. Времени хватало, правда, на все: и на математику, и на языки, и на латынь, и на греческий, и на злосчастный синтаксис Абраменко, который выучивался весь от доски до доски уже по одному тому, что преподавателем русского языка был «директор», или, как называли тогда, председатель педагогического совета—Николай Алексеевич Соколов. Нельзя сказать, чтобы класс его не любил, но его страшно боялись. Он был грозой для всех камчатников и лентяев. Уроки русского языка проходили всегда в страшном напряжении—лентяи трусили вызова, хорошие ученики, наоборот, изошрялись в остроумии и догадках, чтобы лучше ответить, и здесь уже открыто и порой недружелюбно разгоралось соперничество.

После звонка наступало мгновенное облегчение, с души сваливалась нависшая тяжесть невыученного урока и, сломя голову, сбивая порядок и стройные пары, мчались вниз в столовую — на завтрак и там, в свою очередь, изошрялись в том, чтобы захватить побольше мисок с супом, чтобы потом целую неделю можно было хвастаться: «а я вчера целых шесть тарелок слопал!»

Потом снова возвращались в класс и, в ожидании следующего урока, играли в пятнашки, дрались, боролись, блистали друг перед другом приемами «джиу-джитсу», иногда дразнили и обижали девочек.

Шло время, и класс все больше и больше сближался с своим классным наставником. Сначала чужой и далекий, он как-то сразу сделался своим и близким и был неразлучен с классом. Он принимал участие и в тех курьезных неуклюжих спорах, которые возникали на заседаниях кружка, играл в пятнашки вместе со всеми, устраивал чуть ли не каждую неделю поездки всем классом то в Детское Село, то в Павловск, то в Петергоф, веселые, увлекательные поездки, которые еще больше содействовали сближению и дружбе друг с другом. Серьезные разговоры отходили на второй план, затевались веселые детские игры, начиналось безраздельное шумное веселье, и возвращались домой усталые, голодные и счастливые, счастливые им—«нашим» дорогим Николаем Павловичем, который теперь уже, после этих поездок был вполне «нашим», — счастливые каким-то особенно молодым и беззаботным счастьем, на которое с изумлением и недружелюбно поглядывали родители дома и кое-кто в школе...

Так прошел год. Незаметно и быстро пронеслось лето, и скоро все снова встретились в родной гимназии. Мы перешли теперь уже во 2-й класс II-й ступени (V класс по старому счету), мы стали теперь уже большие и даже занимались на старшем отделении. Настроение класса несколько не изменилось за лето. Все также по-прежнему хорошо и бойко занимались и все также отчаянно шалили, иногда нехорошо шалили, не понимая,

сколько неприятностей приходилось испытывать из-за этого нашему классному наставнику. V-ый класс — одно из самых бледных мест в истории нашего класса. Этот год был годом увлечения деятельностью ученических организаций, советом старост и его комиссиями, без энергичной деятельности которых расшатывавшаяся школа едва ли смогла бы так скоро войти в свое русло. Это обстоятельство, усиленно способствовавшее сближению старших классов между собой, сплотило большую часть в одну тесную дружную семью, и как будто немного стирало индивидуальность нашего класса, хотя по прежнему, особенно по успехам, считали его образцовым. Не было ни одного такого класса, в котором бы проходили так быстро все зачеты и репетиции, как в V-м, не было ни одного такого класса, в котором было бы так мало неуспевающих, как в V-м. И в то же время не было ни одного такого класса в школе, которому приходилось делать выговоры и замечания так часто, как это делалось в V-м классе. Но как ни странно, почти все, что в классе ни происходило, оставалось почти безнаказанным, и в худшем случае приходил в класс Николай Павлович с сердитым лицом, начинал серьезно с нами говорить, но в конце концов не выдерживал, улыбался и, повидимому, все кончалось благополучно. Естественно, что такое отношение еще больше привязало класс к своему наставнику, но отнюдь не прекращало ни извода некоторых преподавателей, ни битья стекол, ни других неуместных шуток, которые, как казалось, все сходили с рук. Никто, кроме нашего Николая Павловича, повидимому, не имел права касаться нашего воспитания; однако, его система была нам совершенно непонятна, да и вряд ли почти до самого окончания школы отдавали мы себе в этом отчет.

Были попытки со стороны других преподавателей, недовольных распушенностью нашего класса, говорить с нами о нашем поведении и о той системе воспитания, которая применялась по отношению к нашему классу и которая ими не одобрялась. И это были тоже очень славные, хорошие люди, очень тепло относившиеся к классу, очень любившие его и знавшие, что и класс их тоже любит; любит за их доброе, милое отношение, любит за те полуприятельские беседы, которые иногда начинались в конце уроков.

И тяжело было классу слушать то, что ему говорили иногда; тяжело вдвойне, потому что он любил всех тех, кто его любил; горячо любил, несмотря на то, что сплошь и рядом делал им одни неприятности; и эту любовь чувствовали они под внешним, как-будто недружелюбным отношением; чувствовали и ценили, ибо какой же преподаватель смог бы оставаться в классе после всего того, что приходилось порой испытать ему в нашем классе! Искренняя, от души и от сердца была эта любовь... Но любили мы их, мучая.

В этом году в преподавательском составе нашего класса произошли

большие перемены: умер бедный Константин Михайлович Семенов, Владимир Васильевич больше уже не преподавал в нашем классе, русский язык вместо Николая Алексеевича вел в нашем классе новый преподаватель— Михаил Людвигович Савич. Недолго, всего полгода пробыл этот чудный человек у нас; обстоятельства заставляли его покинуть голодный и холодный Петроград; он уехал на юг, к себе на родину. Помнится, с каким горем и болью в сердце провожали мы его от себя; помнится, как много теплых, душевных слов было сказано с той и другой стороны... и, едва сдерживая слезы, простились мы с ним навсегда, простились с тем человеком, который сумел вдохнуть какие-то неуловимо прелестные образы и глубокие мысли в скучные былины и народные песни, сумел сделать то, что ни один человек в классе, во всем классе от первых парт и до камчатки, не смел пошевелиться; затаив дыхание, каждый слушал, как очарованный, простые, идущие прямо от души, проникнутые горячей любовью к нам, слова Михаила Людвиговича. Холодно и голодно было учиться в эти тяжелые годы. На своих плечах таскали дрова, сами своими силами ломали где-то далеко деревянный дом и возили обломки и доски к себе на Гагаринскую, чтобы хоть немного согреть холодные классы. Дома было еще холоднее, и все невольно бежали в свою родную гимназию, где было по крайней мере хоть тепло на душе, старались проводить в ней чуть ли не целый день с утра до вечера, старались хорошо учиться, несмотря на тяжелые условия жизни, и школа в те годы вполне заменяла нам семью. Рядом с учебной шла энергичная организационная работа в совете старост, исполкоме и других ученических организациях, была та страдная пора школьной жизни, которую кто-то однажды довольно метко окрестил «Тимофеевщиной», по имени того небезызвестного всей гимназии ученика VII класса Тимофеевского, который стоял тогда во главе всех ученических организаций. Бывали не раз и очень тяжелые моменты в этой интересной и увлекательной общественной жизни, когда жертвовали дружбой и любовью во имя интересов школы, когда устраивались организованные товарищеские суды, нередко были тяжелые сцены, когда ученики одного и того же класса сидели и на скамье подсудимых и на местах адвоката и прокурора и среди членов суда. Судили своих товарищей, судили иногда очень жестоко, даже выгоняли из школы за хулиганство, мошеннические проделки, и много горького и тяжелого приходилось переживать в то время и подсудимым, и самим судьям. Особенно тяжелый момент наступил в конце года весной, когда почти все старшие классы раскололись на два враждебных лагеря, когда и до нашего класса докатилась волна этой полусутиливой, полусерьезной «государственной» жизни. Кто не помнит этой тяжелой для всех истории с обжалованием в школьный совет постановления исполкома о недопущении двух товарищей «в пределы школьной территории», о происшедшем во всех классах разладе по поводу этого постано-

вления, которое в самом исполкоме прошло большинством одного голоса и то при вторичном голосовании.

Кто не помнит, как быстро и внезапно потускнела звезда так ярко горевшая целых два года того, о котором столько говорили в нашем классе, того, который был в продолжение целых двух лет кумиром и любимцем класса, того Лу-Лу, который проводил тогда последние дни вместе с нами в гимназии... Это было поистине тяжелое, нехорошее время, и со слезами и болью вспоминаются эти картины...

Но вспоминаются и другие картины, вспоминается, как шли мы на лыжах вместе со своим Николаем Павловичем ночью, при 26-ти градусном морозе, спотыкаясь и падая, смеясь и толкая друг друга, где-то в лесу, недалеко от станции Преображенской, шли к тому дому, где жил Николай Павлович и где весело и счастливо проводили мы у него каникулярное время...

Вспоминается скромный, интимный Тургеневский вечер, как весело, совершенно не во-время, тухли электрические лампочки во время дивертисмента; как лежали мы рядом с друг другом в «Бежином луге» кругом котелка с картошкой, которая весело варилась на красной лампочке, долженствовавшей изображать костер; как громко и художественно плеснула щука где-то за сценой, так громко плеснула, что даже и первые ряды уверяли, что и они, а не только артисты слышали; как резко и неподражаемо крикнула цапля, которую изображал наш Афоня за сценой; как хорошо и воодушевленно играл Павлушу тот новичок, который совсем недавно поступил к нам в класс и так молчаливо и незаметно сидел первое время на одной парте с нашим незабвенным тихоней П.

Так прошел и этот год, унеся с собой столько счастливых дней и чудных переживаний... Но впереди ожидали нас еще лучшие дни, еще впереди ожидало нас новое счастье.

С началом 3-го (6-го) класса настало опять то время, когда класс стал замыкаться в самом себе. Прошла «Тимофеевщина», а с нею ушли те, которые были сильнее нас, которые, может быть, были интереснее нас... Мы оставались теперь одни, и на нас смотрели, как на тех, которые должны что-то сделать во славу б. 3-й гимназии. Мы чувствовали на себе эти взгляды, гордились ими, но ни в ком из нас не было ни тогда, ни после, ни сознания долга перед школой, ни определенных нравственных обязательств по отношению к тем людям, которые руководили нашей жизнью...

Первые месяцы ученья прошли как-то странно. Не то что-то недоговоренное, не то что-то неловкое было в наших отношениях. И при упоминании одного имени, о котором говорили еще в прошлом году, как-то натянуто улыбались и боялись посмотреть открыто друг на друга. Начиналось то, что впоследствии называли «так было...», начинались лучшие,

счастливые дни в переживаниях каждого; все теснее и теснее сближался кружок «посвященных», и совершенно неожиданно узнал класс о существовании в его среде какой-то «шестерки», состоявшей из шести человек, явившихся как-то раз на уроки с забавными, но трогательными нашивками на левом рукаве из цветных лоскутков. Кто знает, что хотели показать мы этими нашивками; какой смысл был во всем этом, какой смысл был в таинственных номерах, который был у каждого члена «шестерки», в небольших желтеньких бумажках с нарисованными на них черепом, двумя костями и мечом, которые хранились у каждого из шестерых? Это было что-то новое, не совсем обычное, немного бессмысленное, но это-то больше всего и нравилось. Как сошлись эти шесть человек? Что происходило среди них такого, что на целый год связало их неразрывными, крепкими узами дружбы? Почему первое время никто другой не принимался в их среду, и их разговоры друг с другом не были понятны никому другому? Вряд ли можно дать определенный, отчетливый ответ на этот вопрос. Вероятно, что самую большую роль играла в этом деле романтическая подкладка; и для каждого из шестерых слишком знакомыми и дорогими были те инициалы «Н. П.», которые нещадно вырезывались перочинными ножами чуть-ли ни на всех партах и украшали все стены класса. Все разговоры неизменно сводились к одному и тому же разговору о «ней»; все, что связывалось с «ее» именем, обладало животрепещущим интересом, и почти ничего кроме «нее» не существовало в то время для нас. Один за другим завязывались романы, сплетались друг с другом, сталкивали дружбу с изменой, притворство и ложь с искренними чувствами, запутывая все больше и больше взаимные отношения, заставляя чуть ли не в один и тот же день говорить совершенно разными словами об одном и том же. И незаметно, но бесповоротно, роковым образом сказалось все это на дружбе тех шестерых, которые составляли единую и нераздельную, как казалось, шестерку; сначала это способствовало как будто еще большему сближению друг с другом, потом стало наступать заметное охлаждение, образовывались более тесные группы по два, по три человека, состав их беспрестанно менялся, натянутые отношения быстро сменялись особо короткими, черезчур дружескими, в большинстве случаев остававшимися, однако, искусственными отношениями...

Эти переживания, эта игра, не то в шутку, не то в серьез, этот маленький театр, который устраивал каждый для себя—наполняли жизнь не только шестерки, но и тех, участие которых сначала во всем этом не обнаруживалось, а потом совершенно случайно открылось. И если отбросить нескольких человек, которые никогда в классной жизни участия не принимали, то можно сказать, что почти весь класс жил одним и тем же. Правда, были увлечения помимо этого: под редакцией шестерки стал одно время выходить юмористический журнал «Смешок», журнал, который, как

нельзя лучше, отражал беззаботное, веселое настроение своих авторов, который давал возможность вылиться наружу неистощаемому запасу юмора, остроумия, всевозможным литературным популизмом всех ше-стерых: индийским сагам «Бульбы-Йога», веселым дурачеством Антона—Goudochnik'a, знаменитым «раешникам» «Хукка-Санхо» («Ходи скверного»), «Проклятиям» Жана—«индейца без мокассин» (он же «чистильщик са-пог»), тягучим «ручьистым» элегиям «Райниплы—Коли Алого», злободнев-ным шуткам, вроде «Надиного сердца», «Брыся» (он же «обладатель длин-ного носа»).

Так быстро и весело пролетела первая половина и этого года. Бли-зилось празднование 98-ти-летней годовщины школы, и вот 8-го февраля рядом с жеманившейся своей деланностью «Женитьбой» выскочило и наше «Кэнтервильское привидение» — импровизация на тему рассказа Оскара Уайльда. Само привидение, т. е. тот, кто должен был его играть, перед самым спектаклем захворало, и его роль экспромтом исполнял Николай Павлович, руководивший этой постановкой. Половина спектакля прошла на экспромтах и импровизациях, настолько неподдельных, что на другой день, при повторении спектакля, говорили в большинстве случаев другие слова, путали выходы, так что лица, видевшие спектакль накануне, не могли понять, каким образом некоторые места представления до незна-ваемости изменились. Спектакль имел огромный успех. «Кэнтервильское привидение» был наш первый триумф в этом году, и мы гордились им, как первой попыткой дать на сцене широкую и вольную импровизацию вместо скучного, срепетованного представления с твердо заученными ролями.

Когда немного спустя поднялся вопрос о новой постановке, то мы уже чувствовали, что теперь, после Кэнтервильских импровизаций нам нельзя было идти назад, в сторону обыкновенных постановок того, что было уже давно написано и тысячу раз представлялось на сцене, и нам хотелось чего-то нового, хотелось не только поставить, но и сочинить что-нибудь своими силами. И помнится, как обрадовало нас тогда предло-жение Николая Павловича использовать в смысле театрализации большое количество всего того богатого материала, который накопился в тех наив-ных, но запутанных романах, сплетавшихся вокруг одного и того же имени «Н. П.» и начинавших к тому времени мало-по-малу распутываться. Так зародилась идея «Сказки о царевне и семи богатырях», закончившаяся красивой и грациозной постановкой «Так было», той постановкой, успех которой признавался даже нашими соперниками в театральном искусстве.

Во всем этом играло большую роль еще одно обстоятельство. Это было заметное охлаждение, происшедшее между классом и его настави-ком, охлаждение, которое наступило для большинства совершенно неза-метно и было естественным следствием того, что он не был посвящен вна-чале в то, что наполняло тогда наше существование, и так или иначе пе-

рестал принимать участие в нашей жизни. Это, а также, быть может, другие причины, многие из которых остались непонятными и до сих пор, совокупность тысячи маленьких неприятных мелочей, непредвиденных случайностей, которые так часто внезапно ломают человеческую жизнь, повело к тому, что произошел серьезный разрыв, и Николай Павлович отказался от классного наставничества в нашем классе. В тот день, когда это произошло, во всем классе чувствовалось какое-то приподнятое, боевое настроение; вызывающие шалости сыпались одна за другой, в классе ползали под партами, вбегали на урок с песнями, втолкнули в класс одетого в латы и шлем несчастного Димку Александрова, дебоширствовали по всей школе. Дело в том, что накануне произошло открытие наших собраний на «Священной горе»; некоторые из нас жили под угрозой исключения из гимназии, и было какое-то озлобление, переходившее в открытую вражду, и против школьной администрации, и против всех тех, кто злорадствовал, видя, что, наконец-то, нам запретили своевольничать. Что такое «Священная гора» и что такое на ней происходило, вряд ли будет понятно всем непосвященным. Нужно было быть с нами там, нужно было бы пережить с нами там все наши радости, восторги и откровения, разделить с нами все шалости, которые иногда врывались в задушевные теплые разговоры, и только тогда можно было бы понять всю прелесть этих лучших счастливейших мгновений нашей школьной жизни и простить все то неуместное, дикое, что порой нарушало общую гармонию.

Может быть, над нами будут смеяться, когда узнают, что «Священной горой» именовалась крыша здания нашей гимназии, куда удирали мы чуть ли не каждый день после уроков (а иногда, что греха таить, и с уроков) и где, обнявшись друг с другом, лежали около последних, почти окончательно стаявших горок снега, лежали и нежились в лучах молодого мартовского солнца, молодые, радостные, счастливые, влюбленные в жизнь, влюбленные в «нее», влюбленные в себя и друг друга. Для нас это были одни из самых лучших переживаний, и тяжело и горько было подчиниться запрещению посещать «Священную гору» раз навсегда. Помнится, как ярко и лучисто утопало весеннее солнце в белесоватой, еще не смеющей синеть бирюзе неба, когда дружно и весело летели щепки и комки снега во двор гимназии, когда на «Священной горе» шло шумное веселье... и вдруг отворилась маленькая дверка и из чердачного окна вылез наш незабвенный «дядька» Курков и как-то злорадно попросил нас всех пожаловать вниз «к инспектору». Озлобленные, слегка притихшие, но не утратившие своей веселости, спускались мы вниз. Героями выходили, выгнанные впредь до расследования нашего дела из гимназии, из дверей школы, чувствуя на себе со всех сторон не то сочувствующие, не то злорадствовавшие взоры учеников других классов. С шутками и смехом добежали до пушек Спасо-Преображенского садика, который играл такую большую роль, чуть ли не

такую же, как и «Священная гора», в истории нашего класса; видел и наши первые дружбы, и наши первые ссоры, видел нашу первую любовь, видел ту нескончаемую игру в палочку-воровочку, которую, по старой привычке, затевали мы одно время чуть ли не каждый день. И здесь, на этих пушках, около которых столько раз кувыркались и боролись, около которых столько раз, без конца повторялись любимые анекдоты, чисто по-мальчишески, по-школьнически выдумывали мы все в тот же злосчастный день, чтобы еще выкинуть посмелее и поинтересней, какую-нибудь архиужасную шалость, чтобы окончательно разозлить тех людей, которые нас так любили, и которых также горячо любили мы. И от этих разговоров, от веселых насмешек над всем происшедшим и нетерпеливого ожидания того, что будет дальше с нами, как нас накажут, еще горячее любили мы нашу школу, любили всех тех, кого так безжалостно мучили...

И вдруг, сверх нашего ожидания, ни на другой, ни на третий день никто не приходил к нам в класс по поводу происшедшего, никто, повидимому, не собирался нас наказывать, как будто забыли об этом. Но мы не поняли и этого.

И тем больнее и неожиданно страшно обрушился на нас уход Николая Павловича из нашего класса. Точно случайно спохватились, вспомнили о чем-то, забегали, засуетились, побежали к Николаю Алексеевичу, к «директору», к тому человеку, которого раньше так не любили с его синтаксисом, которого мы никогда с тех пор, уже целых два года не видели в нашем классе, но чувствовали, что он не забыл и помнит нас, что он любит нас, что он следит за каждым шагом всех нас и только благодаря его невидимому участию смог Николай Павлович дать нам жить своею самостоятельной жизнью, которая спасла в классе до сих пор все целое и индивидуальное. Были мы у него, потом он был у нас в классе, потом говорили мы одни друг с другом, потом пошли к самому Николаю Павловичу. Было какое-то растерянное, недоумевающее настроение, не было слез, не было смеха, но каким-то тяжелым камнем залег у всех в душе этот день 1-го апреля.

В этот день мы впервые стали понимать то, о чем до сих пор совершенно не думали. Хотя мы постоянно чувствовали небольшое недоумение, видя, что все наши проказы и шалости остаются безнаказанными, и удивлялись этому непривычному для нас отношению, но все-таки мы не могли дорости до сознания того, что всем этим мы делаем больно не только им—тем людям, которые нас так любили, но что еще больней и неприятней переживать это той дорогой школе, в которой мы учились. Гимназия для нас никогда не бывала только зданием, стенами, в которые мы приходили утром и днем уходили, даже под словом «гимназия» мы иногда понимали не только тех людей, которых мы встречали там ежедневно. Чувство любви к своей родной школе было гораздо шире, и может



быть, непонятней: оно обнимало все целиком, все до последней парты, до последнего уголка каждого класса, все—начиная с тех дюдей, которые учили нас, кончая тем «дядькой» Курковым, в самой воркотне и ругани которого слышалось нам что-то родное, близкое, бесконечно дорогое...

Разве не это чувство заставляло с такой гордостью носить чуть-ли не до самого окончания гимназический значок, и разве не это слово заставляло прятать под пальто фуражку с тем же значком, когда попадались где-нибудь вне школы в некрасивой шалости?.. И нам казалось, что нет ни одной школы, которая осмелилась бы соперничать в достоинствах с нашей...

И несмотря на эту горячую любовь к своей родной гимназии, мы забывали порой о ней, забывали иногда в самые тяжелые моменты жизни класса, тогда, когда одно это чувство могло бы спасти нас. Не было его и в тот день, когда уходил от нашего класса Николай Павлович. Он уходил, отчаявшись пробудить в нас сознание того, что мало еще той любви, которая была у нас, та любовь, которой ждали от нас те двое, бывшие ближе всех к нам, требовала жертвы; жертвы отказа от всех шалостей, мальчишеских выходок и всего того, чем причиняли мы боль родной школе. Но этой жертвы мы не смогли принести.

На этот раз Николай Павлович все-таки вернулся к нам, и было что-то счастливое и светлое в новом наступившем сближении с ним, что-то прежнее, хорошее и веселое еще не раз мелькало перед нами; бесконечно дорогое и светлое воспоминание осталось от той прогулки весною—под дождем, когда озябшие и промокшие забились мы вместе с Николаем Павловичем в какую-то маленькую деревянную будку в одном из переулков и рассказывали ему обо всем том, что переживали за это время без него. Рассказывали о той, которую любили, строили планы на будущее, намечали в основных чертах содержание новой постановки.

Еще полнее и цельнее осталось впечатление от поездки к Пушкину, в Псковскую губернию, в Святые горы, куда возил нас Николай Павлович. Помнится, как долго не пускали нас родители, с каким трудом удрали, наконец, некоторые из нас в эту поездку, и как необычно и странно было уезжать из семьи на первый день Пасхи. Мы пробыли там около недели; были и в Псковском «Детинце», отламывали от него камешки и бросали в реку Великую.., были на могиле Пушкина, стояли на коленях около его памятника... Всю дорогу и туда и обратно шли нескончаемые разговоры... говорил и сам Николай Павлович, который особенно любил всегда Пушкина и даже одно время специально преподавал нам в школе «Пушкинологию», рассказывал о жизни великого умершего в селе Михайловском... говорили и мы, по прежнему весело и непринужденно, и жалели тех, кто оставался одиноким в Петрограде...

Когда мы вернулись назад, началась новая интересная жизнь. Нача-

лись репетиции и творчество новой постановки—«Так было»... Мы старались передать на сцене все то, что было в действительности, преломляя все, что действительно было, через призму театрализации. Жизнь и театр переплелись настолько тесно, что мы перестали отличать одно от другого, и уже одно это предсказывало нам удачу задуманного дела.

Днем 25-го июня 1921 года кончилась история VI-го класса. В этот день слава нашего класса достигла своего апогея. Тот, кто говорил о жизни, как о театре, тот, чьими идеями мы увлекались—Николай Николаевич Евреинов был на нашем представлении, говорил нам речь и жал всем нам—артистам руки *). Мы стояли смущенные, взволнованные, мы были горды тем, что, как казалось нам, тогда мы сделали, и мы были горды тем, что «Так было», хотя в сущности говоря ни мы, ни вся публика не были уверены в том, что именно «так было», и даже думали и говорили, что «так не было».

В последний раз промелькнули на сцене все участники нашего карнавала—Коломбина, Полина, Арлекин, Пьеро, Фауст, Франт с цепочкой, Маг карнавала со своим учеником, в последний раз закружились все вместе, держа друг друга за руки, и в последний раз видели они все вместе счастье...

Говорили потом, что счастье приходило то к одному, то к другому, но они не были больше вместе, не стало всех шестерых для Коломбины, и не стало Коломбины, одной Коломбины для всех шестерых...

Так дошли они до последнего, выпускного класса, в котором еще давно-давно мечтали во всю развернуться и показать свою удаль. И ждали от них чего-то большого-большого, непосильно большого, которое должны были дать эти маленькие и небольшие люди.

Их завалили ученьем. Говорят, они сами хотели этого; и они много и усердно учились. Учились не только днем—дня не хватало; учились ночью, читали, писали, говорили, и огромные сравнительно с их силами работы выходили из их рук.

Если в III-м (VI) классе говорили обо всем, что угодно, кроме ученья, то в IV-м (VII) классе говорили только о нем; но ученье это выходило немного однобоко: учились только для одного преподавателя.

В этом году в классе были три преподавателя по русскому языку: старые—Николай Алексеевич, Николай Павлович и новый—Борис Николаевич Плаксин. Это и был тот человек, уроки которого составляли почти все содержание нашей жизни в выпускном классе. С первых слов, красивых и блестящих, зачаровал он наше внимание, и в течение целого года с неотступным интересом сходились мы с ним в классе чуть ли не каждый день, и утром, и вечером, говорили о наших родных писателях—Достоевском,

*) См. ниже—статью об этом спектакле самого Н. Н. Евреинова.

Чехове, Андрееве, Горьком, слушали его, порой затаив дыхание, и, воодушевленные его красноречием, выступали сами с своими собственными мыслями, спорили друг с другом, не переставая иногда оживленно говорить между собою уже и по окончании уроков по дороге, до самого дома.

Увлечение родной литературой было настолько сильным, что мы забывали иной раз заниматься другими предметами и приводили в несказанный ужас нашего математика Николая Николаевича Ковригина, который вел наш класс уже три года, всегда был нами доволен, а теперь не мог понять, что такое творится с нашими математическими знаниями.

Правда, математические науки были всегда самыми любимыми в нашем классе. Астрономия, математика, физика, вот чем продолжали мы заниматься, несмотря на страшную заваленность гуманитарными науками^{*)}. Порой становилось не под силу тяжело: помнится, как бежали мы из гимназии на Чернышев переулок, где специально занимались физикой под руководством В. Ф. Трояновского; оттуда, сломя голову, мчались назад, боясь опоздать на обещанную Борисом Николаевичем Плаксиным лекцию о Некрасове где-то на Сергиевской, в доме Просвещения; потом уже поздно вечером попадали домой и начинали заниматься опять без конца, до середины ночи. Дома было холодно, в школе тоже было холодно. Уже забыв об остальных, мы старались согреть только себя, доставали дрова всяческими путями, чтобы отопить хоть свой класс, где занимались и утром, и вечером, но, несмотря на все, жажда к ученью не ослабевала, не бывало порой ни минуты, когда можно было бы вздохнуть свободней.

Внутренняя жизнь класса совершенно переменялась. Не стало ни шестерки, ни тех тесных общений друг с другом, которые были раньше. О прошлом вспоминать как-то боялись, разговоров помимо ученья бывало очень мало, и только несколько раз наступало опять какое-то тесное сближение нескольких человек, что-то такое вспоминалось хорошее, но потом опять пропадало и снова не возвращалось. Иногда по-прежнему сходились друг с другом, читали вместе любимых поэтов, вспоминали прежних любимцев—Гумилева, Маяковского, Шершеневича. Иногда вспыхивало желание пописать что-нибудь смехотворное вроде прежнего «Смешка»—выходили неперіодические издания «Бедствующего капитана Копейкина и дьяка Макароны» с юмористическими рассказами вроде «Александр I или сфинкс в галошах мистицизма», но не было уже того увлечения, которое

^{*)} Между прочим, одним из результатов увлечения астрономией было то, что автор настоящей статьи, Б. В. Окунев, еще учеником 3-го класса II ступени, 23-го августа 1920 г. в 9 ч. 10 м. Пулк. врем. заметил новую звезду в созвездии Лебедя (Nova Cygni 1920 г.) и послал об этом телеграмму в Пулково. По времени, открытие оказалось первым во всей северной России. См. об этом в журнале, «Мироведение» 1920 г., № 2 (39), стр. 101 и в «Записках по гидрографии» 1921 г. т. XLIV, стр. 229.

Прим. Ред.

вдохновляло всех в прошлом году, по-прежнему какое-то недоразумение было во всем этом.

За этот год сблизился с нами еще один новый преподаватель—Михаил Дмитриевич Туберовский, преподававший у нас историю театра. Под его руководством была наша единственная постановка за этот год—«Смерть Тентажиля» Метерлинка, единственная—несмотря на то, что мы собирались ставить и «Сон Макара», и «Скряга Скрудж», и «Турандот», репетировали без конца, хватались сначала за одно, бросались на другое, и в результате ничего не выходило. Быть может, не выходило уже по одному тому, что продолжала существовать какая-то недоговоренность в наших отношениях с Николаем Павловичем. И то, что было недосказано тогда—1-го апреля, осталось недосказанным навсегда.

Странно, что и теперь класс в целом относился как-то равнодушно к этому наболевшему вопросу; впечатления от прошлого, когда немного открылись глаза на отношения к нашему классу Николая Павловича и Николая Алексеевича с одной стороны и всех других преподавателей с другой, хватило не надолго. То, что было говорено тогда по этому поводу, как-то забылось, и вспомнили об этом уже очень поздно, уже тогда, когда чуть ли не официально класс перестал называться «классом Николая Павловича», когда опять произошла глупая, мальчишеская выходка, и те двое—отреклись от нашего класса. И помнится, как последний раз приходил в класс Николай Алексеевич и говорил, что теперь все кончено между нами, что мы теперь уже не те, которые до сих пор были, а «обыкновенные рядовые ученики выпускного класса». В этих словах чувствовались слезы, те невыплаканные слезы, которые накопились в душе, но слез не было на глазах, не было даже дано возможности дальнейших разговоров по этому поводу. И мы замолчали.

Мы больше не говорили об этом никогда—ни между собой, ни с ними—Николаем Павловичем и Николаем Алексеевичем. Нам было стыдно говорить об этом, потому что могли же мы понять в конце концов, что не из-за того, что мы не пришли на какие-то уроки, лишились мы своего классного наставника и к нам перестали относиться по-прежнему. Мы чувствовали, что и этот второй и последний уход Николая Павловича был вызван тем-же, вызван нашим несознательным отношением к школе, неправильным пониманием тех обязательств, которые налагались на нас уже по одному тому, что мы так горячо любили свою школу. И нам казалось тогда, что навсегда мы потеряли дорогих и любимых людей, но мы считали, что это наказание было слишком жестоким за нарушение того молчаливого обещания жертвы, которое тогда—1-го апреля—было недосказано нами и оставалось недосказанным все время.

Настало самое тяжелое время пребывания в гимназии. Нам казалось, что все смотрели на нас холодно и недружелюбно, как будто ждали и

не могли дожидаться, когда мы, наконец, кончим школу; и мы сами, озлобленные и жестокие, но наружно вполне равнодушные, своим видом только растравляли старые раны. Наше присутствие было лишним, неуместным, мы сами чувствовали это и—как ни горько было всем нам—спешили поскорее уйти из дорогой и любимой гимназии.

Наконец, настала долгожданная и жуткая пора выпускных репетиций, и без передышки, только что окончив наши большие литературные и исторические работы, на которые уходили целые месяцы упорного, непрерывного труда, с удвоенной энергией принялись мы за них и последними могучими усилиями добивались до желанного конца.

Темно и страшно было впереди. Все светлое, хорошее оставалось где-то далеко позади. Вспоминалась чудная, яркими красками запечатлевшаяся в нашей памяти, счастливая весна 1921 года, лучшее время, которое когда-либо было в нашей жизни, полное счастья, полное молодого, животрепещущего чувства, полное светлых надежд на будущее.

И все то, на что надеялись все и чего ожидали несколько лет, куда-то исчезло, как-то незаметно пропало, и ожидания не сбылись. Не было в конце года ни дружбы между нами, ни прежних разговоров, было чего-то стыдно друг перед другом, стыдно перед Николаем Павловичем, стыдно перед школой, и было такое впечатление, что и школе стыдно нас. Мы с ужасом в то время думали, что было-бы с нами, если бы нам пришлось остаться еще целый год в гимназии, и мы были бы столетним выпуском, если бы сохранился бывший VIII класс. А только полгода тому назад с еще большим ужасом мы думали, как мы уйдем из нашей дорогой школы, как расстанемся со всеми теми, которые жили столько долгих лет с нами.

И мы кончили школу; как-то случайно кончили; класс Николая Павловича кончил так, как не кончал еще ни один класс. Сказали, что—то, что было сегодня—это в последний раз; что больше ничего не будет; что больше в школу незачем приходить; и все пошли по домам безо всяких оаций, актов, балов, так, как много сотен раз расходились домой после уроков в будние дни.

Было такое впечатление, что мы забыли, что наш класс выпускной. Не ходили и сниматься группой, не делали никаких прощальных вечеров или пирушек, даже не было выпускных значков, которое вместе с нашими деньгами остались навсегда у мошенника-брильянтика. Не было даже прощаний с преподавателями, за исключением двух случаев: мы простились с теми, кто лучше и симпатичнее всех относился к нам в эти последние тяжелые дни, когда нам казалось, что нас выгоняют из школы; с теми, перед которыми мы чувствовали себя виноватыми за прошлые грехи. И это единственно хорошее воспоминание за все последние дни нашего пребывания в школе.

3-го июня была наша последняя репетиция. 6-го июня состоялся педа-

гогический совет, на котором упоминались наши фамилии в последний раз, и мы могли считаться официально кончившими школу. Не попрощавшись ни с кем, ушли из школы те шесть человек, которые были на совете, как представители учащихся; те шесть человек, которые до сих пор были всегда вместе, ушли с тяжелым чувством, с чувством неудовлетворенности неразрешившимся недоразумением.

Эти шесть человек были те, кого раньше называли «шестеркой».

Так кончил «класс Николая Павловича» б. 3-ю Петроградскую гимназию.

Б. Окунев.

1923 г.

От Редакции.

8-го января 1923 г. **Николай Павлович Ижевский** (проводивший вместе со своей семьей рождественские каникулы около ст. Преображенской, Лужского уезда), возвращаясь в 9-м часу вечера к себе домой из с. Перечиц, **утонул** в р. Ордеж. Труп его был найден лишь спустя три месяца, 12-го апреля 1923 г., когда река очистилась ото льда. Покойному было всего 33 года.

О новой маске.

(Автобио-реконструктивной).

В истории театра, насколько нам известно, все многообразие «масок» (в расширенном смысле этого слова) может быть сведено к двум родам:

1) к маске *психологической*, обязывающей к преображению самого стержня лицедейской души, и 2) к маске (я бы сказал) *прагматической*, при которой лицедей, в кардинальной сущности своего «я», остается ад-экватным себе, но мыслит, волит и чувствует себя в иной действительности, так как обязуется стать (сценически) субъектом отличного от его собственного «дела» (действия, свершения = *прагмы*).

Соответственно этому известны: 1) актеры, которым любо и привычно изображать на сцене «*других*», т. е. лиц, противоположных им по

характеру, и 2) актеры, которым скорее по душе (или у которых это хорошо выходит) являть на сцене *себя самих*.

Примером первой категории актеров можно назвать В. Н. Давыдова, Ф. И. Шаляпина, Е. М. Грановскую; примером второй категории — покойного К. А. Варламова, Макса Линден, В. А. Юреневу.

Если бы у актеров, творчески привычно повторяющих на сцене самих себя, спросили, могли-б они явить на подмостках театра *себя самих в повторении действительно случившегося с ними*, — я думаю, подавляющее большинство ответило бы, что, мол, пожалуй «могли бы», хоть это и не заманчиво *), но такие «казусы» чужды их сценическому опыту, т. е. попросту говоря: *театр до сих пор не знал подобных примеров*.

И они были бы правы: *маска автобио-реконструктивная* не имела до сих пор места в истории театра, где упрочились, как бы вытесняя все остальные, лишь *маска психологическая* и *маска прагматическая*.

А между тем этот *третий род маски* (маски автобио-реконструктивной) вполне возможен, как театральный феномен, и даже желателен порой, а иногда, пожалуй, и необходим, чему доказательства я уже привел в свое время на страницах моей III книги «Театра для себя», в очерке «Инсценировки воспоминаний».

«Трижды благословен *театр воспоминаний*, — заявлял я в этом очерке (стр. 194), — превращающий прошлое в настоящее, бывшее в сущее, «нет» в «есть». Я хохочу в лицо злому Времени-Сокрушителю! В своем «театре для себя» я с наслаждением ему доказываю, что доколе я жив, дотоле ничто не умрет для меня! Ничто не может умереть в границах моего хотенья, в границах силы моей памяти, в границах магии моего преображающего духа!

Для меня давно уж стало совершенно ясным, что обратить мнемоническое представление в представление живой действительности можно только чрез театр, т. е. чрез *искусство инсценировки* памятных моментов из купной жизни нашего «я» с «я» похищенного Временем. Что при таких инсценировках *главное* для режиссуры этого рода «театра для себя» состоит в том, чтобы по возможности воспроизвести (оживить) все те обстоятельства, при каких имело место особенно памятное для нас общение с исчезнувшим, — об этом, я думаю, не стоит и распространяться, в виду полнейшей очевидности этого *главного* для «театра воспоминаний».

Я ограничусь лишь напоминанием, что обращение «момента прошлого» в «момент настоящего» возможно только при такой инсцене, во

*) «По моему, — говорила В. Ф. Коммиссаржевская, — нельзя сыграть хорошо роль, где так часто себя узнаешь. С той только минуты начинаешь хорошо играть, когда отрешаешься от себя и вскочишь в изображаемое лицо, а себя есть ли охота подавать». (См. Сборник памяти В. Ф. Коммиссаржевской, 1911 г., стр. 141).

главе угла которой положен строгий до последней мелочи, в своей психологической предустановленности, *ассоциативный метод*. Поэтому порой от, так сказать, второстепенного зависит здесь главнейшее, т. е. в конце концов *оживление до полной иллюзии* как бы «сущего в настоящем» того, о чем ненагретая ассоциативной инсценированной память говорит нам как о «существующем в прошлом» *).

Наше «я» — учит Анри Бергсон — не может снова пройти сквозь прежние свои состояния, потому что сознание подобно потоку, постоянно увеличивающемуся и никогда не возвращающемуся к своим истокам. «Не наше настоящее я, — говорит он, — возвращается к прошедшему, чтобы найти в нем события, о которых оно желает вспомнить. Напротив, наше прошлое, следуя естественному наклону психологической жизни, спускается до нашего настоящего. Иначе сказать, для того, чтобы вспомнить, мы должны покинуть настоящее состояние сознания и *переделать его на подобие прошлого*».

Вот это самое, т. е. *переделка* настоящего в прошлое, но уже не духовно, а *материально*, и является ближайшей задачей режиссуры при инсценировке воспоминаний.

Все это так. Но все это касается в конце концов театра «для себя», а не театра «для других».

Никто не видел до сих пор «автобио-реконструктивной» маски, — как я ее называю, — на сценической площадке перед многолюдным собранием.

Самая мысль о такой маске на публичном спектакле кажется нам невозможной странностью и уж подлинною «неслыханностью» в точном смысле этого слова.

А между тем такую именно «невозможную странность», такую именно в точном смысле «неслыханность» мне довелось увидеть однажды, и об этом я хочу (я должен) здесь хоть кратко рассказать.

Начало моего рассказа очень просто.

Познакомился я года два тому назад с педагогом 13-й Единой Трудовой Школы (быв. 3-й гимназии), Николаем Павловичем Ижевским, — личностью высоко-одаренной во многих областях науки и искусства, с умом *по своему* пытливым и потому совсем оригинальным «в подходе к вещам».

Прекрасный музыкант, театровед и просто душевно-симпатичный человек, —

Н. П. Ижевский пленил меня сразу настолько, что мы с ним очень скоро, что называется, «сошлись»; часто подолгу «музицировали», играя в четыре руки *opus'ы* новейших композиторов, вели беседы об интимнейшем в жизни человека, обменивались откровенностями, делились секретами.

Из последних Н. П. Ижевский поведал мне однажды «историю», которая его глубоко волновала и как педагога, и как психолога-философа. —

*) См. «Театр для себя», ч. III, стр. 196.

Четырнадцатилетняя девочка, прельстительная внешностью и чарами своего детского кокетства, пленила шесть учеников старшего класса, в возрасте от 14 до 16 лет, которыми, как в смысле образования, так и в смысле нравственного развития не только интересовался «по долгу службы», но, — скажу прямо, — просто лично увлекался Н. П. Ижевский, смотревший на своих учеников, как на своих младших товарищей.

Последние не скрывали от своего друга и духовного руководителя никаких тайн; понятно, что и их коллективное, а вместе с тем и дифферентно-индивидуальное увлечение девочкой-подростком не могло долго оставаться в неизвестности для зоркого и вызывающего на последнюю откровенность Н. П. Ижевского.

Вскоре дневники, письма, стихи, словом все, имевшее непосредственное отношение к оригинальному «роману» школьников, стало достоянием гуманно-просвещенного педагога, пристально-внимательно отнесшегося к «Frülingserwachtung» в стенах родной ему школы.

Он первый из педагогического персонала узнал, что для каждого из шестерых «влюбленных» — самыми дорогими были инициалы «Н. П.», которые нещадно вырезывались перочинным ножом чуть ли не на всех партах и украшали все стены класса, что все разговоры неизменно сводились к одному и тому же разговору о «ней», что все, что связывалось с «ее» именем, обладало животрепещущим интересом и почти ничего, кроме «нее» не существовало в то время для впервые влюбленных. «Один за другим завязывались романы, сплетались друг с другом, сталкивали дружбу с изменой, притворство и ложь с искренними чувствами, запутывая все больше и больше взаимные отношения, заставляя чуть ли не в один и тот же день говорить совершенно разными словами об одном и том же. И незаметно, — сообщает один из «героев» этого «романа» *), но бесповоротно, роковым образом сказалось все это на дружбе тех шестерых, которые составляли единую и нераздельную, как казалось, шестерку; сначала это способствовало как будто еще большему сближению друг с другом, потом стало наступать заметное охлаждение, образовывались более тесные группы по два, по три человека, состав их беспрестанно менялся, натянутые отношения быстро сменялись особо короткими, через-чур дружескими, в большинстве случаев остававшимися, однако, искусственными отношениями... Эти переживания, эта игра, не то в шутку, не то в серьез, этот маленький театр, который устраивал каждый для себя — наполняли жизнь не только шестерки, но и тех, участие которых сначала во всем этом не обнаруживалось, а потом совершенно случайно открылось... Можно сказать, почти *весь класс жил одним и тем же...*»

*) Пользуюсь с благодарностью любезно предоставленными мне заведывающим 13-й единой труд. школой Н. А. Соколовым материалами.

Можно подумать, что в этом «недоуменном казусе», совершенно исключительном в педагогической практике, Судьбе угодно было послать настоящее испытание находчивости и такту талантливого наставника.

Н. П. Ижевский, повидимому, сразу понял это и дал себе немедля ясный отчет в «происшедшем».

В результате такового отчета и подлинно недюжинного ума соображений, Н. П. Ижевскому, горячо сочувствовавшему весенней жизни класса и целиком увлеченному «романическим водоворотом», в какой попали юные и потому совсем неопытные «питомцы науки», — пришла в голову прямо-таки невероятная, немислимая, на первый взгляд, идея: *инсценировать весь этот необычайный «роман», со всеми его сложными перепитиями, и заставить кровных участников его изобразить самих себя, со всеми их интимными переживаниями на подмостках театра.*

Нет ничего удивительного, что подобная идея сразу же встретила единодушный протест со стороны тех, кто призывался реализовать ее персонально на сцене. Тем более, что по первоначальному замыслу автора этой идеи обстановкой пьесы должна была служить школьная жизнь: — слишком уж реальными, болезненно реальными могли показаться артистам их роли, с одной стороны, а с другой — на скользкой тропе полной реализации событий и переживаний слишком трудно было устоять так, чтоб не скатиться в сторону фарса вроде «Иванова Павла», соч. Раппопорта. Вместе с тем школьная жизнь, — по мнению «шестерки», — представляла слишком мало данных для серьезной сценической интерпретации, другими словами, эта жизнь не была достаточно театральна! Наконец, весь материал, все жизненное, драматическое действо стояло в слабой связи со школьной жизнью, вернее, с ее внешней формальной стороной.

Тот цикл эпизодов из жизни «шестерки», который привел Н. П. Ижевского к его идее инсценировки, представлял собою совершенно завершенный круг, всплывший на фоне отличной от школьной жизни, и было бы большой ошибкой в трактовке такого «сюжета» ввести его на сцене в школьные рамки! — Ведь в жизни он вышел из них и захватил широкой волной всех своих участников, почти одновременно! Эта одновременность может с первого взгляда показаться странной, но разъясняется, если принять во внимание *тесное духовное общение*, существовавшее между группой лиц, бывших в интересовавшей Н. П. Ижевского инсценировке «действующими лицами».

Когда все эти соображения были приняты Н. П. Ижевским во внимание и когда он, хорошо познакомившись с материалом задуманной инсценировки, задался вопросом, каким сценическим символом обозначить ту законченность и выделенность действия, которые стали столь очевидными для всех, — между педагогом и его учениками состоялось совещание, на котором, после страстных «дебатов», было вынесено поистине знамена-

тельное для истории театра и педагогики постановление *о возможности и желательности постановки в стенах школы пьесы из жизни учащихся, изображающих их самих in perfectum в их же собственном исполнении*. Тут же был разрешен вопрос о степени полноты соответствия между действительно бывшими фактами и их сценическими отображениями и состоялось решение об облечении всего «романического» материала в форму комедии del'arte, разыгрывающейся на фоне карнавала.

Это решение сразу-же перенесло дело из области теории и мечтаний в область действительности, примирив некоторые пререкания из-за создавшихся противоречий, хотя в то же время создавая ряд новых, быть может, еще более затруднительных.

Приступили к репетициям.

— «В строгом смысле слова их нельзя было назвать репетициями,— сообщает в присланном мне «мемуаре» А. Вальтер, один из участников готовившегося спектакля:— например, первая репетиция была почти исключительно посвящена разрешению некоторых сценических проблем. Дело в том, что, приняв комедию del'arte, как скелет для расположения материала, мы себя связали некоторыми обязательствами относительно действующих лиц; попросту говоря, нам пришлось вкладывать в схему содержание, в сильной степени ей не соответствующее. Наши действующие лица не укладывались в роли Арлекина, Пьеро и т. д., как по характеру отдельных участников, так и по некоторым сценическим требованиям. Наша постановка была очень строгой инсценировкой действительности: все, даже чрезвычайно мелкие эпизоды явились отражением действительно случившегося, и действующие лица, поскольку возможно, играли самих себя. Этими соображениями объясняется введение в comedi'ю del'arte доктора Фауста, «человека без маски», разговора о естественности и лжи в любви и т. д. С другой стороны, некоторые детали были внесены из соображений чисто сценических, в целях скрепления и объединения отдельных эпизодов, а также ради оживления инсценировки; таковыми, например, явились введение пролога, Мага и его ученика и т. д.».

«Основной задачей репетиций—продолжает А. Вальтер—была выработка сценария и эта задача была проведена исключительно на репетициях. Ролей не было. Каждый сам говорил то, что считал нужным, каждый сам творил свою роль. И эта задача оказалась весьма затруднительной. Очень трудно даже составить представление о том, что заключается в задаче «играть самого себя», это очень и очень сложная задача. Поскольку мы ее разрешили, нам сказать трудно. Но, все-же, несомненно, наиболее трудной, наиболее неблагоприятной задачей представлялась выработка сценария. Технически она производилась непосредственно на репетициях—актеры играли, не участвовавшие в данных сценах вносили свои поправки и предложения, и мало по малу, кирпич за кирпичем, создавалось здание



нашей инсценировки. Это была до крайности невзрачная и в то же время колоссальная работа. Надо принять во внимание, что участвующие все были весьма юного возраста, 15—16 лет. Было лето, хотя еще и шли учебные занятия; времени было мало. Был целый ряд чисто технических затруднений в смысле постановки: отсутствие сцены (в общепринятом смысле слова), отсутствие каких бы то ни было технических сценических средств, однородность освещения, отсутствие музыканта (пианиста). (Надо заметить, что импровизация артистов происходила на музыкальном фоне). Николаю Павловичу Ижевскому приходилось одновременно и давать советы артистам, и обрабатывать сценарий, и играть на рояли. Еще одной из наиболее существенных причин трудности проведения данной постановки была интимность и тонкость переживаний, которые приходилось открывать на каждой репетиции, почти в каждом жесте артиста. И еще чрезвычайно много обстоятельств затрудняли проведение в жизнь постановки. Словом—было отчего придти в отчаяние и актеру, и режиссеру, и автору. Актеру—от трудности (в сценическом отношении) его роли и от неопределенности ее, и, благодаря тому, что ему приходилось играть самого себя; режиссеру—от недостатка технических средств, от невыработанности сценария; автору—от чрезвычайной затруднительности согласовать свои замыслы с требованиями актера и режиссера, и если теперь принять во внимание, что актер, режиссер и автор—все трое совмещались в лице каждого из артистов, станут до некоторой степени понятны те трудности, которые нам пришлось преодолеть и которые не могли не отразиться на пьесе, придав ей некоторую неоднородность в структурном отношении, некоторые длинноты и другие сценические недостатки. Я и сейчас с удивлением думаю, каким образом нам удалось перешагнуть через все эти затруднения, и полагаю, что громадную, исключительную роль в этом сыграл Николай Павлович, который своим неутомимым и настойчивым преследованием цели, своей энергичностью и неунывающей бодростью заразил исполнителей; благодаря ему, в сравнительно короткий срок была проведена выработка сценария и срежиссирована с психологической, а отчасти и с внешней стороны общая композиция инсценировки».

«Выработка отдельных ролей, как я уже говорил (пишет А. Вальтер), принадлежала отдельным артистам, что, конечно, внесло свои благоприятные и неблагоприятные стороны в общую композицию. С одной стороны была избегнута некая однотонность, которая являлась следствием того, что человек, как бы он объективен ни был, не может совершенно по произволу менять свою точку зрения. С другой стороны это обстоятельство внесло, быть может, некую излишнюю пестроту и неоднородность в инсценировку; я, конечно, как участник, в этом деле не судья».

«Окончательную, чисто зрительную режиссуру, режиссуру жеста и движения взял на себя Михаил Дмитриевич Туберовский, которому при-

надлежит композиция движения в прологе и некоторые изменения движений в других действиях. Об них говорить, конечно, довольно трудно, надо видеть движения; но, в конечном счете, я думаю, что и М. Д. Туберовскому принадлежит довольно значительная доля в общей концепции сценической непрерывности».

М. Д. Туберовский вместе с тем заведывал и художественно-декоративной частью, где работа была достаточно обременительной, особенно в области костюмов, которые пришлось буквально сшивать по кусочкам.

Получившаяся в результате всего этого импровизационного коллективного творчества пьеса была озаглавлена «*Так было—так не было*»,—названием, которое как нельзя более подходило к «условному» замыслу юных автобио-реконструктивистов.

О действующих лицах этой необычайной, абсолютно новой как по содержанию, так и по фактуре пьесы, А. Вальтер сообщает следующие данные.

Маг и его ученик—введены почти исключительно с целью придать пьесе некую законченность; являются лицами, очевидно, вымышленными и никого не преобразующими. Участвуют в прологе с целью несколько пояснительной, т. е. объясняют зарождение карнавала, его чудодейственность и мистичность; маг и ученик введены также в четвертом действии—с целью избежать монолога Коломбины (обуславливающего ее возвращение в карнавал).

Франт с цепочкой. Личность по преимуществу комическая (с цепочкой—потому, что носил таковую в целях придания себе более респектабельного вида: не имея часов, носил на оной свисток), несколько фатоватая, и из поклонников Коломбины наиболее серьезный, однако, весьма изящный и... пустоватый.

Подруга Коломбины. Личность до некоторой степени собирательная (у подлинной Коломбины оных подруг было количество изрядное). Введена отчасти для связности действия, с целью дать возможность выяснения психологии Коломбины из диалогов. Особа сама по себе в достаточной мере бесцветная, хотя и весьма добродетельная.

Доктор Фауст. Личность по стилю не слишком подходящая к комедии del'arte, но вынуждены были ее ввести, так как «Фауст» является образом наиболее подходящим из всех известных сценических и литературных героев к лицу, действительно существовавшему среди поклонников Коломбины. Этим достаточно выясняется характер действующего лица. В кратких чертах—личность цельная, тип интеллектуально волевой, но в то же время совсем не похож на человека «не от мира сего». Любовь его к Коломбине также носит черты, отличающие его характер. Она—по преимуществу головная, в достаточной мере абстрактная, но—постольку—поскольку... Фауст пользуется уважением среди кавалеров карнавала, но

Коломбина шутит с ним, как и с другими кавалерами, только с ббльшим увлечением.

Человек без маски (именуемый «вольным сыном природы» и другими значительно менее почтенными именами). По темпераменту—холерик, по характеру—тип преимущественно волевой, житель леса, упрямый, прямолинейный, довольно простодушный, но в то же время тонко чувствующий. В то время, как почти все кавалеры карнавала чувствуют себя в карнавале—в своей атмосфере, человек без маски угнетен его условностями. И потому, как личность свежая, а не манекен карнавала, он производит на Коломбину неотразимое впечатление, ему даже удастся извлечь возлюбленную из вихря карнавала, но не надолго, потому что Коломбина без карнавала жить не может.

Арлекин. Личность соответствует во многом образу классического Арлекина. Веселый, себе на уме, дружен со всеми кавалерами карнавала, что не мешает ему, однако, секретно с Коломбиной одурачивать их. Личность художественно эмоциональная. Играет на гитаре. Пленяет сердца дам карнавала. Пленил и Коломбину, но как то поверхностно («ты, единственный»—в сторону): — «на время карнавала». Легкомыслен, подвижен; одним словом к нему, да к Коломбине, пожалуй, подходят более всего их классические имена.

Коломбина. Легкомысленная, не слишком умная, но очаровательная, царица карнавала. Одурачивает всех кавалеров; с Арлекином то сердится, то мирится. Один раз серьезно за время карнавала на нее подействовала встреча с «человеком без маски»; она уже готова была покинуть карнавал с тем, чтобы идти за ним, но ее легкомысленная натура не позволяет ей этого; она возвращается на карнавал, влекомая его чарами.

Пьеро. Личность и драма этого лица не вполне укладываются в классический образ Пьеро. Он Пьеро—постольку, поскольку дело идет о любви к Коломбине—тут он неумный и безнадешный вздыхатель, как и подобает. Но в его роль вкладывается новый материал—его недовольство общей обстановкой, лживостью и неестественностью карнавала. В этих вопросах он, по воззрениям, сильно отличается от Фауста, который, наоборот, настаивает на том, что в любви ложь—самое драгоценное, что в карнавале именно и хороша его причудливая искусственность; на почве этого разногласия у Пьеро с Фаустом и возникают споры, которые впрочем не приводят к определенному результату.

Вот краткий конспект пьесы, почти целиком разыгрывавшейся на фоне музыки.

П Р О Л О Г.

(Раздается музыка, вначале нежная и томительная, потом величаявая и грозная, переходящая, по знаку Мага, в музыку карнавала). Входит Маг, сопровождаемый учеником. Жалуется на зубную боль. Он истощил все способы и решил карнавалом

заглушить свои страдания. По данному им знаку из глубины выбегают по очереди одетые в плащи Коломбина, Подруга, Арлекин и Пьеро. Маг к ним прикасается, ученик одевает на них маски. Из публики раздается крик Фауста—«можно и мне?». Ему разрешают. Общий танец.

Действие I-е.

Явление I.—Коломбина и Подруга бегут по сцене и прячутся за ширмы.—II. Фауст, Арлекин и Пьеро — ищут.—III. Коломбина и Подруга выходят, говорят о кавалерах; Коломбине нравится Арлекин; Подруга обвиняет Коломбину в легкомыслии (убегают).—IV. Франт и Фауст. Фауст знаком с Коломбиной, Франт просит и его познакомиться.—V. Арлекин вбегает, здоровается с Франтом, вынимает платок, теряет книжку, убегает в публику.—VI. Входят Коломбина и Подруга. Коломбина поднимает книжку. Подруга не рекомендует читать и уходит. Коломбина читает—в книжке женские имена.—VII. Арлекин. «Простите за тайны»,—разговор с Коломбиной, дарит ей розу, расходятся.—VIII. Подруга с Коломбиной. Входит Фауст, читая письмо, в письме—поклон Коломбине.—IX. Входит Франт. Фауст представляет его дамам, Франт приглашает Коломбину на менюэт (уходят).—X. Входит Пьеро; на авансцене он обращается к публике. Пьеро влюблен—ищет Коломбину. Коломбина: «какой чудак»—уходит.—XI. Арлекин входит, здоровается с Пьеро, Пьеро спрашивает—не видел ли Коломбины, приходят Франт и Фауст, все вместе ищут Коломбину; Пьеро неуважительно отзывается о Франте, их разнимают. (Пьеро, Франт и Фауст уходят).—XII. Коломбина (входит). Арлекин объясняется в любви, Коломбина—также. Кто-то идет (уходят за ширмы).—XIII. (Входят) Пьеро, Фауст и Франт. Ищут Коломбину и Арлекина—кричат в публику, Арлекин и Кол. откликаются за ширмами (Франт и Фауст уходят).—XIV. Пьеро на авансцене, Коломбина и Арлекин выходят из-за ширм, садятся на скамейку; Коломбина предлагает одурачить Фауста, Арлекин не соглашается, отворачиваются. Между ними садится Пьеро, оба его целуют, узнают свою ошибку, выталкивают. Арлекин соглашается одурачить Фауста.

Действие II-е.

Явление I. Пьеро и Коломбина спорят из-за одного костюма, держат пари; Фауст на сцене. Спрашивают Фауста, на что им спорить. Фауст—«спорьте на мою любовь».—II. Коломбина и Фауст. Сзади Арлекин закрывает Фаусту глаза, Фауст вырывается, видит Коломбину. Коломбина завлекает Фауста. Арлекин (за ширмой)—«не пора ли кончить?» Коломбина убегает.—III. Входит Франт. Франт хвастается перед Фаустом, будто его любит Коломбина (уходит).—IV. Входит Арлекин. Арлекин убеждает Фауста в том, что его, Фауста, любит Коломбина.—V. Арлекин с гитарой. Пьеро и Франт. Фауст учит песню про сердце Коломбины.—VI. Проходят Коломбина и Подруга. Все кавалеры по своему смущены. Франт деланно возмущается. Пьеро упал со спинки скамейки кверху ногами. Влопались. Фауст, Франт и Пьеро уходят.—VII. Арлекин и Коломбина. Коломбина—«кто сочинил эту песню»; Арлекин—Фауст (уходит).—VIII. Фауст и Коломбина. Коломбина возмущена; Фауст дарит ей стихи (Фауст уходит).—IX. Коломбина на скамье читает стихи, Пьеро слушает, объясняется в любви (уходит).—X. Коломбина и Фауст. Коломбина просит Фауста написать письмо Франту, в котором она назначает ему свидание. Фауст сперва не хочет обманывать друга, потом соглашается (уходит).—XI. Фауст идет на сцену с книгой. Арлекин (подбег.) «Фауст у тебя книга перевернута» (вбегает на сцену за ширму).—XII. Входит Коломбина, встречается с Фаустом. Фауст принес письмо. Коломбина бросает письмо так, чтобы Франт нашел его. Фауст объясняется в любви,

Коломбина его дурачит. Арлекин из-за ширмы благословляет их (уходят).—XIII. Франт поднимает письмо, читает, ему назначено свидание в 8 час. на этом месте. Спрашивает у публики—«который час?»—«8 часов».—XIV. Входит Пьеро, садится среди сцены, Франт старается его выгнать, показывается из-за ширмы Коломбина. Франт целует ей руку, Пьеро уходить не хочет. Франт выталкивает Пьеро. Коломбина убегает. Франт ищет.—XV. (Собираются) Арлекин. Фауст, наконец, Пьеро. Франт бросается на Пьеро—их разнимают.—XVI. (Входят) Коломбина с Подругой, все идут ужинать (Коломбина утешает Франта).

Действие III-е.

Явление I. Франт, Фауст и Арлекин. Франт хвастается любовью Коломбины. Арлекин советует не думать, а действовать.—II. У входа в зрительный зал шум. Человек без маски хочет войти, его не пускают, он вламывается. Арлекин, Франт, Фауст здороваются с человеком: «откуда ты?»—«Из болота». Разговор о карнавале и Коломбине. Человек хочет видеть.—III. Ученик Мага. Не хочет пускать человека. Человек бьет ученика.—IV. Фауст и Пьеро. Разговор о любви и искусственности. Спор. Расходятся.—V. Пьеро и Коломбина. Пьеро негодует Коломбине на ложь в карнавале. Коломбина не понимает. Расходятся.—VI. Арлекин грустный. Коломбина вбегает. Арлекин ревнует, но потом мирятся, целуются (Коломбина убегает).—VII. Фауст (входит), видит целующихся, негодует. Арлекин обещает оставить Коломбину, возобновляют дружбу, идут в трактир.—VIII. Человек (в публике). Коломбина играет в мяч на сцене, кидает человеку, тот ловит. Коломбина убегает.—IX. Человек с мячиком. Арлекин и Фауст (входят). «Чей мячик?»—«Коломбины». Арлекин и Фауст предлагают одурачить Коломбину. Человек соглашается. XI.—Входит Коломбина. Коломбина и человек. Коломбина—все кавалеры—«это только шутка». Человек—«не верю» (отдает мячик).

Действие IV-е.

Явление I. Коломбина и Подруга. Коломбина—«я чувствую что-то такое. Человек—«лучше из всех ты».—II. Фауст (входит). Коломбина. Фауст—«я хочу видеть душу Коломбины». Коломбина—«а если у Коломбины нет души?» Фауст—«тогда прощайте, Коломбина» (уходит).—III. Пьеро (входит). «Прощайте, Коломбина. Я уезжаю, если вы покинете карнавал, то вас будет ждать Пьеро» (уходит).—IV. Коломбина и Человек—«я люблю вас, я житель леса, люблю природу и т. д. (монолог), хотите идти за мной?» Коломбина—«хочу», снимает маску (уходит в публику).—V. Вбегают Фауст и Арлекин. Смотрят вслед Коломбине без маски; «мы одурачены».—VI. (Входит) Франт. Хвастается победой над Коломбиной, ему показывают Человека с Коломбиной. Франт падает в обморок. Придя в себя: «Она без маски проигрывает, пойду на Испанскую площадь, там меня ждет Лаура» (уходит).—VII. Ученик и Маг. Маг делает заклинание. Коломбина должна вернуться, она возвращается, ученик надевает маску, маг и ученик уходят.—VIII. Входит Арлекин, видит Коломбину в маске. «Наша игра кончилась»; за сценой слышен голос Франта. Коломбина с Арлекином вальсируют, уходят.—IX. Ученик Мага. «Их игра кончилась. Всему конец».

Пьеса эта была представлена 25-го июня 1921 года.

Я видел спектакль этой пьесы и считаю его счастливым событием в моей жизни,—жизни профессионально-театрального мастера, т. к. впервые

узрел на этом спектакле невиданную мной до тех пор *автобио-реконструктивную маску, соборно явленную* не «для себя» только, а и «для других».

Писать об этом спектакле в плане обычной журнальной театральной критики как-то не хочется, да, пожалуй, и не нужно. Играли хорошо, но... ведь это-же были не актеры, к которым приложима обычная мерка!.. Декорационное обставление сцены было недурно, просто, со вкусом, в мудром расчете на условную минимальность... но опять-таки ведь это-же была не сцена, а только эстрада актового зала бывшей 3-й Гимназии!.. Костюмы, хоть и «буквально сшитые из лоскутов», в общем вполне отвечали карнавальности действия, но... «подходить» к ним, как к нарядам из театральной гардеробной, по эскизам художника *ad hoc* выполненным, разумеется, не приходится!

И то-же можно сказать про текст (*all'improviso*), про музыкальное сопровождение, про грим, про танцы и вообще про всю пластическую сторону спектакля «Так было—так не было».

Но в этом спектакле заключен был интерес, куда более притягательный, чем даже в самом безукоризненном представлении виртуозно-сыгравшейся первоклассной труппы! И я без всякого преувеличения скажу, что, если-бы меня тогда, накануне 25-го июня 1921 года, позвали на спектакль, «поставленный» самим Гордоном Крэгом или Максом Рейнгардтом, при участии Шаляпина, Сары Бернар, Элеоноры Дузэ и им подобных,—я бы все-таки пошел на спектакль «Так было—так не было», представленный юнцами-любителями, да еще под руководством театрала-любителя, потому что здесь меня ждало совершенно новое, в своем задании и в своей реализации, зрелище:—соборно срепетованный и публично представленный спектакль *новых масок*, неизвестный еще в истории театра, и имевший конечной целью смелый и высокий в своем замысле, педагогический эксперимент.

Какой эксперимент, и удался ли он,—это легко поймется из следующего «диалога» между мною и Н. П. Ижевским, через неделю после представления «Так было—так не было».

— Ну, что, Николай Павлович! В каком положении «роман» ваших учеников? Кому после спектакля отдает «преферанс» очаровательная «Коломбина?»

Н. П. Ижевский лукаво улыбнулся и тихо произнес:

— «Романа» больше нет; он *сценически изжит*.

— Новый род «театро-терапии?»—спросил я, вспомнив о своей статье, за год до этого диалога помещенной под таким названием в одном из номеров «Жизни Искусства» *).

*) №№ 578 и 579 от 9 и 10 октября 1920 г.

— Назовите это как хотите,—отвечал Н. П. Ижевский,—но факт на-лицо: они стали «равнодушны» к предмету своего увлечения! А некоторые, так даже слишком «трезво», пожалуй, критикуют *игру* Н. П.:—и не сегодня-завтра эта *критика* от игры на сцене перейдет к игре «партнерши» в жизни.

Словом—любовное навождение, гнетущее, не взирая на всю свою сладостность, вредное своей скороспелостью для слишком юных душ, опустошительное для них самим обогащением их преждевременным «любовным опытом», навождение, создавшее ненормальную атмосферу класса, искусственный язык между закадычными друзьями, бесплодное раздражение нервной системы и, наконец, просто помеху учебным занятиям,—это навождение было легко, красиво и мудро рассеяно *чарами театра* по инициативе и под руководством высоко-просвещенного, гуманного и смелого в своих опытах педагога.

Н. П. Ижевский, повидимому, хорошо внял Аристотелю, учившему о *кафарзисе (очищении)*, как о конечной цели драмы. Но я думаю—никогда, ни до Аристотеля, ни после него *изживание страстей*, приводящее к благостному *очищению* от них, не ставилось целью спектакля для *самых его участников*.

«Так не было» ни до, ни после Аристотеля!

«Так было»,—и было *победно-успешно*,—можем мы теперь сказать, лишь после опыта педагога Н. П. Ижевского в 13-й Единой Трудовой Школе 25-го июня 1921 года.

Н. Евреинов.

...

Наблюдения над учащимися выпускных классов 13-й сов. труд. школы (б. 3-й гимназии) по автобиографическим данным их характеристик.

Д-р С. М. Доброгаев.

...«Минувшее проходит предо мною...
Давно-ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-окиан»...

Из «Бориса Годунова»

А. С. Пушкина.

Идея предлагаемого читателям очерка возникла таким образом. Ученики последних трех выпусков 13-й советской школы (б. 3-й гимназии), где я работаю с 1919 года, во время практических занятий по моему предмету составляли характеристики своей личности автобиографического содержания. При этом, составляя такие, иллюстрированные примерами из

личной жизни, характерологические описания своего «я», учащиеся, по заранее выясненному плану занятий, должны были излагать как эндопсихический, так и экзопсихический элемент своей личности.

Под «эндопсихикой» они должны были разумеать внутренний механизм человеческой личности, особенности той основной психофизиологической организации, которую принято обозначать общими терминами—темперамент, психическая одаренность, способности памяти, внимания, мышления, воображения, чувства, волевого усилия и т. д. Следовательно, они должны были понимать эндопсихический элемент своего «я», как психофизиологическое ядро своей личности с его сложно-организованными психическими функциями, тесно между собою связанными, хотя и относительно независимыми в своей работе. Таким образом, изучение этой стороны личности ученика по данным его автобиографических описаний могло бы дать нам только представление вообще о способностях данного индивидуума без выяснения среды, его окружающей, его идеалов, задач и целей жизни, бытовых и исторических условий, в которых он живет, воспитанных в нем привычек и потребностей и т. под. *).

Учение об «экзопсихическом» элементе человеческой личности излагалось ученикам в следующей формулировке. «Содержание экзопсихических проявлений определяется отношением личности к внешним объектам, к среде, причем понятие «среды» или «объектов» берется в самом широком смысле, в котором оно объемлет всю сферу того, что противостоит личности, и к чему личность может так или иначе относиться: сюда входит и природа, и материальные вещи, и иные люди, и социальные группы, и духовные блага—наука, искусство, религия,—и даже душевная жизнь самого человека, поскольку последняя также может быть объектом известного отношения со стороны личности. Очевидно, что индивидуальность человека определяется не только своеобразием его эндопсихических черт, в роде особенностей памяти, воображения и т. п., но в неменьшей мере и его отношениями к окружающим явлениям, тем, как каждый человек реагирует на те или иные объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен, т. е. согласно нашей терминологии, его экзопсихическими проявлениями **).

Таким образом, при изучении экзопсихических описаний учеником жизни его личности, мы в таких автобиографических характеристиках найдем отражение той внешней бытовой обстановки и тех внутренних,

*) Все учение об «эндо и экзопсихике» излагается нами так, как оно развито творцом этой теории проф. А. Ф. Лазурским в его «Программе исследования личности», 3-е изд., 1915 г.; а также в посмертной его монографии «Классификация личностей». 1922 г. Петроград. Госиздат.

**) Проф. А. Ф. Лазурский. Классификация личностей. Под ред. М. Я. Басова и В. Н. Мясищева. Петроград. Госиздат. 1922, стр. 10.

конкретных, дающих содержание всей жизни его, переживаний, в которых проходит в настоящий исторический момент жизнь ученика, и которые дают оформляющий материал для его будущей личности. Тут будет все, что входит в круг активных запросов его «я» к окружающей среде, всё, что выбирает ученик из окружающей жизни, как интересное, волнующее, возбуждающее к активности, всё, что должно отразиться на той или иной линии деятельности в его дальнейшей жизни и что создаст характерное содержание, как его личности, так и творимой ею жизни, и т. под. Конечно, и отрицательная реакция учеников на те или иные явления окружающей действительности, т. е. их способность оставлять из окружающего незамеченным то, что для нас, взрослых, является глубоко волнующим, тоже дает богатый материал для многообразных заключений.

Здесь я должен еще оговориться относительно методов работы учеников, что, дав им понятие «эндо и экзопсихического», я не связывал их, при практическом осуществлении автохарактерологической работы, никакими детальными программными рубриками. Я предоставил им высказываться без стесняющей планировки, оставляя большой простор проявлению, творчества, по методу свободных ассоциаций, хотя и руководимых общими направляющими идеями. А такой момент должен еще более усиливать характерологическое значение всего того, что рассказали ученики в описаниях своих личностей. Материал, который мною был исследован, представляет собою работы учеников трех выпусков, трех учебных (1920—1922) лет, а потому полученным выводам можно придавать значение, как выводам, характеризующим ученическое настроение данного времени. Чтобы не утомлять приведением подробных схем, я буду в дальнейшем излагать суммарные выводы, иллюстрируя их цитированием выдержек из подвергаемых изучению характерологических ученических описаний; здесь же только скажу, что количество исследованных характеристик 67; из них 10 написано девочками, а 57 мальчиками; возраст писавших 15—20 лет.

Прежде всего нужно отметить, что нет ни одной ученической характеристики, в которой бы не говорилось об особенной заинтересованности, увлечении автора научным знанием. Эти научные интересы нередко имеют очень отдаленную связь с изучаемыми в школе предметами. «У нас была мода, говорит один юный автор, на разные, отвлеченные от курса школы науки; я цеплялся за них пламенно» *). Интерес к знанию обычно не имеет отношения к практическим потребностям жизни, но привлекает внимание учащихся ради него самого. Один из авторов, например, гово-

*) Все цитаты из характерологических описаний учеников я привожу буквально, не делая никаких изменений, сохраняя все особенности стиля.

рит, что его захватывает «интерес к математическим наукам, в которых я нахожу весь прогресс человеческого ума, стремящегося выработать понятия, основанные на чистом человеческом разуме, избегая всего, не имеющего определенных границ». Вообще преобладает тип искателя знаний с резко выраженным стремлением разумно объяснить ту массу непонятого, которая будирует молодой ум. Можно сказать, что, в большей или меньшей мере, всякий из написавших свою характеристику учащихся искренне стремится воспитывать в себе строго логическую последовательность и точность в систематизации научного материала, расширяя определенный излюбленный метод научного мышления на явления всего окружающего мира. «Основное увлечение, говорит один из типичных представителей указанной манеры юного научного мышления,—увлечение астрономией, как теоретической, так и практической частью ее, захватило меня очень сильно уже два года тому назад. С тех пор я постоянно занимался ею, пережил много счастливых моментов и увлекся настолько, что представляю свою будущность не иначе, как специалиста астрофизика... Когда я понемногу начал осваиваться с понятиями вечности и бесконечности, мне стали жалки люди и их мелкие земные страсти. Я не мог смотреть одно время на все земные интересы, как только с одной точки зрения,—сравнивая их с жизнью и бесконечностью вселенной и могуществом природы». Но такая строгая систематизация в выборе научных интересов немногим, конечно, дается до конца; более обычен среди учащихся тип научно не дисциплинированных, добывающих знания без воспитания строгой выдержки в изучении возбуждавших любознательность научных предметов. «Одно время я увлекался черчением, потом рисованием, архитектурой, философией, астрономией, математикой», говорит один автохарактеролог; и другие заявляют сплошь и рядом о вереницей идущих увлечениях естествознанием, психологией, философией, музыкой, историей искусств, математическими теориями, литературой и т. п. Таким образом, мы наблюдаем у исследованных нами учащихся не только свободное, самобытно возникающее увлечение вопросами науки и знания, но и в массе случаев эмоциональную окраску этих увлечений, свидетельствующую о глубоких корнях таких интеллектуально-эмоциональных актов в личности авторов написанных характеристик.

Вторым ярким лейт-мотивом, проходящим чрез все характерологические работы учащихся, является *направление внимания на вопросы нравственных требований, эгоизма и альтруизма, высших гуманных и низших чувственных влечений* пробуждающейся молодой личности. Отмечается у многих сравнительная сила нравственного чувства в борьбе с морально-отрицательными мотивами. «Нравственные обязанности, говорит один юный моралист, кажутся мне почти законами. Я стараюсь всегда и во всем не быть безнравственным; если поступаю дурно, чувствую угры-

зения совести». Это непосредственное ощущение нравственных требований является обычным основным базисом моральной стороны личности учащегося, как она рисуется в обычных попытках к осознанию себя. «В моей личности, говорит один из авторов, есть место и некоторой непрямоте, или сознательной хитрости. Хотя я чувствую, что должен и способен различать, что плохо и что хорошо, но признаю, что плохого у меня более, чем достаточно». Такая трансцендентальная мораль, при конфликтах с другими влечениями личности, может создавать мучительные экзотомплексы, как откровенно рассказывает об этом одна ученица: «я способна обидеть, оскорбить человека, а потом горько жалею об этом; но сознаться в этом обиженному и просить прощенья—не могу». Или вот другой более победный рассказ на эту же тему: «низшие животные чувства, правда, часто волнуют меня, но я стараюсь замкнуть их в умеренность и воздержание». Среди изученных характеристик учащихся не редки резко подчеркнутые случаи моральных требований, построенных на альтруизме, сострадании и непосредственной любви к ближним. «Я очень впечатлительна, говорит одна из таких учащихся, и отзывчива к радостям и горю других, но, сетует она далее, вместе с тем я не откровенна, злонамеренна и упряма»; или же довольно обычное, знаменательное в этом отношении заявление учащихся, что «работать для других мне доставляет большое удовольствие». Встречаются, но сравнительно редко, и мотивы общественно-утилитарного обоснования морали с признанием высшей целью моральной жизни служения общественному благу, или, как выражается такого типа моралист, стремление «создать из себя нравственно-целостную и уравновешенную личность, способную принести свою долю пользы человечеству». Чрезвычайно распространенное явление, которое мы встречаем почти в каждой характеристике, это самообвинение и самобичевание того или иного автора по поводу констатируемых им в себе явлений аморальности. «Чувства очень неприятные мне лично и столь же отрицательные это—эгоизм, трусость, самолюбие, забота о своем превосходстве над другими, честолюбие, тщеславие, рисовка собою, хвастливость, сомнение, самодовольство... боюсь даже продолжать их перечень, так их много». При этом интересно, что авторы обычно проявляют заметную склонность больше останавливаться мыслью и подвергать анализу свои аморальные черты, чем указывать и обосновывать свои морально-положительные переживания. В таких аналитических рассуждениях можно видеть замаскированное стремление авторов найти оправдывающие моменты в морально-отрицательном экзотомплексе их личности. «Касательно нравственных чувств, говорит один автор, должен сказать, что многие из них у меня были, но исчезли, или притупились, или заменились другими в зависимости от событий жизни. Так—чувство отзывчивости притупилось, а вместе с этим появился повышенный эгоизм. Чувство трусости и страха

у меня есть, но изменяется от того или другого моего мировоззрения. Тщеславие отсутствует у меня, но соревнование и самолюбие имеют место в моем характере. Я повышенно обидчив, но не злопамятен». Другой автор эти затаенные оправдательные мотивы высказывает еще определеннее: «Я эгоист в полном смысле слова, так как считаю, что человеку упрямому быть не себялюбивым трудно. Опять же преодоление этого, по крайней мере в обществе, требует большой силы воли... Я очень злой, в особенности, с теми, кто слабее меня; но из этого не следует, что я трус». Еще один из таких авторов вот как сетует по поводу контраста между своими моральными заданиями и их житейским осуществлением: «Я увлекся Уильямом Дж. Локком, и тип счастливого бродяги сделался предметом моего подражания. Но я не стал альтруистичен и великодушен; не столь бодр в перенесении неприятностей и сознателен к чувству долга, обязанностям, сколько просто огрубелым».

Третье место по частоте упоминания в ученических характеристиках, как продуктах авторского свободного творчества, тех или иных экзопсихических фактов занимают *вопросы миросозерцания, отношение учеников к философскому обоснованию жизни и к вопросам религии*. «Уже давно, говорит один из таких юных философов-богословов,—года три тому назад, когда я впервые стал рассуждать, я стал задумываться над серьезными религиозными, философскими и психологическими вопросами. Много пережил я религиозных сомнений, исканий; некоторые до сих пор еще мучают меня. Я любил уноситься мыслями в дебри отвлеченности, и всё земное, конкретное мало занимает меня». Такая потребность в составлении и просмотре общего миросозерцания представляет очень распространенное явление среди учащихся. Много раз они мучительно переживают тревожное раздумывание над вечными вопросами жизни, ее целью и смыслом; при этом видна догматическая вера в возможность выработки точно выявленного разумного взгляда на все вопросы жизни. «Нередко я, говорит один из таких юных искателей смысла жизни, начинаю думать о вечных вопросах; достаточно для этого мне прочесть или поговорить с кем-либо на темы о сущности Бога, о назначении человека и т. п., и я уже не могу сосредоточиться ни на чем другом. Несмотря на то, что я не могу прийти к определенному выводу, я все продолжаю думать; и я все мои умственные силы вкладываю в решение этих вопросов. Нередко такое искание продолжается довольно долго». Нужно отметить, что часто говоря о своих религиозных переживаниях, молодые авторы высказывают довольно смутное представление о божестве, бедность мотивов веры, ограниченность религиозного сознания. «Больше всего во мне развито религиозное чувство, говорит один из таких богоискателей. В тяжелые минуты жизни я всегда у ног божества. Бог—это чувство; я так его и называю». А другой автор так описывает свой религиозный переворот: «я рано стал интересоваться вечными вопросами. После-

двухлетних изысканий (в которых, впрочем, я проявил мало интенсивности, и по этим вопросам прочел очень мало) я пришел к более или менее определенному выводу атеиста, хотя в последнее время, заинтересовавшись «иоги», я принял много черт индусской философии, и уверовал в вечность жизни». Вообще можно отметить, что авторы в своем мирозерцании проявляют преимущественно гуманитарный интерес, имея в основе своих исканий смысла жизни проблемы моральной человеческой жизни и деятельности. Сплошь и рядом они заявляют: «я увлекаюсь различными философскими воззрениями, как религиозными, так и нравственными, стремясь найти в них основания для необходимости в моей жизни разумно-нравственных поступков»; более подробного анализа их философско-этического мирозерцания найти нельзя. Их оптимизм или пессимизм (а рассуждения на эту тему у авторов нередко) представляет собою, или дающее оптимистическое течение мыслей личное настроение, или пессимистический вывод из условий личной жизни. «Я оптимист, заявляет один автор, и стараюсь быть им, мало поддаваясь пессимизму». А представитель другого мирозерцания раскрывает такую картину своего мрачного пессимизма: «под влиянием личной жизни, домашней обстановки, которая резко переменялась с начавшейся для всех нас тяжелой жизнью, я стал задумчив, стал более углубляться в некоторые ранее меня не интересовавшие вопросы; и я стал, незаметным образом, скрытным и угрюмым человеком, пессимистом. Теперь мне хочется быть в стороне от жизни, я стараюсь оставаться наедине со своими мыслями». И такое стремление к периодическому одиночеству явление не редкое, особенно, у учащихся девочек; но обычно у этих последних мотивировка другая. Одна из таких учащихся описывает свое состояние следующим образом: «часто бывает у меня грустное настроение, и хочу быть одна со своими мечтами. Тогда, между прочим, мое настроение—это непрерывная мечта; люблю мечтать, глядя на угасающие зори, на луну и т. д.».

Перейдем теперь к вопросу об отношении учащихся *к окружающим их людям*, что в характерологических работах можно поставить на четвертое место по частоте обращения внимания авторов к этому вопросу. Здесь особенно интенсивно выражена потребность в товарищеской дружбе, как совершенно особенном, своеобразном явлении школьной жизни. «Только около трех лет, говорит такой юный друг, как я начал жить в школьной обстановке, в атмосфере товарищества и дружбы. Первые дни этой перемены в моей жизни произвели на меня огромное впечатление». Можно отметить, что широта этой потребности в дружеском общении стоит на довольно высоком уровне. У многих выражено стремление к очень глубокому и наиболее полному общению со всем классом, который рисуется, как судья личности сотоварищей в самом широком смысле этого слова. Один, например, из таких сотоварищей, начиная излагать

свою характеристику, прежде всего заявляет, что «я уже не буду судить о себе сам, а предоставляю это сделать классу; я же приведу только честно подробно и искренне примеры из моей жизни». Заканчивая свою работу, другой автор говорит: «вот все главное, что я могу сказать о моей личности; предоставляю классу и прошу беспристрастно судить о ней». Но есть авторы с более широким стремлением к интеллектуально-нравственному общению со всеми вообще, и за предметами школы находящимися, окружающими людьми. «Я сказал все, заканчивает свою характеристику один из таких почитателей общечеловеческой правды, что я мог здесь сказать; предоставляю же свое «я» на суд истины и людей». Или вот другое описание автором своих социальных инстинктов: «во мне есть также и жилки общности; я замкнут только в неподходящем для меня обществе, но в своем кружке я расхожусь, люблю в нем и «себя показать и людей посмотреть». Обычно ученическая дружба настолько проникнута симпатическим отношением к товарищам, что ставится на одну линию с общечеловеческой любовью, имея в своей основе запросы глубокого социального чувства. «Во мне сильно развито, говорит один из многих таких авторов,—чувство товарищества и склонность к дружбе. Дружба, как и любовь, для меня всегда источник наслаждений, с одной стороны и мучений, с другой».—Встречается некоторое количество, конечно, представителей и других социально-этических тенденций по отношению к окружающим, хотя в описаниях самих этих авторов сквозят осуждающие нотки к таким социальным навыкам. «Хитрость видна, говорит один из таких авторов, в том, что, будучи наказан, я всегда стремлюсь свалить вину на другого». Должно указать, что среди характеризующих себя учеников есть (правда—их немного) и отшельники по натуре, неохотно вступающие в общение с людьми, описывающие себя, например, так: «летом я бродяга, и это делает меня нелюдимым, неуклюжим, застенчивым, робким. Мне крайне тяжело среди чужих, в особенности, людей, которые не живут идеалами моей жизни; и я очень трудно схожусь с людьми». Интересна небольшая группа учащихся со склонностью к властвованию, хотя и без особой мотивировки этой особенности в их характере. «Я проявляю черты властолюбия, я люблю, чтобы мне служили и не привык особенно о себе заботиться. Эти черты были для меня всегда неприятны, но, не смотря на это, я не мог их подавить в себе». А другой автор говорит еще о более своеобразных проявлениях своего тиранства: «я очень груб и люблю властвовать над другими...; считают за жестокость мою черту простого любопытства, так как я глядел, как били скот, и сам резал кур». Наконец, хочется отметить еще высказываемое нередко учащимися тёплое, целостно-любное отношение к своей alma mater: «без сомнения, школа оказала на меня частью и худое влияние, но за то хорошее, что я от нее приобрел, я буду ей вечно благодарен».

Пятым явлением, о котором упоминается в ученических характеристиках, представляются *эстетические интересы* в самом широком смысле этого слова. Некоторые авторы находят эстетический элемент даже в своей работе: «я был и остался теперь еще идеалистом, поклонником ночного, звездного неба (которое автор изучал), верящим, что солнце «жжет нас красотой». Да я люблю красоту и все красивое..., я сочиняю стихи в честь звезд». И такое активное участие в эстетической жизни, такое стремление не только воспринимать прекрасное в природе и в произведениях искусства, и наслаждаться им, но и заниматься самостоятельным художественным творчеством, такая более широкая форма эстетических интересов представляет довольно частое явление среди учащихся. «Мне мало только слушать музыку; мне нужно самому воспроизводить звуки. Играя, я забываю всю окружающую обстановку, все неприятное мне, вообще—все то, что не касается музыкального творчества». При этом степень сознательности и дифференцированности эстетического идеала нередко оказывается высокою. «Из искусств, говорит один из таких юных эстетов, я увлекаюсь художеством, а в частности—живописью; имея сам способности к рисованию, я особенно часто восхищаюсь творчеством великих художников». Обычно юные авторы склонны придавать большое значение искусству, считая его важным и необходимым для жизни, заявляя об этом в довольно категорической форме: «интересы мои не ограничиваются обыденною жизнью: я ищу более возвышенного, идеального, красивого в поэзии искусства, в музыке». Должно отметить, что среди характерологов-эстетов не мало и таких, которые преимущественно останавливаются и любят художественную форму определённого эстетического творчества, но и в ней не выработали более или менее высоко-развитого художественного вкуса. «Музыку я люблю, говорит один из таких авторов, и несколько раз начинал обучаться игре на рояли, но терпения не хватало, и я бросал. Люблю дисгармонию и режущие ухо звуки. В поэзии люблю метр и стройный стих, равно как и нарушение его». Особенно часто встречается разбросанность художественного интереса у учениц, не редко характеризующих себя так: «люблю танцевать, слушать музыку, декламировать, играть в наших спектаклях; люблю красивое платье и красивые картины, дома, интересных героев в романах».

Шестым по порядку, в смысле упоминания в характеристиках, явлением в жизни учащихся должно признать их своеобразное *отношение к вещам*, особенно, в форме коллекционирования. «Когда мне было десять лет, говорит один из юных коллекционеров, я увидел в первый раз коллекцию марок, и, очертя голову, бросился в это. Я истратил все свои деньги на марки, купил альбом; и эта страсть во мне не охладела, я занимаюсь собиранием марок даже и теперь». Должно отметить, что в этом коллекционировании, обычно, юные собиратели проявляют заботли-

вость о более или менее выраженной систематизации собираемых предметов: «Я люблю заниматься коллекционированием; одно лето я собирал растения, и у меня был обширный систематический гербарий экземпляров в сто... Занимался собиранием различных видов насекомых, но это мне показалось неинтересным... Коллекционировал русские древние монеты, чем занимаюсь и теперь». В этом последнем случае мы видим увлечение редкостными историческими вещами, представляющими сравнительно высокий идейный интерес. Но вообще характер коллекционирования самый разнообразный; чаще всего собирают марки, затем открытые художественные письма, жуков, бабочек, цветы, листья растений, театральные афиши, писчие перья и т. д. Правда, все эти увлечения в большинстве случаев не длительны: «одно лето я собирал жуков, и набрал их порядочно, но вскоре оставил это; собирал листья, но не долго—всего несколько летних месяцев» и т. под. Во многих случаях отмечается активное отношение к вещам—любовь создавать собственные изделия, привлекая к этой работе и других: «я давно стал интересоваться пароходами, паровозами, аэропланами и старался собирать всякие их картинки и фотографии. Любил делать всякие модели их, и заставлял других мне делать». Кроме коллекционирования учащиеся говорят о некоторых проявлениях своеобразного отношения к предметам, имеющим и существенное значение в их житейском обиходе. Так из бесед с авторами при анализе данных их характеристик выявилась любовь учащихся к собиранию книг, обычно, по тому или иному научному вопросу; но тяжелые материальные условия современности не дали этому стремлению возможности вылиться в конкретные формы, а потому не имеется упоминания об этом в характерологических описаниях авторов. Должно еще отметить понижение у юных граждан заботливости о чистоте и об опрятности вещей повседневного обихода, хотя теоретически это явление, видимо, подвергается осуждению. Нередко в описаниях авторов встречаются замечания, что «неряшливость, небрежность в платье и др. отрицательные качества стали отличительными для моего характера». А один из авторов констатирует у себя, как положительное качество, «аккуратность, а так же опрятность, являющуюся наследством от моих предков—германцев».

На седьмом месте, по частоте упоминания в характеристиках учеников, можно поставить *интерес к жизни* в том или ином *соприкосновении с природой* во всех ее проявлениях. «Я замечал в себе интерес к природе, говорит один из юных авторов, создающей мне известное настроение, при условии, что я один. Я проникаюсь природой; она захватывает меня, и я чувствую какое-то родство своей личности с природой. В такие моменты мне менее всего хочется умирать: что-то несурзное представляется мне тогда при воспоминании о смерти; тогда я чувствую жизнь». Такое художественное отношение к природе, способность чувствовать ее

жизнь и проникаться ее настроениями довольно распространенное явление среди учащихся. Многие из них любят, сливая с природой свою личность, входить в общение с более обширными, стихийного характера, явлениями природы. «Природа—мой бог, говорит один из юных природофилов. Я рвусь к природе с раннего детства, и я люблю ее всею душою. Я живу только в царстве леса, в просторе полей, и там только оживает мой дух после долгого сиденья в городе, как в темнице. Я живу, как птица, весной и летом: осенью и зимой живет лишь мой образ, душа же моя, если не умирает, то впадает в зимнюю спячку». Но многие учащиеся не довольствуются одним только созерцанием природы, а проявляют стремление и более активно использовать контакт с нею, занимаясь и работами на земле, и разными видами спорта среди природы. «Я увлекался огородничеством, говорит один из таких юных землеробов, и у нас три лета был огород, который состоял под моим ведением. У меня даже было микроскопическое опытное поле: на пространстве одной квадратной сажени я для пробы посеял овес. Но урожая не было, так как рано утром половину моего «поля» съели телята и лошадь». Но особенно увлекается молодежь всеми видами спорта, о чем говорит, хоть и в отрывочных, но эмотивно окрашенных выражениях; например—«охота—моя страсть и любовь». У многих из юных спортсменов страсть к спорту не дифференцирована, а, так сказать, иррадирует на самые разнообразные виды спорта. «Люблю всевозможный спорт, говорят многие из них, как то: гребной, лыжный, бег на коньках, езду на лошадях, рыбную ловлю, охоту»; а другие прибавляют сюда: «игры на открытом воздухе, легкую атлетику, бокс, футбол и т. под.». Интересно, что даже и не чувствующие склонности к спорту, все же развивают в себе потребность в нем, как пишет один из таких невольных спортсменов: «я довольно медлителен, часто неуклюж, не способен к гимнастике, спорту, хотя к некоторым его видам, напр.,—к плаванию, мне удалось развить у себя постепенно большое влечение».

Восьмым, по порядку частоты, вопросом, на котором останавливается в характерологических описаниях внимание учащихся, является вопрос о *твердости воли, о настойчивой работоспособности*. Некоторые из юношей правда—их не так много, с гордостью отмечают эту способность своей личности: «У меня есть большая выдержка, самообладание, настойчивость в работе для достижения намеченной цели». При этом встречаются довольно подробные описания героических для юной души усилий при достижении намеченного: «Мне больших трудов стоило первое время приучить себя оставаться темною, порой сырой и холодной ночью наедине со своими страхами темноты и одиночества у окуляра своего телескопа. Порой страх пробирался в сердце, и только громадным усилием, вероятно это и есть волевое, я заставлял себя оставаться на месте, а не бежать в теплую мягкую постель. Отчасти заглушало этот страх и увлечение ра-

ботой, отчасти самолюбие, желание достигнуть раз намеченной цели останавливали меня, и скоро страхи перестали смущать меня, а осталась одна красота звездного неба». Это один из типичных примеров волевой работы учащихся для достижения определенно поставленных высоких научных целей. Но большинство волю к труду понимает, как упрямство, волевое самообладание и настойчивость во всех сферах своей жизни, не дифференцируя род деятельности и степень идейности в отношении к объекту волевых усилий. «О своей силе воли полагаю, что она развита у меня в достаточной степени, так как я бывал в таких положениях, во время которых положительно не хорошо было бы терять присутствие духа; кроме того, я сильно упрям и настойчив в преследовании цели, что непосредственно связано с волей». Есть не мало авторов непосредственно любящих деятельность особенно физическую, профессионально рабочую, и заявляющих, например, что «я ужасно люблю физический труд, как то—рубить дрова, шить сапоги, слесарничать и столярничать, обрабатывать землю и т. д.». Много жалоб на то, что развитие воли в работе не удастся: «силу воли развивать искусственно не приходится, она сама развивается и формируется». К вопросу о необходимости труда в жизни, обычно, авторы относятся глубоко положительно, что видно, например, из таких, часто встречающихся в характерологических описаниях, слов осуждения лени: «есть у меня еще большой недостаток, это—лень. Лень распространяется, главным образом, на физическую работу, и то это бывает только зимой». При осуществлении в жизни потребности в труде не редки явления непривычки к систематической работе, как видно из подобных заявлений: «я не могу упорно заниматься одним предметом; он мне быстро надоедает, я его бросаю и занимаюсь другим». Иногда эта невыдержка в работе принимает форму проникнутых эмоциональным возбуждением жалоб: «я быстро принимаю какие либо решения и в момент, когда я принимаю решение работать, я твердо верю, что выполню это, горю желанием действовать; а потом все охлаждается, и я с печалию вижу, что не в состоянии выполнить начатую работу. Но так бывает не всегда. Могу и преодолеть всякие трудности добиться своего, т. е. исполнить поставленное решение».

Наконец—девятым явлением, на котором более или менее часто останавливается внимание учащихся в их характерологических описаниях, это *их собственная личность*, их «я» в его целом, которому они сами *дают* ту или иную *общую оценку*. Здесь прежде всего обнаруживается, что преобладающим моментом является признание неустойчивости своих стремлений, противоречия в проявлениях личной жизни. Сплошь и рядом авторы вздыхают, что «есть во мне не мало совсем противоположных наклонностей». Иные заявляют более формулированно о существенных признаках нескладности своей личности: «не раз я умственно метался, ища точки

опоры для поколебавшихся ранее составленных мною некоторых основ». У личностей с более практическим укладом отношения к жизни эта же мысль выражается в более прикладных формулировках: «чрезвычайно часто у меня меняются вкусы, привычки, увлечения... Я хотел быть инженером, пожарным, моряком, шоффером, юристом, астрономом, и в результате не мог установить до сих пор определенного взгляда на будущее». Есть авторы, которые, говоря о мучащих вопросах их не сложившегося мирозерцания, с сожалением заключают, что «эти вопросы исчезают из моего сознания и при этом также внезапно, как и появились, без всякой видимой причины и несмотря на то, что я не составил по поводу их определенного решения». При этом, среди юных характерологов есть, видимо, довольно глубокое сознание необходимости борьбы с этими противоречиями личности, стремления к самосовершенствованию, саморазвитию и самовоспитанию. Один из таких аналитиков своего «я» заявляет, что «быть может покажется, что некоторые черты моей личности друг-другу противоречат, но я ничего не могу поделать, так как я все писал без прикрас, как есть на самом деле». Соприкосновение личности некоторых из авторов со множеством интересов еще более усиливает неоформленность их «я». «У меня склонности, способности, интересы во многом, в различных областях, а, в частности—неизвестно, к чему именно. У меня каждая неделя что-то новое, каждый день происходят различные перестановки, размещения, сочетания и т. под.». Очень многозначительно выявляемое некоторыми авторами сознание права личности на свободное, самобытное развитие, с стремлением защищать свою индивидуальность: «влияния никакие не воспринимаю, так, чтобы мой индивидуализм развивался свободно. Все же личность моя очерчена не ярко, что зависело, главным образом, от того, что самые твердые основы ее только еще вырабатываются».

Этим заканчивается исследование того экзопсихического характерологического материала, который можно было извлечь из автобиографических описаний учениками их личности. Здесь нет отражения массы тех вопросов, которыми полна наша жизнь в ее волнующем нас, взрослых людей, содержании — вопросов государственности, собственности, права, внешних форм жизни, вопросов семейного быта, хозяйственного уклада, ломки школы, совместного обучения и т. д. Этот пробел объясняется тем, что выявление этих вопросов не входило в задание поставленной ученикам работы; а кроме того — юность эгоцентрична, и интересы своей повседневной жизни всегда ставит в центре всего существующего.

Но если мы представим себе в целом элементы той жизненной среды, которую создали себе юные строители пост-революционной школьной

жизни, то коллективная личность ученика нашей эпохи вырисовывается в очень широких и ярких мазках. Ученик живет, как видно из его искренне и свободно написанных автобиографий, в кругу высокого порядка вопросов научного знания, нравственных требований, философски-обоснованного мирозерцания, установления отношений к сотоварищам и окружающим людям, эстетических интересов, а также интересов к разнообразию вообще окружающих его предметов, вопросов о жизни с природой, воли к труду, наконец—останавливается и на общей оценке своей личности. В словах, которыми описывает учащийся все эти вопросы, чувствуется такой эмоциональный подъем, который говорит о глубокой связи описываемого с основным ядром личности автора.

И вот нам рисуется исторически-интересная картина школьной жизни. Революция разметала всю старую школу, предоставив величайшую творческую свободу ученику. Из изложенных характеристик учеников видно, что бесследно исчезли формальные начальнические грани между учеником и учителем, разрушена та баррикада, чрез которую трудно было им схватить друг друга за руки для общей творческой работы. Ученик свободно говорит учителю о самых затаенных своих переживаниях, также свободно, как свободно выбирает из окружающей его среды то, что кажется ему ценным для развития его индивидуальной личности. И оказывается, что этот выбор таков, что его должен будет признать разумным всякий научно-знающий педагог. Самый строгий педагог, даже старой формации, не может не притти в «пламенный восторг»: и от того «пламенного цеплянья» за знание, в котором признается свободный новый ученик, и от других признаний в «чувстве угрызания совести при дурных поступках», в стремлении «создать личность, способную принести свою долю пользы человечеству», в самобичевании за то, что, не «стал альтруистичен и великодушен», в увлечении воззрениями философскими и нравственными, в писании поэтичных стихов о «красоте звездного неба», в искреннем желании «предоставить свое «я» на суд истины и людей», в увлечении «самообладанием и настойчивостью в работе», в заботе, чтобы «индивидуализм развивался свободно» и т. под.

Та сила разрушения, которая до основания разметала старую школу, даже более—в первые моменты революции привела школьную жизнь к первобытному хаосу, она и учителей, и учеников заставила сделаться прилежными учениками нового творческого искания; она заставила всех их сделаться каменщиками-строителями новой жизни. И вот эти строители взяли и впитали в себя лучшее и вечно-ценное из валявшихся старых обломков, и начали строить новое, хоть органически связанное со старым, но все же эволюционно-улучшенное новое. Мы присутствуем при процессе органической прогрессивной эволюции жизни, освобожденной от мешающих ее росту пут, вступившей в условия свободного индивидуального раз-

вития. Пред учеником стоит жизнь во всем разнообразии: одного увлекают проблемы высокого отвлеченного знания, другого—художественные проявления жизни, третьего—могуче тянет к себе земля для упорного труда над разработкой ее богатств, или привлекают различные виды рабоче-профессионального знания. И всё это представляется ученику имеющей великую ценность в общем созидании жизни. Поэтому то можно сказать, что в коллективной личности исследованных нами школьников выявляется облик той новой русской жизни, предрассветной зарей которой являются юные авторы в своих автобиографических характеристиках. Как будто в действительности начинает сбываться дума нашего поэта Н. А. Некрасова о рождаемом жизни свободном ребенке-гражданине:

«С детства никем не запуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годеи;
Хочешь—останешься век мужиком,
Сможешь—под небо взовьешься орлом!»

...

Родные тени.

23 января (8 февр.) 1923 г. исполнилось сто лет существования бывш. 3-й гимназии. Скромно, с полным достоинством провела школа этот день. Не было ни торжественного акта, ни концерта, ни бала, которыми некогда не «блистала» и которых так не любила 3 гимназия, всегда скромная в своей жизни, достоинство свое полагавшая не во внешних, ярких и показных сторонах, а таившая их глубоко в своих недрах, в стойких и добрых традициях, память о которых питомцы ее всегда благодарно хранили.

В этот день собрались ее старые питомцы (и не в новом здании чуждом многим из них, а в родных старых ее стенах),—собрались, чтобы оглядеть и подсчитать свои ряды, посмотреть, кто кем стал, как применил в жизни наследие и заветы родной гимназии.

Сильно поредели ряды, даже молодых последних выпусков; многих недостает и из преподавателей. Кто умер; кто далеко, на чужбине; кто просто неведомо где. А собравшиеся молча и нерешительно двигались по родным когда-то местам, осматривая стены и тщетно пытаясь припомнить их былой вид, вглядываясь в лица и не узнавая часто даже своих близких и лучших прежних товарищей... Глубокая грусть проникала в душу.

Но как несправедлив был упрек, брошенный с кафедры собранию в

его холодности, молчаливости и равнодушии. Не холод наполнял сердца собравшихся, а горячее сильное чувство, все то же прежнее чувство любви и признательности гимназии. И чувство это ярко прорвалось в приветствии старейшему педагогу школы, без малого полстолетие проработавшему в ней и за эти долгие годы снискавшему лишь любовь и глубокое уважение,— Николаю Федоровичу Арепьеву. Гром аплодисментов, долго несмолкавших, приветствовал маститого патриарха гимназии. Но они были бессильны выразить всю полноту наполнявших всех чувств. И Ник. Фед. почувствовал это: он лишь встал, чтобы яснее предстать пред собравшимися своими учениками, и ни слова не сказал: всякое слово, даже самое доброе, хорошее слово, было бы лишне.

И не равнодушие сковывало уста, а масса нахлынувших воспоминаний о лучших светлых днях, проведенных в этих стенах, о товарищах, об учителях, давно-давно умерших. И мысли невольно уходили в прошлое.

Все дорогие покойники пробудились от сна и прилетели сюда, на общее скромное торжество. Вот и знакомые родные тени... Александр Иванович Трушлевич—строгий, суровый педагог, гроза учеников, «заедавший» диктантами. Сколько бурь выдержал он с родителями. Каким холодным и сухим он казался. Но довелось мне во время его болезни (его помял автомобиль) навестить его. Как ласково встретил он, как оживились его серые холодные глаза, какими заботливыми вопросами закидал он меня о гимназии, об учениках. А тут же, на ночном столике,—полурезанная книжка-учебник, присланная молодым, начинающим автором для просмотра. В кровати, больной, весь в синяках и ссадинах, Ал. Ив. весь в думах о родной школе, о близком, дорогом деле.

А вот, Игорь Прокофьевич Малев,—молодой, безусый еще, начинающий педагог, горячий энтузиаст; жадно, с пылом человека, преданного любимой науке, передающий нам свои знания. А в ответ лишь насмешки... Что сулило ему будущее, славу ли ученого или... Но неумолимая смерть безжалостно (а, быть может, напротив, бережно щадя его нежную чистую душу) вырвала его в цветущие лучшие годы жизни.

А вот, и самая последняя тяжелая утрата — Конст. Мих. Семенов... И много, много других. Все они ушли от нас, лишь теперь (увы, слишком поздно) оцененные по заслугам. Они вспомнили про наше общее торжество, тени их витали меж нас. И робко вглядывался я в их лица. Но не гнев, не обиды выражали они. С любовью и ласкою смотрели они на присутствующих. Безмолвные, они точно силились вернуть нас в прошлое, заставить нас забыть свое настоящее, все тяжелые думы и заботы, и вспомнить минувшие юные годы, свои прежнее светлые мечты и идеалы, бережно воспитанные ими, почувствовать в себе прежние силы. Будто снова хотел прозвучать их прежний призыв: любите науку, и не ради вы-

год, но ради ее самой, ибо она ведет к свету, правде и истине, стремление к которым—самое истинное и высокое призвание человека.

Мир вам и вечная слава, родные незабвенные тени. Ваша скромная, но великая работа не пропала даром. Трудами и жизнями вашими созданная, школа сто лет гордо и достойно следовала вашим заветам и впредь, будем верить, от них не отступит.

Т. Осьминский.

9/II 23 г.





Из истории б. Петербургской 3-й гимназии, ныне 13-й советской трудовой школы *).

І. ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ.

✓ Открытое в 1823 году учебное заведение под названием «С.-Петербургская гимназия» (с 1831 г.—3-я гимназия, ныне 13-я трудовая школа) представляло собою результат слияния двух учреждений: Учительского Института и Петербургской губернской гимназии.

Хотя составитель «Исторической записки 50-летия 3-й Спб. гимназии» Н. М. Аничков и говорит, что «история Спб. губернской гимназии принадлежит 2-й гимназии», но по этому вопросу давно уже было высказано и другое мнение, в самое последнее время нашедшее себе выразителя в лице такого авторитета по истории русского просвещения, как профессор С. В. Рождественский.

В своей статье «Первоначальное образование Спб. Университета и его ближайшая судьба» **) проф. С. В. Рождественский пишет следующее:

«В 1820-х годах подвергалась коренному преобразованию *губернская Петербургская гимназия*,—своеобразно поставленная школа, некоторое время конкурировавшая с Университетом. Образованная [в 1805 г.] из главного народного училища, гимназия эта в 1811 г. явилась первой школой, в учебном плане которой, по почину Уварова [попечителя округа], был произведен опыт замены расплывчатого энциклопедизма системой классицизма: были исключены из курса гимназии политическая экономия, коммерческие

*) Источники: протоколы педагогического совета, ежегодные отчеты по учебной и хозяйственной части и другие дела и документы из архива школы; «Двадцатипятилетний юбилей 3-й Спб. гимназии». Спб. 1848 г.; «Историческая записка пятидесятилетия Третьей Спб. гимназии», сост. Н. М. Аничковым. Спб. 1873 г.; «Памятка бывшим ученикам Спб. 3-й гимназии», сост. С. В. Лавровым. Спб. 1911 г. и др. (цитир. в тексте).

**) «С.-Петербургский Университет в первое столетие его деятельности». Пгр. 1919 г., стр. СІ—СІІ.

наук, эстетика и всеобщая грамматика, на первый же план выдвигались классические и отечественный языки, усиливалось преподавание закона божия, истории, географии, математики, логики и риторики. Такое изменение учебного плана гимназии, несомненно, повышало ее значение, как ближайшего рассадника слушателей для университета. Но очень скоро обнаружилось, что новое классическое образование не встречает должного сочувствия в обществе. При значительном числе учащихся в младших классах, лишь очень немногие, человек до 10—12, доходили до старших классов. Первый опыт насаждения классицизма в средней школе грозил, таким образом, неудачей, и, чтобы спасти его, Уваров решился на меру отнюдь не педагогического характера. В 1817 году курс гимназии был продлен на один год, в состав учебного плана введено правоведение и аттестаты гимназии приравнены университетским: выходившие из гимназии прямо в гражданскую службу получали чин 14 класса и в дальнейшем чиновпроизводстве освобождались от испытаний по указу 6 августа 1809 г. Практический результат этой меры был тот, что старшие классы гимназии действительно наполнились, но она не только перестала доставлять слушателей Университету, но даже отвлекала от него. В 1822 г., когда Университет насчитывал едва 25 вольных слушателей, в старших классах гимназии числилось около 150 учеников. Такое в корне ненормальное соотношение Университета и ближайшей к нему средней школы было исправлено в 1822 году, когда, по докладу [тогдашнего попечителя] Рунича [утвержденному 25 июня 1822 г.], Петербургская гимназия была возвращена к ее первоначальному назначению быть подготовительной к Университету школой, в частности—рассадником казенных студентов. Сначала в нее было переведено 30 казенных воспитанников Учительского Института (бывшего второго разряда Главного Педагогического Института), а на будущее время предположено было замещать ее учениками Дома воспитания бедных детей императорского Человеколюбивого Общества. Кроме того, при гимназии открыто было педагогическое отделение, взамен Учительского Института, откуда наиболее успевающие ученики могли поступать в казенные студенты Университета, а менее успевающие—в учителя гимназий, уездных и приходских училищ. С этого времени Петербургская гимназия (*ставшая впоследствии по счету третьей*), под руководством превосходных педагогов Миддендорфа и профессора Шнейдера, пришла в цветущее состояние и в первых же своих выпусках дала Университету ряд выдающихся питомцев, среди которых были будущие профессора братья Куторги, Калмыков, Кранихфельд, Чижов и другие. Тем не менее, преобразование в 1822 г. не избавило Университета от конкурента: *бывший при гимназии пансион* обращен был в самостоятельное учебное заведение, под названием Высшего Училища, с 8-ми летним курсом, имеющее целью приготовление чиновников для гражданской службы. За этим Высшим Учили-

шем сохранены были все преимущества гимназии по указам 10 февраля 1817 г. и 14 февраля 1818 г. Только по новому общему уставу средних школ 8 декабря 1828 г. Высшее Училище было преобразовано в гимназию (вторую) обычного типа» *).

Из приведенных слов ясно, что вся история Спб. губернской гимназии с 1805 г. до 1823 г. принадлежит, в сущности, третьей гимназии, и что—поэтому в текущем 1923 году наша школа, говоря точно, празднует лишь столетие своего пребывания, как самостоятельного учебного заведения, на том самом месте (Гагаринская ул., 23) и отчасти даже в тех самых стенах, где она находится в настоящее время.

Еще более тесная связь у образованной в 1823 г. гимназии—как по самой основе, так и по устройству и, в особенности, по тем лицам, которые вошли в состав ее педагогов, была с тогдашним Учительским Институтом (который по первоначальному проекту должен был именоваться «Вторым разрядом Главного Педагогического Института», впоследствии Спб. Университета). Открытый 19 сентября 1819 г. в целях «приготовления и размножения учителей для низших училищ», этот институт был в сущности гимназией и под конец был даже переименован в «Пансион казенных гимназистов». Просуществовал он очень недолго и 25 июня 1822 г. был упразднен, а все его воспитанники (в количестве 30 человек) и преподаватели перешли во вновь образованную гимназию. Задачей этой последней ставилось «приготавливать для низших училищ наставников и для университета студентов». Количество учащихся в ней определялось довольно неясно: кроме 30 казенных воспитанников Учительского Института и 30 воспитанников Человеколюбивого Общества, «долженствующих поступить в 1824 году в число казенных гимназистов», в ней—как сказано в «Положении»—«будут также содержаться 40 своекоштных во всем наравне с казенными, и при том вольноприходящие ученики будут иметь позволение посещать классы».

Вновь открытая гимназия должна была состоять под общим ведением Университетского Правления. Курс гимназии был определен в 4 года, «с присоединением же предварительных классов для детей, не имеющих к поступлению в гимназию нужных сведений, шесть лет». Дети принимались в гимназию от 12 до 15 лет, а в предварительные классы от 9 до 12 лет. Никто не мог поступить в III, II и I классы гимназии, не начав ученья с IV, т. е. с низшего класса. Прием должен был производиться дважды в год, в июне и декабре. Учебный год почти совпадал с гражданским: экзамены и выпуски производились в начале января.

*) Точно такое же мнение о преемственности 3-й гимназии с бывшей Петербургской губернской гимназией проф. С. В. Рождественский высказал и в своем «Историческом обзоре деятельности М. Н. П.», Спб. 1902 г., стр. 134 и 140.

Плата за обучение была назначена по тому времени и сравнительно с другими учебными заведениями весьма умеренная, и, благодаря этому обстоятельству, желающих поступить в гимназию оказалось очень много. Наплыв учащихся заставил поспешить с началом учебных занятий, и гимназия была открыта 26 января 1823 года в составе двух приготовительных и одного IV класса и с общим числом воспитанников 228, из которых большинство, конечно, было приходящих. Открытие ее повлекло за собой упразднение Пантелеймонского уездного училища; были уничтожены также уездное и приходское училища, находившиеся при губернской гимназии. На содержание новой гимназии были переданы суммы, отпускавшиеся до того времени по штату бывшего Учительского Института и на бывшую гимназию «с некоторым дополнением из сумм Университета» *), а также и суммы Пантелеймонского училища. Таким образом, третья гимназия возникла почти в буквальном смысле на обломках пяти учебных заведений.

II. ШКОЛЬНОЕ ЗДАНИЕ.

Для помещения 3-й гимназии был предоставлен в 1822 г. казенный дом на Гагаринской улице, который тогда занят был частью Пантелеймоновским уездным училищем, частью же директором училищ Спб. губернии. «Дом сей, как писал в своем докладе министр нар. пр. кн. Голицын, по удаленному положению его от середины города и больших улиц, по пространному месту под оным и обширности его, весьма удобен для сего учебного заведения и достаточен для предполагаемого числа воспитанников казенных и своекоштных, с принадлежащими к тому чиновниками и служителями». Раньше это был дом «партикулярной верфи»; в 1788 г. Екатерина II передала его С.-Петербургскому Приказу Общественного Призрения и в него было переведено Симеоновское «Малое Народное» училище, которое теперь, по местности, стало называться «Пантелеймоновским» **). Довольно ветхое двух-этажное здание, фасадом обращенное в тепе-

*) По словам акад. Д. И. Языкова (тогдашнего директора деп. м. н. пр.), «все это сделано для того, чтобы Гимназию возвысить, обогатить, а Университет унижить и обеднить. — Учительский Институт, существующий при всех университетах, в здешнем уничтожен (потому что хотели все уничтожить), но сей-же самый институт, только под другим названием, сделан из гимназии. Bonnet blanc, blanc bonnet. Зачем?» («С.-Петербургский Университет в первое столетие его деятельности». Т. I. Пгр. 1919 г., стр. 403—404).

**) В объяснительной записке к проекту сметы Министерства Народного Просвещения на 1911 г. — по вопросу о постройке нового здания для 3-й Петербургской гимназии — между прочим, сказано, что «здание, в котором помещается Спб. 3-я гимназия, переделано в первой четверти прошлого столетия из тюрьмы» (см. «Отчет о деятельности Родительского Комитета при Спб. 3-й гимназии за 1910—1911 учебный год». Спб. 1911 г., стр. 7 и 21). Возможно, что основанием для такого мнения (до-

решный Рыночный переулок, оно потребовало многих переделок, на которые ушел весь 1822 год, и все-таки оказалось очень мало вместительным. Пансионеров можно было принять не более 75 человек.

Теснота помещения довольно скоро дала себя знать прежде всего по отношению к гимназической больнице: она была устроена рядом с спальнями пансионеров и занимала две небольшие комнаты. Доктор Вейсс в 1827 г. заявил, что «помещение лазарета противоречит всяким гигиеническим условиям»; после смерти одного воспитанника (от горячки с скарлатиной) решено было перевести лазарет на частную квартиру. Долго не могли найти такого домовладельца, который бы согласился пустить в свой дом таких опасных квартирантов. Наконец, в 1827 году лазарет был переведен в д. Гассе (Литейной части); позже, в 1838 г., по отдаленности этого дома, больница была переведена в д. Комарова (на Гагаринской ул.), а затем в 1840 г.—в дом Толмачева (там же). И только в 1843 году лазарет опять получил помещение в самом здании гимназии.

Для расширения помещения гимназии в 1830 году был построен надворный флигель, а в 1834 году сделана надстройка над вторым этажом корпуса, обращенного к Соляному переулку. В 1843 г. была произведена надстройка над двухэтажным зданием по Гагаринской улице и тогда же было приобретено соседнее порожнее место по Гагаринской улице.

При открытии гимназии в ее здании церкви не было, и дело о ее постройке, начатое в 1825 году тогдашним и. д. попечителя округа Д. П. Руничем, подвигалось довольно медленно; только после настойчиво выраженного желания министра народного просвещения церковь была освящена 12-го мая 1832 г. По словам официальных отчетов директоров гимназии, устройство церкви внесло много неудобств в школьную жизнь, так как «многочисленная посторонняя публика проходила в церковь мимо классов по корридорам (особенно в учебное время в великом посту) и тем препятствовала правильному течению учебных занятий». Это неудобство было устранено только через 62 года—в 1894 году, когда был устроен отдельный вход в церковь.

Вообще же, после 1843 г., до 1894 г. никаких крупных изменений в школьном здании не было, и только в этом последнем году были произведены довольно большие ремонтные работы в корпусе, обращенном на Соляной пер., и выстроен был новый каменный двухэтажный флигель для служителей. Однако, здание гимназии, как очевидно было для всех, не только оказывалось недостаточным по числу и пространству своих поме-

вольно распространенного,—см., наприм., воспоминания В. Д. Набокова—в этом сборнике, стр. 126) послужило то обстоятельство, что—как говорится в той же объяснительной записке—«в некоторых классах окна были помещены на высоте выше человеческого роста, как в тюрьме».

щений, но и совершенно не отвечало тем требованиям, какие можно было предъявить к нему хотя бы в гигиеническом отношении; при том же оно за давностью времени в некоторых местах обветшало настолько, что грозило саморазрушением, и только—по словам официальных отчетов того времени—«ремонт, частые починки отдельных частей и принадлежностей, да постоянное наблюдение за чистотой помещений и притоком свежего воздуха через открытые форточки делали его более или менее пригодным для обитания». В виду всего этого в мае 1912 года корпус по Соляному переулку был сломан и было приступлено к постройке на его месте нового здания гимназии.

На 1912—1913 уч. год все классы и другие помещения учебного заведения временно были распределены в старом здании (по Гагаринской ул.). 27 октября 1913 г. состоялось открытие нового здания гимназии, при постройке которого были приняты во внимание все основные требования школьной гигиены относительно света, воздуха, размеров помещений и прочих санитарных условий. В том же 1913 г. и следующем 1914 г. капитально было перестроено и старое здание по Гагаринской улице, а также выстроен новый служительский флигель. В настоящее время школа, по своему помещению, несомненно, является одною из лучших в Петрограде.

III. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ И ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ.

Как уже выше было сказано, школа при своем открытии в 1823 году имела двоякую цель: «приготавливать для низших училищ наставников и для университета студентов». «На сем основании—как выразился в своем докладе Рунич—учение в гимназии было расположено во всем сообразно с преподаванием в университете» *). В ней, по уставу, должны были преподаваться: закон божий, математика: арифметика, алгебра, геометрия и тригонометрия, история, география, русская словесность, языки: латинский, греческий, немецкий и французский, начальные основания ботаники, минералогии и зоологии, рисование, чистописание и пение. Программа этих предметов значительно разнилась от программы бывшей «губернской» гимназии; в нее вошло преподавание закона божия и русской словесности; из нее были вычеркнуты «начальные основания» политической экономии, технологии и проч.; подверглась сокращению математика; статистика была отнесена к географии, и дано преобладающее значение древним и новым языкам: латинский язык проходил в большем даже объеме, чем впоследствии по уставу 1871 года; греческий же язык был впервые введен тогда в программу в Петербургском Округе; «вообще—по словам того же Рунича—классическое приуготовление соображено было по лучшим методам

*) «Спб. университет в первое столетие его деятельности», т. I, стр. 407.

и руководствам». Курс учения, как уже упоминалось, был определен в 4 года, «с присоединением же предварительных классов для детей, не имеющих к поступлению в гимназию нужных сведений, шесть лет». В младших классах введена была метода Ланкастера (взаимного обучения), которую изучили специально для того командированные в 1816—1819 гг. в Англию 4 студента Педагогического Института—А. Г. Ободовский, К. Ф. Свенске, Ф. И. Буссе и М. М. Тимаев, ставшие, по возвращении из-за границы, преподавателями Учительского Института и затем, в 1823 г., С.-Петербургской (третьей) гимназии. Методу Ланкастера тогда старались дать возможно более широкое применение: классы делились на группы, и каждая поручалась отдельным лучшим ученикам по разным предметам. Из старших же классов посылались в младшие лучшие воспитанники для замены преподавателей. Однако, по поводу ее в 1827 г. ректор Университета (А. Ф. Дагуров) писал следующее: «молодые мальчики не могут иметь над воспитанниками власти взрослого человека с хорошими познаниями, который законным образом поставлен их начальником. Мальчики сии, оказывая особенное покровительство некоторым из воспитанников, ввели злоупотребления, которые следует искоренить. Они заставляют их приносить себе лакомства, и погрешности тех, которые оказывают им такое великодушие, исчезают в глазах сих педагогов нового рода. Дурному они учат и дурные подают примеры, публика негодует, родители жалуются».

4-го июля 1831 года С.-Петербургская гимназия была преобразована по уставу 1828 г. и получила название *третьей* *). Учебный курс разделен был на семь классов (из которых последний—повторительный) и должен был продолжаться (вместо прежних шести) *семь* лет, полагая на каждый класс по одному году. Низшими классами считались первые три, а следующие четыре—высшими. Главнейшие перемены по новому уставу состояли в следующем: а) отменено преподавание естественных наук; б) усилено преподавание греческого языка (в качестве мотивировки этого, в § 145 устава 1828 г. указано то обстоятельство, что «третья гимназия состоит при университете»), который и составил с этих пор отличительную черту курса 3-й гимназии перед всеми гимназиями Округа; в) 3-й гимназии, как соединившей в стенах своих казенных воспитанников, дана была и специальная задача—подготавливать учителей; г) наконец, ей же предоставлена по преимуществу цель воспитания бедных детей, что выразилось значительно меньшей против других гимназий платой. Во всем остальном в гимназии коренных преобразований не последовало; почти не было разницы и в программах. Изменение произошло только в порядке и времени переводных и выпускных экзаменов. Как известно, прежде конец

*) Первою гимназией стал называться с того же года «Благородный Университетский пансион», а второю—бывш. «Высшее училище».

учебного года совпадал с концом гражданского; после устава 1828 г. этот порядок изменен на существующий ныне. Точно также переводные экзамены производились после каникул (зимних) и с введением устава 28 г. после каникул летних. Но такое время было признано потом (в 34 году) неудобным, так как ученики многое забывали из пройденного, не умели распределить своих летних занятий и принуждены были работать круглый год без отдыха. Поэтому министр разрешил, хотя сперва только в виде опыта, производить все экзамены до каникул. На экзамены полагался довольно длинный промежуток времени: они начинались в половине апреля или в первых числах мая и продолжались до 15 июня *).

Уставом 1828 года третья гимназия руководилась более 35 лет, и только в 1850 г. она, вместе с другими, должна была, впрочем, не надолго, отступить от своей программы. Было введено законоведение; латинский язык отменен в первых трех классах и количество часов, на него положенных, уменьшено с 39 на 20 в неделю; отменено преподавание истории в 3-м классе; уменьшено число уроков греческого языка, вместо 30 часов, на 10 в неделю; несколько усилено преподавание русской словесности, математики и новых языков. Кроме этих перемен в программе, последовало и несколько других изменений. По уставу 28 г. учение начиналось в 8 час. утра и продолжалось до половины первого; потом возобновлялось после обеда с 2¹/₂ до 4 час. Такое распределение было очень неудобно для приходящих учеников, потому что многие из них, по отдаленности от гимназии, не имели достаточно времени явиться после обеда в срок. Поэтому часть из них опаздывала, а часть совершенно оставалась дома; некоторые же, более прилежные ученики, чтобы не пропускать уроков, оставались на рекреационное время в гимназии, довольствуясь кое-какой провизией, принесенной из дома. Ф. И. Буссе часто указывал в своих отчетах на все неудобство такого распределения учебного времени, благодаря которому «воспитанники должны в дождливое осеннее время приходить к 8-ми часам в гимназию и возвращаться домой к 5-ти, т. е. постоянно ходить по улицам в темноте». С введением новой программы изменено было и время учения. Начало классов было назначено в 9 час. утра; уроки следовали одни за другими, продолжаясь 1¹/₄ час., вместо прежнего 1¹/₂ час., и составляли два отделения утренних и полуденных

*) По этому поводу директор Ф. И. Буссе вошел к попечителю округа с докладом, что «по мнению преподавателей 3-й гимназии, годовые переводные экзамены, по причине их продолжительности, имеют очень невыгодное влияние на успехи учеников. Они, во-1-х, прерывают на значительное время самое преподавание; во-2-х, ученики с хорошими способностями, но не отличающиеся прилежанием, полагаясь на то, что у них будет достаточно свободного времени в продолжение самых испытаний заняться повторением пройденных предметов, в течение самого курса не оказывают надлежащего усердия».

часов; между ними был назначен промежуток в $1\frac{1}{2}$ часа (от $11\frac{1}{2}$ до 12 час.) для завтрака. В $2\frac{1}{2}$ часа классы оканчивались. Наконец, изменилась отчасти и цель гимназии; курс ее раздробился на две части: обучение общее до IV класса, одинаковое для всех учащихся, и обучение специальное с IV класса, когда ученики избирают определенное направление. «Желающие продолжать учение в университетах обязаны были приобрести знание латинского языка, к какому бы факультету ни приготавливались, а для первого отделения философского факультета, сверх латинского, должно основательно обучиться и греческому; воспитанники же, намеревающиеся вступить прямо в военную или гражданскую службу, вместо древних языков, занимаются: желающие определиться в службу военную — математикой, а в службу гражданскую — русским законоведением».

Недолго, однако, просуществовало такое деление учеников на будущих филологов и законоведов; введение законоведения не нашло себе сочувствия в учениках 3-й гимназии. В 1852 году по отделению древних языков кончило курс 16, а по отделению законоведения только трое. Тогда, в том же 1852 году преподавание законоведения в 3-й гимназии было отменено, и гимназия получила чисто филологическое направление, «чтобы доставить ученикам ее возможность приготавливаться к поступлению в филологическое отделение университета». Для этого было увеличено число уроков по древним языкам: греческий язык начинался с III-го, а латинский со II-го класса. Чтобы не уменьшить при этом числа уроков по новейшим языкам, сохранить преподавание географии и истории сообразно с уставом 28 года и не ослаблять преподавания математики, Ф. И. Буссе предложил, в виде опыта, ввести, вместо 4-х, пять уроков в день, продолжающихся только по часу. Попечитель одобрил эту меру и, посещая гимназию, «пришел к тому заключению, что часовой урок идет со стороны преподавателя гораздо живее, а со стороны учеников поддерживается больше внимания».

Это-то последнее преобразование, упрочившее за 3-й гимназией филологическое направление, придало ей и особый характер. Если другие заведения округа пошли путем, указанным изменениями 1849 г. (с введением кроме того естественных наук), то 3-я гимназия сделала шаг назад и приблизилась снова к уставу 28 года и к своей прежней классической программе.

До устава 1864 года не последовало никаких общих перемен в учебной стороне заведения. Уставом же этого года в программе третьей гимназии введены были следующие изменения:

а) Усилено преподавание закона божия в V и VI классах, где вместо одного урока назначено по два в неделю.

б) Значительно усилено преподавание латинского языка в младших классах и положено начинать его с I класса.

в) Усилено преподавание греческого языка в старших классах.

г) Сперва было отменено преподавание географии в трех старших классах, но потом предоставлен был в VII классе один урок на повторение.

д) Хотя в таблице устава и назначены были уроки естественной истории в низших трех классах, но в нашей гимназии их не было и они заменялись уроками географии.

е) Назначено черчение и рисование в IV классе.

Вместе с тем было изменено несколько и время самого учения: классы стали начинаться с 8^{1/2} час. утра и продолжались до 2^{1/2} час. пополудни. Всего уроков в день было пять, между которыми следовали три перемены в ¹/₄ час. каждая и одна в ¹/₂ часа. Впоследствии, с 1869—70 учебного года, когда устав 1864 года был вполне применен, классы начинались в других гимназиях с 9 час., но в 3-й до 1871 г. оставался прежний порядок.

Устав 64 года, введенный в 69 году, существовал очень недолго— всего два учебных года, когда последовало преобразование гимназии по новому уставу 71 г.

Им внесены следующие изменения:

а) Прибавлен один год к курсу VII класса.

б) Открыт при гимназии приготовительный класс.

в) Восстановлено прежнее количество уроков по закону божию в двух старших классах.

г) Увеличено число уроков по русскому языку в младших классах и уменьшено в старших.

д) Введен в программу курс краткого основания логики в VII классе.

е) Значительно усилено преподавание обоих древних языков, при чем обращено на них особое внимание и они признаны вместе с математикой основными предметами гимназического курса.

ж) Усилено преподавание математики во всех классах, кроме III и IV.

з) Ограничено преподавание физики двумя старшими классами.

и) Отменено изучение математической географии, как отдельного предмета.

к) Уменьшено число уроков по новым языкам тем, что положено преподавание их начинать не с I, а со II класса.

л) Отменено обязательное обучение рисованию и черчению, а чистописание ограничено уроками только в 2-х низших классах.

м) Увеличено количество учебных часов с 184 на 196, а с прибавочным восьмым годом до 206—для обучающихся одному новому языку и до 225—для обучающихся двум языкам.

н) Введен новый институт классных наставников.

Относительно применения нового устава директор В. Х. Лемониус доносил в отчете за 1871—72 учебный год, что «оно не встретило ни малейшего затруднения, так как основная мысль всех изменений, усиление преподавания древних языков не количеством только уроков, но и качеством обучения, вполне гармонировало с исконной основой всего преподавания в 3-й гимназии, и с теми началами, которым оно постоянно следовало, оставаясь единственным почти в Империи средним учебным заведением, не изменившим в продолжение 50 лет своей филологической программе».

До конца 80-х годов прошлого столетия учебный строй 3-й гимназии оставался неизменным. Новые учебные планы и программы были введены в действие лишь с 1890—91 уч. года. По закону божью число уроков было увеличено с 13 до 16, согласно с определением св. синода. По русскому языку с церковно-славянским общее число уроков увеличено с 24 до 25, но существенно изменен план преподавания отдельных дисциплин (грамматики, теории словесности, истории русской литературы) в том смысле, что все они подчинены «одной главной цели — изучению литературного отечественного языка, к которому, как к центру, и должны быть направлены не только грамматические, но и все другие теоретические и литературные сведения, извлекаемые из разбора словесных произведений». Преподавание истории русской литературы заменено чтением и разбором самых произведений словесности в исторической последовательности. Упражнения в церковно-славянском чтении усилены. По логике программа упрощена и преподавание ее перенесено в VIII класс. По древним языкам число уроков уменьшено, по латинскому языку с 49 до 47, по греческому — с 36 до 33. Изменения же в самой системе преподавания имели главной целью устранить господствующее «одностороннее грамматическое направление». Для достижения этой цели объем грамматического материала по обоим языкам был по возможности сокращен, переводам с русского языка на греческий придано значение лишь дидактического приема, главнейшим же предметом занятий по древним языкам поставлено чтение и толкование авторов. По математике не сделано существенных изменений ни в количестве учебного материала, ни в его распределении. Но в целях упрощения курса исключены были все статьи, которые, не находясь в тесной связи ни с предыдущим, ни с последующим курсом, служат лишь большим развитием известной теории. Всего на математику назначено 29 уроков. Краткий курс естествоведения, на который в 1877 году назначено было 2 урока, вовсе был исключен из учебного плана гимназии по совершенной невозможности преподавать его при 2 часах. По физике назначено было вместо прежних 6 уроков 7, сделана перестановка учебного материала и введена новая статья о законе сохранения энергии. По истории число уроков увеличено с 12 до 13. Эпизодический курс всеобщей и рус-

ской истории в младших классах заменен элементарным курсом одной русской истории. По географии вместо 10 назначено 8 уроков, отнесенных на 4 низшие класса. По французскому и немецкому языкам оставлено прежнее число уроков—по 19, и на первом месте поставлено чтение авторов, так как целью преподавания новых языков должно быть умение понимать нетрудные сочинения без помощи общего словаря. Обязанности же научить говорить и писать на иностранных языках гимназия на себя не принимала. По чистописанию число уроков было увеличено с 11 до 13. Таким образом, в результате сокращения числа уроков по одним предметам и увеличения по другим общее число недельных уроков в гимназии оставалось почти неизменным, а именно 219 для обучающихся обоим новым языкам и 200—для обучающихся одному.

Вместе с новой таблицей числа недельных уроков тогда же была установлена продолжительность урока в 55 минут и назначено два месяца на летние вакации, а затем несколько позднее (12 марта 1891 г.) изменены были правила об испытаниях: на письменных экзаменах зрелости по древним языкам учащиеся должны были писать переводы из древнего писателя на русский язык и по математике вместо четырех задач, решаемых в два отдельные дня, должны были исполнить три задачи в течение одного дня (5-ти часов).

С 1901—2 учебного года преподавание в гимназии пошло при новых условиях: было отменено изучение древних языков в 2-х низших классах, введено в них преподавание истории и естествоведения и усилено изучение новых языков, начинающееся уже в I-м классе. Распоряжением министра народного просвещения в 3-й гимназии было оставлено преподавание обоих древних языков, из новых же языков обязательным для учеников являлось изучение только одного. Эта последняя и самая характерная особенность 3-й гимназии была закреплена за нею по высочайшему повелению 20 июля 1902 г. (Всего подобных гимназий в России с 1902 г. осталось, кроме 3-й, только четыре: 5-я московская, 4-я варшавская, 2-я киевская и юрьевская *). В том же 1902 г. установлены были новые правила о переводных экзаменах, по которым ученики, получившие общую годовую отметку по каждому предмету не менее 3-х, переводились в следующий класс без экзамена.

Дальнейшее существенное изменение в своем учебном строе третья гимназия получила уже после октябрьской революции 1917 года.

По постановлению Народного Комиссариата по Просвещению от 27 мая 1918 года, введено было обязательное совместное обучение и отменены

*) Не считая еще нескольких гимназий при церквях и историко-филологических институтах, программы которых вообще не подвергались изменениям в 1901—1902 г.г. — См. «С. В. Рождественский. Историч. обзор деят. мин. нар. просв.», стр. 719.

были отметки и обязательное обучение древних языков. Третья гимназия, как гимназия специального классического типа, по тому же постановлению, временно сохранила в своем курсе древние языки, как предметы обязательные для школы, но не для учащихся.

Декретом от 12 июля 1918 г. было прекращено совершение каких бы то ни было религиозных обрядов и преподавания закона божия в стенах школы.

30 сентября 1918 года было предписано всех учеников, переведенных из VII в VIII класс, считать окончившими курс школы, вследствие упразднения VIII класса.

Распоряжением Комиссариата Народного Просвещения от 5-го октября 1918 г. с третьей гимназией была слита женская гимназия Юргенс (Фонтанка, 32) в *Единую Трудовую Школу 2-х ступеней*. Учебный план единой трудовой школы был опубликован 12-го октября 1918 г. и с тех пор применяется в школе—со всеми теми изменениями и дополнениями, которые последовали за последние годы со стороны Отдела Народного Образования.

29-го сентября 1919 г. школа получила наименование «33-й Трудовой Школы I и II ступени I Городского района». По распоряжению районного Отдела Народного Образования от 14 июня 1920 г., с ней была слита 34-я трудовая школа (помещавшаяся на Шпалерной ул., 2). 15-го августа того же года она была переименована в 8-ю школу I-го Городского района и наконец—с октября 1922 года—носит название «13-й советской трудовой школы Центрального района».

IV. ИЗ ШКОЛЬНОЙ ХРОНИКИ.

Наводнение 1824 г. Известное наводнение в Петербурге 7 ноября 1824 г. очень сильно отразилось на здании только что открытой в 1823 г. гимназии. В донесении об этом несчастье сообщается следующее: «В четверть 12-го прекращены были уроки и все вольноприходящие и полупансионеры были распущены, чтобы дать им время возвратиться домой. Между тем вода поднималась выше и выше, так что в начале 1-го часа детям невозможно уже было оставаться в столовой и окончить обед. К исходу 1-го часа вода потопила весь нижний этаж, распространяясь так стремительно, что большая часть живущих подвергалась очевидной опасности, так как приливающие волны не допускали открыть дверей и надобно было разбить окна, чтобы вытащить жителей, спасавшихся на печках». Из живущих никто не погиб, только занимавшие нижний этаж потеряли часть своего имущества. Квартиры были все повреждены; на всем здании штукатурка отсырела и ее потом пришлось отбивать для просушки строения

Убытков понесено живущими на 7.000 р. ас. Исправление здания стоило более 18.000 р. ас.

Конкурсы учеников всех Петербургских гимназий в 1840—42 г.г.*).

В 1840—42 г.г., в министерство Уварова, с целью возбудить соревнование не только между учащимися, но и между учителями и директорами, а также для того, чтобы ознакомить родителей и публику с успехами молодых людей, были устроены конкурсные испытания учеников Петербургских четырех гимназий на следующих основаниях: «конкурс устанавливается для учеников четырех верхних классов по общим предметам, преподаваемым в сих классах. Для этого директор каждой гимназии избирает, по своему усмотрению, трех воспитанников из каждого класса, которые в известное время собираются в одно место по назначению. Для каждого класса назначался один общий предмет, напр., для VII кл. русская словесность, и воспитанники всех четырех гимназий пишут под надзором гувернера в продолжение трех или четырех часов свои сочинения на присланную от попечителя к сему времени тему по предмету конкурса. Сочинения их представляются попечителю, который, отделив написанное имя сочинителя с означением соответствующего номера, передает все сочинения стороннему для гимназии профессору или другому лицу по принадлежности предмета для рассмотрения достоинства каждого. По получении отзывов от профессоров, попечитель объявляет об учениках, удостоившихся премий. Наград этих не должно быть более четырех для каждого класса, в том числе две книги и два похвальных листа».

Первый конкурс происходил во 2-й гимназии 4 и 7 июня 1840 г. в 9 час. утра. Общими предметами, из которых предполагалось извлечь самые темы для конкурса, были назначены: для VI кл. первой гимназии и для VII—второй и третьей—русская словесность. Для V класса первой гимназии и для VI—прочих трех гимназий—латинский язык; для IV класса первой гимназии и для V класса прочих—всеобщая история; для IV класса всех гимназий—алгебра. Распределение это было сделано с тою целью, чтобы согласовать степень познаний учеников первой гимназии, которая в то время была разделена только на шесть классов, с соответственными классами трех остальных гимназий, из которых каждая имела по семи классов.

Сочинения воспитанников писались на особых листах, доставленных в гимназию. По окончании работ директор должен был запечатать их в той же зале в присутствии гувернеров и препроводить к помощнику попечителя.

*) Из «Историч. записки 75-летия Спб. 2-й гимназии», ч. 2-я. Спб. 1894 г. стр. 371—374 и «Историч. записки 50-летия Спб. 3-й гимназии Н. М. Аничкова», стр. 156—157.

4-го июня 1840 г. во 2-ю гимназию собрались избранные ученики прочих трех гимназий для конкурса по латинскому языку и алгебре. Директор Постельс дал им лично нужные наставления и перед ними распечатал присланные темы. Занятия учеников продолжались от 10½ до 12½ час. Потом всем ученикам предложен был обед и отдых, во время чего классы, где происходили занятия, были заперты, а сами ученики находились под строжайшим надзором. После обеда занятия состояли в переписке сочинений и переводов, что продолжалось до 5-ти часов.

Поздний приход некоторых воспитанников был причиною несвоевременного начала конкурса. Один ученик Ларинской гимназии по болезни не явился, другой—первой гимназии—от конкурса отказался. Всех работ было 22. По окончании работ все листы были отобраны и в присутствии учеников и гувернеров запечатаны для отсылки помощнику попечителя.

В конкурсе по средней истории участвовали ученики четырех гимназий, а по русской словесности только трех гимназий, ибо в Ларинской VII класс еще не был открыт. В своем отчете об этом конкурсе Постельс писал попечителю, что все «конкуренты, назначенные для русской словесности, по прочтении им темы, объявили свое сожаление, что предмет оной есть чисто исторический, и что потому, может быть, они не в состоянии будут выказать свои знания по русской словесности в той мере, как они себя чувствуют, не припоминая всех подробностей исторических, к сей теме относящихся, так как об этом предмете им читано было три года тому назад, в V классе, и твердо надеялись, что темою для конкурса будет избрана какая нибудь статья из программы словесности в VII классе, которая мною и другими директорами для сей цели была представлена по начальству». По краткости времени некоторые ученики не успели переписать начисто свои работы. По окончании конкурса был устроен торжественный акт 4-х гимназий 22 июня в присутствии высшего начальства и публики.

Второй конкурс происходил в 1841 г. в Петербургском университете 5 и 6 июня. Испытания происходили по русской и всеобщей истории, латинскому языку и алгебре. На конкурсе 1842 г. происходили испытания по русской словесности, латинскому языку и геометрии 3, 4 и 5 июня—также при университете.

Из 48 наград, розданных в течение этих трех лет, 19 пришлось на долю 3-й гимназии. Всех учеников этой гимназии было на конкурсе за все время 40 человек,—таким образом, половина из них получила награды.

Литературные и читательные беседы. В 1845 году от управления учебным округом последовало распоряжение по гимназиям о введении литературных бесед, имевших целью возбудить соревнование между воспи-

танниками гимназий С.-Петербургского учебного округа. Беседы устраивались в неклассное время для VI и VII классов по одному разу в неделю, и в них принимали участие начальство гимназии, учителя русского языка и учитель того предмета, к которому относилось предстоящее сочинение. Кроме учеников VI и VII классов, на беседы допускались и лучшие ученики IV и V классов. Беседой руководил учитель словесности. На каждой беседе прочитывалось по одному или по два сочинения, смотря по объему. По прочтении сочинения, ученики-товарищи могли делать свои замечания. Каждый из присутствующих учителей делал свою оценку труду ученика, и затем преподаватель словесности передавал сочинение директору с своими письменными замечаниями. Этот же последний пересылал их каждые полгода попечителю округа, от которого они возвращались с замечаниями профессора. Вместе с тем особым циркуляром давалось знать об особенно успешных трудах учеников с указанием заглавия сочинения и фамилии автора. В январе 1846 г. была первая литературная беседа, на которую представили свои сочинения воспитанники VII класса: Стоюнин «Беглый взгляд на историю образования», и Мельников «Изображение характера правления Иоанна III». Как об этих, так и о других 7-ми сочинениях замечено было, что они вообще удовлетворяют требованиям теории словесности и правилам языка. В сочинении Мельникова, кроме того, замечена историческая неверность взгляда на Иоанна III, а о сочинении Стоюнина сказано: «во всем сочинении заметны нетвердость, неопытность автора; нигде не видно, что собственно понимает он под образованием. Есть, впрочем, замечания основательные. Выбор темы, кажется, не по силам автора, но может служить доказательством его любознательности и наблюдательности». Литературные беседы продолжались до 1855 г., когда и были прекращены. Всех сочинений, представленных на литературные беседы за 9 лет, было 249, из них одно — Д. И. Писарева на тему: «Очерки из истории Галицкого княжества».

Кроме «литературных», одновременно с ними в гимназии происходили еще и так наз. «читательные» беседы — по закону божью и по русскому языку. Первые назначались в продолжении всего года по разу в месяц, в великом посту — каждую неделю, а на 3-й неделе поста все уроки закона божия во всех классах заменялись читательными беседами. По русскому языку беседы не были постоянными, а по преимуществу случайными, т. е. если не являлся в класс какойнибудь преподаватель, то урок его заменялся беседой; для этого одному из учеников старшего класса поручалось прочесть статью по указанию преподавателя; слушателем, кроме учителя, был директор или инспектор. По прочтении вызывалось несколько учеников рассказать прочитанное и тем определялось, насколько удачно было чтение. С прекращением литературных бесед, были прекращены и читательные.

Актные речи В. Я. Стоюнина. Годичные акты в 3-й гимназии конца пятидесятых годов носили несколько иной характер, чем в последующее время Толстовско-Дебяновской школы. Эти акты выходили из круга домашнего, формально, по обязанности выполняемого дела, и носили широкий общественный характер, были праздниками и для самого заведения и для той части общества, которая разнообразно связывалась с гимназией сотнями нитей в виде детей и юношей, составлявших ее учащийся контингент. На эти ежегодные торжества, во имя науки, в гимназический зал сходилось многочисленное и разнообразное общество. Оно собиралось сюда не случайно, а вполне сознательно, движимое глубоким интересом к школе, которой оно вверяло на долгие годы образование и воспитание своих детей.

Со своей стороны и гимназия, признавая и уважая эти естественные и законные чувства общества и дорожа его вниманием и нравственной поддержкой, делала все зависящее от нее, чтобы в этот торжественный и знаменательный момент оказаться вполне на высоте своей ответственной задачи. Благодаря всему этому, годичные акты в прежнее время отличались необычайным оживлением и разнообразным содержанием, соединявшим всех присутствовавших как бы в одну родную семью.

Кроме обычных отчетов с сухими цифрами о состоянии и жизни гимназии, что делалось на годичных актах и в последующее время, на прежних актах произносились и читались различные речи и сочинения. Одни из этих речей и сочинений имели в виду посетителей и излагали и разъясняли им ход преподавания в заведении, знакомили с ходом его действий и управления; другие представляли отчет о специальных занятиях преподавателей и результатах их исследований в разных научных областях; наконец, третьи имели целью показать приложение наук к жизни, познакомить с новыми открытиями в области естественных наук, географии и этнографии. Сверх всего этого на каждом акте произносились речи, относившиеся непосредственно к воспитанникам гимназии: они заключали в себе напутствие окончившим курс учения и знакомили их ближе и подробнее с некоторыми специальными частями наук, которые преподавались им в гимназии. Такие речи обыкновенно произносились в ответ на благодарственное приветствие, с которым один из оканчивавших курс, от лица своих товарищей, обращался к заведению и педагогам.

Трудную и ответственную задачу — напутствовать последним словом окончивших курс питомцев от имени гимназии — в продолжении нескольких лет брал на себя В. Я. Стоюнин, сам бывший учеником 3-й гимназии и затем преподавателем в ней в течение 17 лет. Речи его обыкновенно представляли небольшие рассуждения, которые, однако, несмотря на малый объем, поражали и глубиной мысли, и богатством содержания. В них он резюмирует содержание пройденного молодыми людьми школьного пути,

делает из этого прошлого выводы, которые могли бы служить руководящею нитью в их новой жизни и деятельности, наконец, намечает в общих чертах содержание этой будущей жизни и деятельности, и ставит его в связь с только что прожитым школьным периодом. Вместе с тем, являясь задушевной исповедью В. Я., будучи написаны, так сказать, под диктовку его прекрасного сердца, эти напутствия отличались чрезвычайною теплотою и искренностью чувства и производили сильное и благотворное впечатление на слушателей, особенно на молодежь, на бывших учеников В. Я.—Отсылая интересующихся содержанием актовых речей В. Я. Стоюнина к статьям об этом Н. Ф. Арепьева, напечатанным в «Народной Школе» 1889 г. № 1 и в «Образовании» за 1890 г. *), позволим себе привести некоторые места из речи В. Я., сказанной им на акте 1858—59 учебного года:

«Прощаясь с вами, говорил В. Я., мы напутствуем вас благословением на полезные труды, без которых нет настоящей жизни. Пусть гимназический звонок заменится для вас постоянным тайным голосом: деятельность, деятельность. Без нее погубило свою жизнь много молодых людей с прекрасными идеями, с высокими идеалами, — у них не доставало силы воли понудить себя к труду и сделать его твердою опорою для своих идей и идеалов; они праздно провели свое время в мечтах, а не в деле; не познав наслаждений от труда, не вкусив сладости отдыха, они рано пресытились праздными удовольствиями жизни и, наконец, в своей апатии стали негодными для общественной деятельности, начало которой требует свежих сил и энергии. Человеку еще мало только питать в себе благородные идеалы и высказывать сочувствие ко всему прекрасному; тогда он не приносит никому зла; хорошо и это, но слишком недостаточно: он непременно должен принести еще и добро, а оно необходимо требует труда и деятельности.

Человек тогда является в полном величии, когда развитый, здоровый ум его опирается на силу воли, источник всякой деятельности; без нее он слаб, потому что при первом порыве страсти голос его готов умолкнуть; все прежние убеждения и выводы его вмиг забываются, страсть торжествует... Надежен ли такой человек?.. И сколько таких примеров мы встречаем беспрестанно, сколько раз приходится досадовать за недеятельность многих людей, весьма сильных умом... Какая от них польза? что совершают они для общего блага, о котором между прочим все говорят?

Но нужно не говорить, а действовать, — заканчивает свою речь В. Я. — В настоящее время взор всех мыслящих людей внимательно обращен на воспитывающиеся поколения; от них ожидают в будущем много добра и пользы для отечества».

Иногда в своих речах В. Я. Стоюнин, под наплывом охватившего его чувства, оставлял теоретически-философские рассуждения и рисовал перед слушателями прямо-таки поэтические картины. Так, рассуждая в одном из напутствий о значении науки, В. Я. говорит:

«Постарайтесь представить ее (науку) в определенном и ясном образе, и вы увидите, каким чудным исполином она возникает перед вами. Растет этот исполин

*) Откуда нами и заимствована настоящая заметка.

медленно, но с зорким глазом и чутким ухом; никому не уступает он в силе; он смотрит на небо, и ни одна звездочка от него не укроется; там он открывает новые миры, новые движения, не оставляет без внимания ни одного блеска, ни одного луча. Он берет в свою власть все, что существует на земле, до всего касается, все рассматривает: с высоких гор спускается в бездонные пропасти, заглядывает в недра земли, в морскую глубь, и везде находит жизнь, понимает и оценивает ее... Он даже углубляется в мир самого духа, проникает в мысль, и тьму делает светом. Этот исполин—наука, наша истинная помощница в жизни. Чтобы яснее определить наше настоящее и будущее, она старается проникнуть в прошедшее и у него допроситься смысла. И вот она берет в одну и ту же руку перо и заступ, идет по городам, селам и деревням, прислушивается ко всему, в чем есть отголосок былого, пишет у колыбели младенца, которому заботливая мать поет на сон грядущий старую песню, затверженную, когда она сама была еще младенцем; пишет на свадебных пирах, одушевленных народными обычаями; пишет на посиделках при свисте веретен, в хороводах при веселых криках молодежи; подслушивает гаданье, таинственные заговоры, приметы стариков, сказки и загадки старух: садится возле слепого нищего и чертит неутомимым пером слова его песни; вступает на сходку мужиков и из их говора вырывает старые пословицы и поговорки. И никто из них не замечает этой труженицы, никто не пристает к ней с пытливым вопросом, зачем она блуждает между ними, никто и не подозревает, что она найдет глубокий смысл в словах, которые они повторяют, как заученные, перешедшие к ним от прадедов. И заступ у нее идет в дело: он отрывает развалины, заглядывает в могилы, сбрасывает курганы, и все, что находит, считает своим сокровищем и достоянием; она на все имеет право, потому что из всего хочет возродить жизнь. Вот в каких образах представляется нам наука. Как же не увлечься, не вдохновиться ею?»

Юбилей 3-й гимназии. 25-го января 1848 г. (в воскресенье) 3-я гимназия праздновала 25-летний юбилей своего существования. На торжественном акте были произнесены следующие речи: старшим учителем русской словесности А. С. Власовым—«Краткое обозрение состояния 3-й Спб. гимназии в первое ее двадцатипятилетие»; старшим учителем латинского языка В. Х. Лемониусом (на латинском языке)—«De commendando litterarum antiquarum studio»; учеником VII класса Алексеем Григорьевым—«Приветствие бывшим воспитанникам 3-й Спб. гимназии» и бывшим учеником 3-й гимназии (VIII выпуска) А. И. Поповым—«Несколько слов признательности». Все эти речи были затем напечатаны в особой брошюре (в 59 стр.), изданной в том же 1848 году, под заглавием: «Двадцатипятилетний юбилей 3-й С.-Петербургской гимназии, учрежденной 26 января 1823 г.».

26 января 1873 года 3-я гимназия праздновала 50-летний юбилей своего существования. Сообщение о нем помещено в настоящем сборнике на стр. 88. Ко дню юбилея была издана «Историческая записка пятидесятилетия 3-й Спб. гимназии», составленная по поручению педагогического совета преподавателем Н. М. Аничковым (стр. 207 + 153).

Наконец, 26 января 1898 г. праздновался 75-летний юбилей гимназии. На акте директор гимназии Н. А. Козеко прочитал отчет о деятельности

гимназии за 75 лет ее существования; затем приносили поздравления депутаты от некоторых петербургских учебных заведений, и все закончилось речью директора, в которой он указал на многих выдающихся деятелей, вышедших из третьей гимназии, и выразил пожелание, чтобы пример их имелся всегда в виду настоящими учениками гимназии. На следующий день ученики были освобождены от занятий. Никаких печатных изданий по поводу юбилея сделано не было. В некоторых газетах были помещены заметки о юбилее, а в «Петербургской газете», сверх того, еще и следующее стихотворение:

«Бабушка славная! Теплый привет
Шлют тебе ныне и дети, и внуки.
Вечно да здравствует разум и свет
В мирном приюте науки!
Старость печальна. Но с мыслью живой,
С бодрой заботой о знаньи и свете—
Старости милой, отрадной такой
Есть ли прекрасней на свете?..»

Юбилей педагогов 3-й гимназии. За время своего столетнего существования школа наиболее торжественно отпраздновала следующие юбилеи своих работников:

1) в январе 1884 г.—двадцатипятилетие директорской деятельности Вильгельма Христиановича Лемониуса и 1-го октября 1891 г.—пятидесятилетие его педагогической деятельности *);

2) 7-го января 1894 г.—пятидесятилетний юбилей педагогической деятельности заслуженного преподавателя русского языка Павла Садоковича Юрьева **);

и 3) 29-го октября 1921 г.—сорокалетний юбилей деятельности в стенах третьей гимназии преподавателя географии Николая Федоровича Арепьева.

Общество для вспоможения нуждающимся ученикам 3-й гимназии. Названное общество было открыто в начале декабря 1880 г. Деятельность общества, согласно устава, ограничивалась материальными пособиями учащимся и заключалась во взносе за недостаточных учащихся платы за учение, в оказании им помощи в приобретении книг и учебных принадлежностей и в облегчении и предоставлении учащимся способов к содержанию себя во время учения. Большой поддержкой для общества обычно

*) Об этих юбилеях см. «Новое Время», январь 1884 г. и «Русская Школа» 1891 г., стр. 230 и 241.

**) См. «Русская Школа» 1894 г., февраль, стр. 257—260.

служили устраивавшиеся ежегодно в его пользу литературно-музыкальные вечера, дававшие иногда довольно значительные суммы. При своем открытии—к 1-му января 1881 г.—общество имело в своем составе 140 членов и в кассе—членских взносов и пожертвований на 1200 руб. Общество просуществовало до 1917 г. и закрылось само собой после революции.

Разделение подготовительного класса. С августа 1892 года подготовительный класс в 3-й гимназии был разделен на два отделения: старшее и младшее. Такое деление существовало пять лет; в августе 1897 г. оба отделения подготовительного класса опять были сведены в одно.

Волнения среди учащихся 3-й гимназии в 1905 году *). «15-го октября 1905 г., в 9 час. утра, ученики 3-й гимназии были отпущены по домам по 24-е октября. Не прошло и часу, как разошлись ученики из гимназии, собралась перед зданием гимназии толпа молодежи из разных учебных заведений человек в 200; до 60 человек ворвались в вестибюль и направились по лестнице в помещение гимназии, но были остановлены директором, инспектором и некоторыми преподавателями. На вопрос: чего они желают,—шумели,—и слышались слова: «желаем устроить здесь митинг». Удалось однакож убедить их разойтись из гимназии. Открытые заявления, в это время, двумя преподавателями о забастовках имели дурное влияние на сохранение и поддержание порядка. Эти молодые преподаватели быстро выросли в глазах колеблющихся учеников, как их друзья и лучшие авторитеты.

По возобновлении занятий (с 24 октября) слышались отклики разных требований со стороны учеников в виде петиций. Но ни одна из них не была принята, а со 2-го по 7-е ноября пришлось прекратить уроки в старших трех классах. 7-го ноября ученики VIII класса обратились с прошением к министру, главным образом, о том, чтобы в гимназии введен был лекционный характер преподавания. Возвратившись от министра, ученики высказывали полную уверенность, что просьба благосклонно уважена, и поэтому перестали аккуратно являться на уроки. Педаг. Совет, переждав время и не получая ответа министра, решил просить через учебный округ об ответе министра. Около 10-го декабря получено было из министерства прошение без всякого ответа. В ноябре месяце, когда (со 2-го по 7-е) пришлось прекратить уроки в старших классах, были созываемы родители учеников (поклассно) до V класса включительно. Собраний было четыре. Почти все родители сходились в одном—ходатайстве о скорейшем

*) Из официальных донесений.

возобновлении занятий и о том, чтобы не применялись репрессивные меры к ученикам беспокойным».

Родительские Комитеты в 3-й гимназии. Родительский Комитет в 3-й гимназии впервые был образован в конце 1905 года и действовал до осени 1911 г. Осенью 1911 г. выборы в Родительский Комитет не состоялись, за неявкою необходимого числа родителей, а затем—невероятно высокий кворум для действительности собрания—в $\frac{2}{3}$ родителей учащихся, проживающих в данном городе,—установленный в 1912 г. министром Л. А. Кассо, был причиною того, что Родительского Комитета в 3-й гимназии не было в течение еще трех лет. Только благодаря изменению требований по организации Родительского Комитета, он опять был образован осенью 1915 года и существовал до преобразования гимназии в трудовую школу в 1918 году. Председателями Родительских Комитетов при 3-й гимназии были следующие лица: кн. А. Д. Оболенский, Н. Н. Покровский (впоследствии министр финансов и иностранных дел), профессор С. Ф. Платонов, С. К. Ордин, В. Д. Троицкий и В. М. Мдлоков. Родительскими Комитетами 3-й гимназии были изданы два печатных отчета о своей деятельности: за 1910—11 и 1915—1916 уч. годы.

Образовательные прогулки и экскурсии в школе. В первый раз об «образовательных прогулках» упоминается в отчете гимназии за 1895 год, когда 9 мая была совершена на специально для того заарендованном пароходе поездка в Шлиссельбург, в которой участвовало около 250 человек. Отчет гимназии 1903 г. отмечает уже, что в этом году «образовательных прогулок» было совершено семь, из них одна в Красное Село на праздник древонасаждения. После этого в отчете почти каждого года непременно отмечается несколько подобных же прогулок и экскурсий. Так, из дальних и загородных поездок можно отметить следующие: 18 июня 1894 г.—поездка в Шлиссельбург и 20—22 октября экскурсия в Новгород (под руководством Н. Ф. Арепьева); в сентябре 1905 г.—под руководством того же Н. Ф. Арепьева—поездка в Гельсингфорс и в шхеры; в 1907 г. были совершены три дальних экскурсии: в Псков (руковод. А. С. Николаев), в Новгород (Н. Н. Седых) и в Нарву (Н. Ф. Арепьев). Затем, в продолжение нескольких лет совершаются только городские экскурсии. В 1916 году вопросу об экскурсиях в 3-й гимназии было отведено особое внимание. Педагогический Совет выработал особый «план экскурсий по предметам, рассчитанный на весь гимназический курс Птр. 3-й гимназии» и соответственно с ним—«годовой план экскурсий для всех классов гимназии» и отпечатал его отдельной брошюрой («К вопросу о постановке экскурсий в Петроградской 3-й гимназии». Птр. 1917 г.,

стр. 33 *). Экскурсии после этого стали нормальным явлением школьной жизни. События последних лет, конечно, чрезвычайно затруднили устройство дальних экскурсий. Тем не менее, даже в самые трудные годы—✓ 1920 и 1921—школе удалось устроить две экскурсии—в Псков и на могилу Пушкина—в Св. Горы. Первая была совершена в ноябре 1920 г., а вторая в мае 1921 г.—под руководством преподавателя Н. П. Ижевского (так безвременно погибшего в текущем году).

Книга А. Яроша о 3-й гимназии. В 1906 году вышла в свет книга А. Яроша: «До университета. Из жизни средней школы». (Спб., стр. 306). В ней, в беллетристической форме, описывается быт и нравы Спб. 3-й гимназии конца 90-х годов. Хотя в книге гимназия и не названа, но дан почти точный ее адрес, и фамилии преподавателей изменены по большей части настолько прозрачно, что даже посторонний гимназии человек, имея в руках список преподавателей гимназии того времени, легко догадается, о ком идет речь.—Автор ее, воспитанник LXXIII выпуска (1900 г.) 3-й гимназии А. Н. Ярош (по болезни получивший аттестат зрелости без экзаменов), в 1907 году, сдав все выпускные испытания в Институте инженеров путей сообщения, неожиданно покончил жизнь самоубийством.

Общество вспомоществования бывшим воспитанникам Спб. 3-й гимназии. Общество открыло свою деятельность 24 февраля 1911 года в составе 25 членов. Оно имело целью оказывать помощь бывш. воспитанникам Спб. 3-й гимназии, которые по болезни или по другим, независящим от них причинам, не могут существовать собственными средствами, а также оказывать помощь нуждающимся семействам таких лиц и способствовать воспитанию их детей. К 1917 году число членов общества возросло до 179. Общая ежегодная сумма прихода и расхода, судя по отчетам общества, была приблизительно около 500 руб. В первый же год своей деятельности общество издало «Памятку бывшим воспитанникам Спб. 3-й гимназии» (Спб. 1911, стр. X+90), составленную С. В. Лавровым и содержащую в себе списки учеников, окончивших курс 3-й гимназии по 1910 год включительно. В 1917 году и это общество, как и общество вспоможения нуждающимся ученикам 3-й гимназии, закрылось само собой после революции.

*) План этот напечатан еще в брошюре Н. Ф. Арепьева: «Экскурсии в средней школе». Птр. 1917 г.

Сокращение продолжительности уроков до 40 мин. По постановлению Педагогического Совета от 26 августа 1917 г., продолжительность урока в гимназии сокращена с 45 до 40 мин.

✓ **Первые выборы администрации и педагогического персонала в 3-й гимназии.** 16 января 1918 г. Педагогический Совет 3-й гимназии—первый из всех Педаг. Советов Петрограда—принял постановление о том, чтобы провести в жизнь «Временные правила об автономии средних учебных заведений» и на основании их, произвести выборы всех должностных лиц в том числе директора и инспектора гимназии. 26 января того же года, в день 95-й годовщины основания гимназии, эти выборы были произведены, и закрытой баллотировкой на должность директора гимназии был избран преподаватель русского языка Н. А. Соколов, а на должность инспектора—В. М. Клембровский. Согласно предложения Комиссара по управлению учебным округом от 12 апреля 1918 г., о выборах Президиума Педагогического Совета, эти лица затем 26 апреля того же года были переизбраны: первый—председателем Педагогического Совета, а второй—товарищем председателя.

30 апреля того же 1918 г. были произведены выборы всего педагогического персонала 3-й гимназии, при чем пять преподавателей (из общего числа 31) оказались забаллотированными, как не получившие абсолютного большинства голосов.

20-го ноября 1918 г. на место В. М. Клембровского товарищем председателя Педагогического Совета был избран Е. К. Товстик.

Закрытие пансиона при 3-й гимназии. В последний год перед революцией, вследствие трудностей в добывании продуктов, пансион, существовавший при гимназии с самого ее основания, фактически перестал функционировать и временно был закрыт, но с сохранением всего служебно-воспитательского персонала. 6 апреля 1918 г. Педагогический Совет, заслушав доклад о положении пансиона, постановил: считать пансион закрытым и прекратить выдачу из специальных средств содержания лицам служебно-воспитательского персонала с 1 июля 1918 г. Выдача содержания, впрочем, затем была продлена до 1-го сентября того же года, когда пансион был окончательно упразднен, и имущество его, согласно распоряжению Комиссариата Народного Просвещения, передано различным интернатам (бывш. институтов—Екатерининского, Еленинского, Мариинского, Исидоровского училища и др.).

Перемещение фундаментальной библиотеки. В виду того, что помещение, отведенное для фундаментальной библиотеки в новом здании, выстроенном в 1913 г., оказалось весьма неудачным и совершенно не отвечало своему назначению, библиотека, по постановлению Педагогич. Совета от 9 октября 1918 г., была перенесена в освободившуюся квартиру бывшего инспектора гимназии, где и находится в настоящее время, занимая шесть очень удобных и поместительных комнат.

Слияние с бывш. 3-й гимназией женской гимназии Юргенс и 34-й трудовой школы. 5-го октября 1918 г., по распоряжению Комиссариата Народного Просвещения, последовало слияние с 3-й правительственной гимназией женской гимназии Юргенс (помещавшейся на Фонтанке, 32). По получении извещения об этом, Педагогическим Советом 3-й гимназии, в виду возможной разницы в программах курсов обоих учебных заведений, было решено, до распределения учениц гимназии Юргенс по классам, пригласить 14 октября преподавателей гимназии Юргенс на заседания предметных комиссий, для выяснения объема познаний учениц каждого класса, с тем, чтобы затем произвести не механическое соединение по классам, а руководиться при этом познаниями учащихся по тем или иным предметам. На этом заседании выяснилось, что ученицы старшей ступени гимназии Юргенс, по сравнению с курсом, пройденным в соответствующих классах 3-й гимназии, отстают—по истории на 1 год, и по математике—на 1 или 1½ года обучения; по русскому языку программы обеих гимназий приблизительно одинаковы, за исключением грамматики, по физике же ученицы прошли более, так как обучаться этому предмету они начали с 5-го класса. Программа младшей ступени гимназии Юргенс имела только незначительные отступления от программы 3-й гимназии. По обсуждении Педагогическим Советом создавшегося положения, было решено учениц младшей ступени поместить в соответствующие классы 3-й гимназии; механическое же слияние одноименных классов старшей ступени обеих школ было признано невозможным и постановлено было объединить 1, 2 и 3 классы старшей ступени, устроив групповые занятия для учениц по тем предметам, по которым ими пройден меньший курс; 4-й же класс не соединять, в виду значительного расхождения пройденных программ, и для учениц открыть особую параллель. Фактически совместное обучение в 3-й гимназии началось 22-го октября 1918 года.

Гораздо безболезненнее прошло в июле 1920 г. слияние с бывш. 3-й гимназией (тогда уже 33-й сов. школой) 34-й сов. школы, помещавшейся на Шпалерной ул., 2. Эта школа имела только одну первую ступень, состоявшую из 8 классов—с 248 учащимися и 11 преподавателями, которые все пожелали работать в 33-й школе. Бывшая заведывающая 34-й шко-

лой А. П. Цапко вошла в состав президиума б. 3-й гимназии и ее ведению были поручены младшие классы 1-й ступени и классы в прикрепленных к школе детских домах.

Организация питания в школе в 1918—1922 г.г. Согласно декрета Комиссариата Народного Просвещения об усилении детского питания, опубликованного в «Северной Коммуне» за 1918 г. № 110, в октябре 1918 г. Продовольственной Управой были отпущены бывш. 3-й гимназии продукты, и с 21-го октября того же года в школе были организованы горячие завтраки для учащихся. В начале за них взималась небольшая плата (25 р. в месяц), при чем допускалась рассрочка, а потом питание было сделано совершенно бесплатным для всех детей и педагогов школы; продолжалось оно до июня мес. 1921 года, после чего в школе с 16 октября того же года был устроен питательный пункт Американской Администрации Помощи (АРА), функционировавший до 15 февраля 1923 года.

Ученические организации. Вопрос о самостоятельности учащихся и их организации был поднят Педагогическим Советом 3-й гимназии еще в первой половине 1917 года и завершился образованием особой «комиссии по организации учащихся»; эта комиссия немедленно же вступила в непосредственные переговоры по этому поводу с учащимися и их родителями и в результате выработала ряд практических предложений, которые и были проведены в жизнь. Образовалось среди учащихся несколько кружков, стали издаваться ученические журналы, организовалось особое «Бюро труда», имевшее целью предоставить заработок нуждающимся учащимся. В ведении Бюро находилась переплетная мастерская. Этим Бюро было устроено 7 апреля 1918 г. литературно-музыкальное утро, весь чистый сбор с которого в сумме 2482 р. 92 к. (очень крупной для того времени) пошел на внесение платы за нуждающихся учеников. Поэтому циркуляр Комиссариата Народного Просвещения от 15 июля 1918 г. о расширении самостоятельности учащихся и образовании кружков, трудовых артелей и т. п., для гимназии в то время уже не был новостью. В частности—постановление о допущении учащихся на заседания Педагогического Совета было принято Советом еще 14 (1) февраля 1918 года.

На заседании Педагогического Совета 23 октября 1918 г. было сообщено о желании учеников старших классов школы оказать Педагогическому персоналу помощь в деле установления режима школьной жизни и приучения младших товарищей к порядку; в виду чего было решено предложить учащимся старших классов избрать двух представителей на младшее отделение, трех—на среднее и двух—на старшее для совместной ра-

боты с классными наставниками. Избранные учащиеся должны были наблюдать за порядком при уходе учеников на завтрак, при выходе из школы и выполнять другие обязанности по указаниям классных наставников. Тогда же учащиеся приняли деятельное участие в организации питания в школе.

12-го марта 1919 г. Педагогич. Совет предложил совету старост выработать меры, способствующие усилению порядка в школе, в особенности относительно пропусков и запаздываний учащихся.

Особенно энергично работали ученические организации в 1919—1920 уч. году. В заседании Пед. Совета 1 октября 1919 г. был заслушан проект совета старост о реорганизации преподавания на 2-й ступени вообще и в IV классе в частности, и заключение Президиума школы относительно этого проекта. Между прочим, в нем предлагалось произвести разделение учащихся на сильные и слабые группы, вместо существовавших до сих пор параллельных классов. Пед. Совет, вполне присоединившись к основным положениям проекта, постановил провести его в жизнь в наступившем учебном году по отношению к IV классу, внося только некоторые изменения в таблицу уроков. Особый интерес здесь имеет постановление об учреждении из состава Пед. Совета «консультационной коллегии», которая должна была иметь своей целью, основываясь на данных психо-анализа, помочь каждому учащемуся определить ту деятельность, к которой он по своим психическим свойствам больше всего подходит. Для этой цели, согласно принятому положению, консультационная коллегия 1) собирает от каждого преподавателя характеристики каждого учащегося, 2) с помощью учащихся и учащихся организует ряд наблюдений над учащимися выпускного класса, 3) дополняет и проверяет собранный материал посредством анкет, собеседований и проч., 4) суммирует все данные в полные и обстоятельные характеристики учащихся, 5) на основании этих характеристик выясняет ту деятельность, к которой данный индивид совершенно не пригоден, и ту, к которой особенно приспособлен, 6) в конце учебного года дает учащимся определенный мотивированный совет. В своем заявлении учащиеся по этому поводу говорили, что огромное большинство их обычно при выходе из школы не имеют представления ни о высшей школе, ни о своей будущей деятельности, и просили даже, кроме учреждения «консультационной коллегии», ввести со второго полугодия (1919—1920 уч. года) обязательный курс обозрения высшей школы в России.

В протоколе Пед. Совета от 14-го декабря 1919 г. констатируется, что «по сравнению с прошлым учебным годом занятия шли гораздо более организовано и дали лучшие результаты; многие явления внутренней жизни, служившие серьезным препятствием к правильному ходу занятий,—в текущем году, благодаря активной работе ученических организаций, удалось устранить; самое отношение к работе было серьезное; значительный интерес вызывает общественная деятельность (совет старост, кружки, комиссии

и проч.), и нужно признать большой успех ученических организаций в смысле объединения дотоле разрозненной и трудно поддававшейся воздействию массы учащихся».

В противоположность прежнему, образовавшийся в том году совет старост поставил своею целью руководить и направлять учащихся к осуществлению трудовой школы и развил широкую внутренне-организационную, учебно-воспитательную, контрольно-хозяйственную, культурно-просветительную и даже карательную деятельность. Им организован был особый орган—«Совком»—состоявший из назначенных для руководства классною жизнью комиссаров по каждому классу; одной из их главных задач было оказание товарищеской помощи отстающим учащимся путем групповых и индивидуальных занятий. Пример Совкома оказал огромное влияние на массы учащихся, которые по собственной инициативе стали помогать товарищам, так что почти каждый день по вечерам в школе занимались те или другие группы. В IV классе введена была система периодически повторявшихся коллоквиумов по всем предметам (каждый—под руководством особого ученика-специалиста), и они оказали несомненно благотворное влияние на поднятие работоспособности класса. Образована была затем особая комиссия из учащихся по борьбе с манкировками, которая установила внутренний распорядок жизни, запретив опаздывания и уход с урока, ввела действительный контроль и налагала взыскания на нарушителей принятых постановлений. Деятельность ученических организаций пользовалась безусловной поддержкой со стороны наиболее сознательной части учащихся и проходила в тесном сотрудничестве с педагогами; отдельные преподаватели (в особенности Е. К. Товстик, Н. П. Ижевский и некоторые другие) принимали в ней самое живое участие, помогая учащимся своими советами, указаниями и прямой работой.

Со следующего 1920—21 уч. года эта деятельность начинает несколько видоизменяться и принимать другой характер, соответственно выявившимся к тому времени потребностям школьной жизни. Совет старост перестал функционировать; остались только представители учащихся в Педагогическом Совете. Образовалась ячейка Коммунистического Союза Молодежи. В последние годы центр тяжести и интересы учащихся почти целиком перешли на работу в различных кружках, из которых в настоящее время особенно энергично проявляют себя—исторический, литературный и физико-математический.

Уплотнение школы на зимнее время. В конце января 1920 г. школа, в виду отсутствия дров, принуждена была оставить свое здание и перейти для занятий в помещение бывшего пансиона. В начале занятия происходили в две смены, по три урока в каждой, в виду чего пришлось сократить таблицу уроков; четвертые же классы 2-й ступени занимались по обычному

расписанию. Теснота помещения, его непригодность к ведению нормальных занятий и трудность осуществления в надлежащей мере надзора, неблагоприятно отразились на общем поведении учащихся и на установлении необходимой дисциплины, и потому при ближайшей же возможности школа после пасхального перерыва немедленно перешла в прежнее помещение. На следующую зиму (1920—1921 уч. г.) пришлось, однако, опять воспользоваться помещением бывшего пансиона, при чем, согласно с указанием уже сделанного опыта, занятия в две смены были отменены, а велись через день для каждого класса, но классы чередовались так, что в две недели проходило полностью все недельное расписание. Классы 3-й и 4-й 2-й ступени занимались каждый день по обычному расписанию. То же самое пришлось проделать и в следующем 1921—1922 уч. г., только, кроме 3 и 4 кл. 2-й ступени, ежедневно занятия велись еще в кл. А, в остальных же классах занятия шли через день. Наконец, на 1922—1923 уч. год школа также принуждена была переселиться на зиму в помещение бывшего пансиона, но, в отличие от предыдущих лет, занятия везде шли ежедневно, так как все классы были обеспечены отдельными, хотя в некоторых случаях небольшими и проходными комнатами, для чего был произведен довольно порядочный ремонт и переделки. Последнее удалось сделать почти исключительно только благодаря отзывчивости родителей и энергичной помощи избранного ими Комитета Содействия.

Прикрепление к школе детских домов. С ноября 1920 г. Отделом Народного Образования предложено было всем школам организовать учебные занятия в детских домах, и с этой целью к бывшей 3-й гимназии (тогда 8-й советской школе) были прикреплены 61, 18, 20 и 32 детские дома, а затем еще 4-й. В настоящее время к школе прикреплены 32-й Детский Дом (Шпалерная, 4), где имеются классы А и Б, и 10-й (Кирочная, 16)—с двумя классами А, организованными специально из детей-дошкольников.

Учительские Съезды в здании школы. В 1921 году в Петрограде, по инициативе Губернского Отдела Народного Образования, были созваны три учительских съезда: 1) с 22 по 27 августа—съезд преподавателей физики, химии и космографии; 2) с 29 августа по 3 сентября—съезд преподавателей естествознания, и 3) с 5 по 12 сентября—съезд преподавателей русского языка и литературы. Съезды прошли с исключительным успехом и отличались чрезвычайным многолюдством своих участников. Так, на последнем съезде было зарегистрировано более 1000 членов. Почти все заседания съездов происходили в здании бывш. 3-й гимназии, и это обстоятельство, конечно, представляло большое удобство для всех преподавателей нашей школы, очень живо интересовавшихся работами съездов.

V. ТАБЛИЦА

общего числа учащихся школы и окончивших курс в ней за сто лет.

ГОД.	Число учащих- ся.	Число окончив- ших курс.	№ выпуска.	ГОД.	Число учащих- ся.	Число окончив- ших курс.	№ выпуска.
1823	228	—	—	1852	419	19	25
1824	300	—	—	1853	399	27	26
1825	334	—	—	1854	395	16	27
1826	352	—	—	1855	392	16	28
1827	303	18	1	1856	389	19	29
1828	306	—	—	1857	440	27	30
1829	339	19	2	1858	454	20	31
1830	330	12	3	1859	511	20	32
1831	366	11	4	1860	514	16	33
1832	320	9	5	1861	541	18	34
1833	292	15	6	1862	502	16	35
1834	299	12	7	1863	495	21	36
1835	333	12	8	1864	422	27	37
1836	357	17	9	1865	405	18	38
1837	362	11	10	1866	371	11	39
1838	370	15	11	1867	344	10	40
1839	389	11	12	1868	340	15	41
1840	367	26	13	1869	352	19	42
1841	359	21	14	1870	341	7	43
1842	350	19	15	1871	409	15	44
1843	358	24	16	1872	437	7	45
1844	370	18	17	1873	419	5	46
1845	371	14	18	1874	415	13	47
1846	373	18	19	1875	426	16	48
1847	357	14	20	1876	456	11	49
1848	367	21	21	1877	453	14	50
1849	367	15	22	1878	452	18	51
1850	374	19	23	1879	446	21	52
1851	394	22	24	1880	473	20	53

ГОД.	Число учащих- ся.	Число окончив- ших курс.	№ выпуска.	ГОД.	Число учащих- ся.	Число окончив- ших курс.	№ выпуска.
1881	516	18	54	1911	490	42	84
1882	534	25	55	1912	517	30	85
1883	545	15	56	1913	543	27	86
1884	520	21	57	1914	538	45	87
1885	508	24	58	1915	542	48	88
1886	507	38	59	1916	577	48	89
1887	496	23	60	1917	538	39	90
1888	524	29	61	1918			
1889	513	37	62	Мальч. . .	392	45 ¹⁾	91
1890	504	36	63	Девоч. . .	125	35 ²⁾	92
1891	522	27	64	Всего . . .	517		
1892	575	25	65	1919			
1893	575	33	66	Мальч. . .	391	17	
1894	579	42	67	Девоч. . .	312	21	
1895	646	34	68	Всего . . .	703	38	93
1896	589	31	69	1920			
1897	587	41	70	Мальч. . .	392	24	
1898	548	46	71	Девоч. . .	311	4	
1899	552	31	72	Всего . . .	703	28	94
1900	549	34	73	1921			
1901	514	44	74	Мальч. . .	444	16	
1902	552	32	75	Девоч. . .	348	3	
1903	567	58	76	Всего . . .	792	19	95
1904	564	58	77	1922			
1905	537	60	78	Мальч. . .	388	18	
1906	508	50	79	Девоч. . .	334	2	
1907	517	33	80	Всего . . .	722	20	96
1908	512	43	81	Всего окончив- ших курс .	—	2403	—
1909	499	34	82				
1910	505	42	83				

¹⁾ Весен. вып. VIII кл., только мальчики.

²⁾ Осен. выпуск VII кл., только мальчики.

Сообщил Н. Соколов.

Личный состав б. 3-й гимназии, ныне 13-й трудовой школы (служащие и учащие).

1823—1923.

Составил Н. Ф. Арепьев.

Директоры, заведывающие.

Миддендорф, Фед. Ив. 1823—27.

Родился в 1776 г. в Эстляндии, учился с Иенском унив., доктор философии. Директор [в звании инспектора] 3-й гимназии в 1823—1827 гг., потом проф. лат. словесности и директор Гл. Педаг. Инст. в течение 17 лет. Умер в 1876 г.

Шнейдер, Вас. Вас. 1827—38.

Урож. г. Ревеля, воспит. Московского университета, преподаватель в московском благородном пансионе; с 1822 года преподаватель римского права в Спб. унив., затем его профессор до 1861 г.; с 1827 по 1838 г., директор (сначала в звании инспектора) 3-й спб. гимназии.

Буссе, Фед. Ив. 1838—59.

Род. в 1794 г., образование получил в петербургском педагогическом институте, по окончании которого в 1814 г. был командирован за границу для ознакомления с системою Беля и Ланкастера. По возвращении в 1819 г. назначен преподавателем математики во вновь учрежденном втором разряде главного педагогического института; с 1827 по 1829 г. был инспектором 3-й гимназии, а с 1838 по 1859 г.—ее директором,

состоя в то же время профессором Педагогического института. Автор нескольких учебников по математике. Умер в 1859 г.

Лемонис, Вильгельм (Василий) Христианович. 1859—97.

Родился в Петербурге в 1817 г., среднее образование получил в 3-й петербургской гимназии. По окончании петербургского университета отправился на собственный счет за границу, пробыл около четырех лет преимущественно в Берлине, слушая лекции в тамошнем университете. По возвращении в Россию в 1844 году был назначен старшим учителем древних языков в третью петерб. гимназию и с этого года не расставался с нею до 1897 года, преподавая древние языки и будучи ее директором с 1859 года. В первые годы своей службы В. Х. преподавал немецкий язык в училище св. Анны. В 1848 г. В. Х. защитил в петербургском университете диссертацию «De parasceniis» на степень магистра греческой и римской словесности. В 1871 году был назначен членом ученого комитета. На него было возложено, между прочим, председательство в комиссии по составлению новых учебных планов по латинскому и греческому языкам. В 1897 г. В. Х. был назначен членом совета министра. Еще в 60-х

годах В. Х. был приглашен участвовать в комиссии по проверке системы обучения в петербургских женских гимназиях, в 1871 г. был командирован в Берлин для ознакомления там с институтом учительниц и воспитательниц, в 1877 г. участвовал в комиссии по разработке вопроса об учреждении у нас высших женских курсов и в 80-х и 90-х годах в комиссии кн. М. С. Волконского по реформе женского среднего образования. Перу В. Х. принадлежат следующие труды: *De commendando litterarum antiquarum studio. Oratio* (в брошюре: «Двадцатипятилетний юбилей 3-й спб. гимназии», 1848); *De parasceniis. Dissertatio philologica et archaeologica*. 1850; *Observationum in Vitruvium capita duo*. 1851; «Мнение о проекте устава общеобразовательных учебных заведений». 1862 г. (в сборнике замечаний на проект устава 1862 г., часть IV); Общеобразовательные и специальные женские заведения в Берлине (Ж. М. Нар. Просв. 1871 г.); несколько педагогических статей в журнале «Учитель» и множество рецензий учебных книг по древним языкам, напечатанных в Ж. М. Нар. Просвещения. Умер В. Х. в 1903 году на 86-м году жизни.

Козеко, Ник. Алексеевич 1897—1918.

Родился в 1845 г. Окончил петерб. унив. по истор.-филолог. фак. в 1866 г.; в 1871 г. определен преподавателем истории и географии во 2-ю гимн., в 1876 г. назначен инспектором псковской гимназии, в 1880 г. инспектором петергоф. прог., в 1884 г. — директором кроншт. гимназии, а в 1897 г. директором 3-й гимн., в каковой должности оставался до 1918 г.

Соколов, Николай Алексеевич, с 26 января 1918 г.

Родился в 1884 г. Окончил Петербургский университет по историко-филолог. факультету. Преподавательскую деятельность начал в Петербургской частной гимназии С. А. Столбцова. В 1911 г. был назначен преподавателем русского языка в 3-ю гимназию, где 26 января 1918 г. Педагогическим Советом был избран на должность

директора и председателя Пед. Сов., а затем — заведывающего школой. С мая 1919 г. работает в качестве ученого библиографа в Российской Книжной Палате (ныне — Институт Книговедения).

Инспекторы, помощники заведующих.

Шнейдер, Вас. Вас.	1823—27.
Буссе, Фед. Ив.	1827—29.
Кнопф, Ник. Ник.	1829—38.
Аккерман, Фед. Андр.	1838—56.
Соколов, Степ. Вас.	1856—66.

Смирнов, Кап. Ив.	1866—74.
-------------------	----------

Образование получил в главном педагогическом институте; преподаватель 3-й гимназии с 1854 и инспектор с 1866 г. В 1874 г. был назначен директором 2-й гимназии. Автор учебников по географии.

Потапов, Ник. Гавр.	1874—
---------------------	-------

Окончил 3-ю гимн. в 1856 г., затем физ.-мат. фак. петерб. унив.; преподаватель мат. с 1859 по 62 г.; с 1874 г. — инспектор; затем директор псковск. реальн. учил., инспектор студентов петерб. унив. и попечитель Казанск. уч. округа.

Федотов, Ант. Ант.	
Слепцов, Александр Ал-др.	1881.

Крутков, Ал-др Фед.	1881—86
---------------------	---------

Род. в 1844 г. Окончил петерб. унив. по истор.-фил. фак.; преподавал в 3-й гимн. лат. и греч. яз. с 1872 г.; в 1886 г. переведен в 5-ю гимн., а затем — директором в Золотоношу, Полт. г.

Соловьев, Дм. Ник.	1886—90
--------------------	---------

Родился в 1848 г. Окончил Петер. Университет. Был препод. лат. и русск. языка с 1871 г.; инспектором в 3-й гимназии и преподавателем русского языка с 1886 г.; затем директор 6-й спб. гимназии и директор канцелярии св. синода.

Невзоров, Ник. Кесариевич.	1890—97.
----------------------------	----------

Окончил курс Казанской дух. Академии,

с 1886 г. препод. русского языка 3-й гимназии; в 1897 г., был назначен директором 7-й гимназии в Петербурге. Был членом учебного комитета при св. синоде. Труды: «Из путевых педагогических заметок о школах Германии, Франции, Италии и Австрии». Спб., 1896; «Этимология и синтаксис церковно-славянского и русского языка в связи с элементарной логикой» (1877); «Сборник статей из образцовых произведений русской литературы» (1879 и сл.); «Руководящие типы и воспитательный элемент в произведениях русской литературы после Гоголя» (1883); «И. С. Тургенев и его последние произведения: «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич» (1883); «П. И. Мельников (Андрей Печерский), его жизнь и литературное значение» (1883). Умер в 1904 г.

Якубов, Ал-др Евграф. 1897—99
Окончил Спб. унив. по ист.-филол. факультету в 1874 г. В 1899 г. назначен директором Введенской гимназии в Петербурге.

Верещагин, Юрий Ник. 1899—1902.
Окончил Московский университет. В 1890 г. назначен преподават. русского яз. в 3-й гимназии, в 1897 г. инспектором Спб. 6-й гимн., в 1899 г. переведен инспектором в 3-ю гимназию. В 1903 году назначен директором в Люблинскую гимназию. Автор «Истории русской литературы» (1898).

Дюков, Ник. Мих. 1902—6.
Окончил петерб. унив. по истор.-филол. фак.; в 1906 назначен директором во 2-ю гимназию. Теперь преподает в подготовит. школе моряков Балт. флота.

Клембровский, Влад. Марк. 1906—18.
Род. в 1861 г. Окончил историко-филол. институт. Был препод. латинского языка в 3-й гимназии с 1903 г. и инспектором с 1906 г.; теперь — преподаватель в учебных заведениях на ст. Малая Вишера, Ник. ж. д.

Товстик, Евг. Конст. с 1918.
Окончил историко-филологический ин-

ститут, в 1911 году поступил на службу в 3-ю гимназию преподавателем древних языков. С 1918 г. состоит помощником заведывающего и преподавателем физики, космографии и истории искусств. С конца 1922 года работает в Институте Книговедения в качестве библиографа.

Законоучители:

Православного исповедания:

Мансветов, Григ. Иванов.	1823—27.
Протоиерей.	
Духовский, Петр Яковл.	1827—46.
Протоиерей.	
Недешев, Алексей Иван.	1846—54.
Священник.	
Городицкий, Мих. Моисеев.	1837—55.
Диакон.	
Добронравин, Конст. Петр.	1854—69.
Протоиерей, потом епископ псковский.	
Флоринский, Дмитрий Иродионович.	
Протоиерей.	
Перетерский, Вас. Иван.	1869—77.
Протоиерей.	
Гиллярковский, Никол. Иван.	1879—81.
Диакон.	
Ветвеницкий, Конст. Иван.	1877—95.
Протоиерей.	
Голубов, Конст. Петр.	1881—1918.
Диакон.	
Любославский, Пав. Вас.	1895—1916.
Протоиерей.	
Знаменский, Вас. Вас.	1916—18.
Протоиерей.	

Римско-католического исповедания:

Майлович, Клементий Ив.,	1839—50.
патер.	
Урбанович, Викентий.	1850—54.
Стацевич,	1854—55.
Марцинкевич, Кандид.	1855—59.
Кононович, Ангел.	1859—69.
Колупайло.	1869—71.
Юрша, Леон.	1871—
Кожуховский, каноник	в 1890 г.
Акко, Адам.	в 1891 г.
Ранцани, Никодим.	1898—1905.

Родзевич, Юлий, ксендз. 1906 г.
 Климашевский, Ксаверий, 1907—1910.
 каноник.
 Святополк-Мирский. 1910—1911.
 Абрантович, Фабиан. 1910—1911.
 Жилевич, Казимир, ксендз. 1912—1914.

Евангелическо-лютеранского исповедания:

Ян, Август, пастор, 1824—41.
 Мориц, Рудольф Львович. 1841—46.
 Рейнфельд, Георгий, пастор. 1846—49.
 Конради, Мориц, пастор. 1849—50.
 Лааланд, Корнелий, пастор, 1850—69.
 Фрайфельд, Конрад, пастор, 1869—71.
 Газенгегер, Роберт, пастор, с 1871—
 Буш, Фридрих Георгий Мориц в 1889 г.
 Штуде, Бруно Конст., пастор, 1905—11.
 Берман, Густав Густав., пастор. 1911—15.

Закона Божия для финляндских уроженцев:

Сигнеус, пастор. 1850—58.
 Лукандер, пастор. 1858—62.
 Лундквист, пастор. 1862—68.
 Эквист, пастор. 1862—

Иудейского исповедания:

Магид, Давид, раввин. 1898—1908.

Преподаватели:

Русского языка и словесности:

Пенинский, Иван Степ. 1823—33.
 Главн. труды: Славянская грамматика.
 Спб. 1825 г. [неск. изд.]; Книга для чтения
 и упражнения в словесности. Спб. 1832 г.;
 Славянская хрестоматия. Спб. 1830—49 гг.
 [5 изд.]; Российская хрестоматия. Спб.
 1832 г.

Ободовский, Плат. Ал-др. 1823—28.
 Буш, Франц Ив. 1828—37.
 Труды: «Упражнения в декламации». Спб.
 1833; «Арифметические задачи для девиц».
 Спб. 1844 г.

Клейменов, Петр Вас. 1830—44.
 Михайлов, Влад. Мих. 1831.
 Чистяков, Мих. Борис. 1837—39.
 Исаев, Дмитрий Семен. 1837—39.
 Конопацкий, Ксав. Бониф. 1839—40.
 Дорогой, Иван Алексеев. 1840—43.
 Сергеев, Андрей Ив. 1840—49.
 Дорогой, Гавриил Алексеев. 1843—44.
 Соколов, Степ. Вас. 1844—
 Яковлев, Гавриил Никит. 1844—49.

Власов, Аникита Сем. 1842—50.
 Был затем директором Вологодской гимназии и 2-й гимназии в Петербурге. Труды: Краткое обозрение состояния 3-й Спб. гимназии за первое двадцатипятилетие. Спб. 1848 г. Повесть «Прожитое» (в «Библиотеке для чтения». 1851 г.).

Зуев, Никита Ив. 1849—53.
 Окончил курс в главном педагогическом институте в 1847 г., был чиновником особых поручений в департ. народн. просвещения и состоял редактором центр. стат. комитета м-ва вн. дел. Труды: несколько учебников и атласов по истории и географии; статьи естественно-исторического содержания, по истории культуры и проч. в «Живописн. Обозрении», «Ниве», «Кругозоре» (1873—77); основал журнал «Живописное Обозрение» и «Северную Звезду».

Юрьев, Павел Садокович. 1852—95.
 Воспитывался в главном педагогическом институте; был преподавателем рус. яз. в кронштадтской гимназии; в училище при церкви св. Анны.

Печкин, Андр. Мих. 1850—53.
 Антонов, Ал-др Ал-др. 1852—64.
 Инспектор Екатерининского института.
 Труды: Русская грамматика, младший 3-х летний гимназический курс с 1863 по 1883 гг. 15 изданий.

Ширский, Капитон Ив. в 1862.
 Шарловский, Иосиф Фадеев. в 1863.
 Горлов, Ник. Ив. 1864—66.
 Вестенрик, Ник. Егорович 1866—

Модзалевский, Лев Ник. 1864—67.

Окончил курс в Спб. унив. по историко-филолог. факультету в 1864 г. Преподавал педагогику в педагогич. курсах военно-учебных заведений и в специальных классах Смольного института; был инспектором приюта пр. Ольденбургского; инспектором, потом директором тифлисской гимназии, там же окружным инспектором и председателем кавказского цензурного комитета; возвратясь в Петербург, состоял членом комитета по разбору отчетов инспекторов и директоров народных училищ и заведывал учебною частью Мариинского института. В 1895 был поставлен во главе училища глухонемых в Петербурге. Скончался в 1896 г. Труды: «Очерки истории воспитания и обучения» Спб. 1866 (3 изд. 1892); «О студентах в Германии» (1866); «Жизнь и характер Коменского» (1892); множество статей в педагогических журналах, в газетах «Голос» и «Кавказ».

Стоюнин, Влад. Яковл. 1853—71.

Родился в купеческой семье; образование получил в 3-й Спб. гимназии и Спб. университете на восточном и историко-филологическом (тогда философском) факультетах. Одновременно со службою в 3-й гимназии преподавал словесность в 1-м Мариинском училище и в Мариинском институте. С 1871 по 1874 гг. был инспектором Московского Николаевского сиротского института. Вернувшись в Петербург, он стал во главе женской гимназии, открытой его женой, в звании инспектора и преподавателя русского языка, словесности и истории. Скончался 4 ноября 1888 г. Труды: Статьи по истории образования в России и по разным общепедагогическим вопросам, изданные в 1892 г. под заглавием: «Педагогические сочинения». Разные пособия и руководства при преподавании родного языка и словесности: «Высший курс грамматики» (1855, 3 изд., 1876); «О преподавании русской литературы» (1864, 5 изд., 1898); «Руководство для исторического изучения русской литературы» (1869, 5 изд., 1879); «Руководство для теоретического изучения литературы» (1870, 6 изд., 1879);

к нему в 1879 г. издана «Хрестоматия»); «Русский синтаксис» (1871); «Русская классная хрестоматия для низших классов», с «Руководством для преподавателей» (1876), 3-е изд. хрестоматии 1893 г.; 2 изд. «Руководства» (1889); школьные издания сочинений Фонвизина, Грибоедова, Пушкина. Исследования и статьи по истории литературы: о Пушкине («Истор. Вестн». 1880 и след.), Шишкове (отд. 1880), Кантемире (при собрании его сочинений, изд. Глазунова и в «Вестн. Европы», 1867 и 1880 г.), Княжнине («Библ. для Чтения», 1850 и «Истор. Вестн.» 1881), Сумарокове («Музык. и Театр. Вестн.», 1856 и отд.), Кольцове («Сын. Отеч.», 1852) и др. Кроме того С. поместил ряд литературных и театральных рецензий и статей разнообразного содержания особенно в журналах и газетах: «Музык. и Театр. Вестник» (1856—57), «Русский Мир» (1859—60 г., когда С. был его редактором), «Порядок» (1881—82), «Вестн. Европы» (1880—84).

Мохначев, Ал-др Дмитр. 1871—86.

Кандидат Спб. университета. Был окружным инспектором в Пбуржск. уч. округе. Труды: «О Ломоносове» (Памятная кн. Арх. Стат. Ком. 1865 г.).

Шалыгин, Ал-др. 1881—85.

Трушлевич, Ал-др Ив. 1884—912.

Окончил Петер. духовную академию. Был преподавателем рус. яз. в реальном училище Гельда. Умер в 1914 г.

Невзоров, Ник. Кесарев. 1890—97.

Верещагин, Юрий Ник. 1890—97.

Соболевский, Вас. Иероним. 1892—97.

Окончил Спб. унив. филолог. факульт. Позднее был преподавателем и помощником инспектора в уч. Правоведения. Умер в 1920 г.

Черников, Мих. Васил. 1898—902.

Окончил Спб. унив. по истор.-филолог. фак. в 1881 г.; был преподавателем словесности в Кутаисе, в Тифлисе, затем в 3-й гимн., в женск. гимн. Стоюниной; в 1902—912 г. был директором коммерческого

училища в Рыбинске; по выходе в отставку и переезде в Петербург преподавал в Николаевском институте и в Павловском училище. Труды: Светлые моменты в современной поэзии скорби (по поводу стих. К. Р.); А. Н. Майков. Литер. очерк; Памяти П. И. Чайковского; Славянофильское направление и главные его основы; Тургенев, как мыслитель и художник; Психология в музыке; К методике преподавания русской словесности в старших классах средн. уч. заведений (оттиск из циркуляра по Кавк. уч. окр.); Эволюция духа зла в миров. литературе; неск. критич. статей в «Педаг. Сборнике».

Кузнецов, Вас. Ник. 1897—906.
Окончил Спб. универ. и Археологич. институт. Работал в Энциклоп. словаре Брокгауза и Эфрона по истории западн. славян.

Якубов, Ал-др Евграфович 1897—99.
Верещагин, Петр Ал-др. 1897.
Орлов, Влад. Ив. 1897—99.
Дюков, Ник. Мих. 1902—06.

Николаев, Ал-др Серг. 1902—19.
Окончил Петерб. университет; начальник архива мин. нар. просвещения и лектор по архивоведению в разных учебных заведениях. Труды: «Описание дел Архива М. Н. Просв. Т. I» (1917) статьи в журнале «Дела и Дни» и др.

Волков, Ник. Влад. 1903—904.
Окончил Спб. универс. С 1906 г. — директор 1-го реального училища в Петербурге, затем директор Новгород. гимназии.

Половинкин, Иринарх Ник. 1905—07.
Соколов, Ник. Алексеевич с 1911.

Добychин, Ник. Ник. 1911—12.
Окончил Спб. историко-филологич. институт в 1911 г. Перемещен в Ларинскую гимназию, где теперь состоит заведывающим.

Никифоров, Петр. Вас. 1912—14.
Окончил Спб. унив. В 1914 году призван в действующую армию.

Суренский, Вас. Вас. 1912—19.
Окончил истор.-фил. инст.; одновременно преподавал в Госуд. Капелле, консерватории; теперь в Москве в хоровой академии препод. хоровое и выразит. чтение и в Госуд. институте слова. Труды: Ясность речи (дикция); Практическое руководство. 1922; Правильность речи. 1923 г.

Гальковская, Ольга Мих. с 1914 г.
Окончила Спб. университет и курсы при уч. округе.

Савич, Мих. Людвигович 1918—20.
Оконч. Спб. универ. В 1920 г. выб. в Киев.

Солнцев, Всеv. Фед. 1918—19.
Товстик, Евг. Конст. 1919—21.
Ижевский, Ник. Павл. 1919—23.

Штоль, Евг. Юльевич. с 1920.
Окончил Петерб. унив. по юрид. фак. и Педагог. академию. Преподает в Фототехническом институте. Труды: Квартира и закон; Акционерн. компании; Пути сообщения; Академич. красноречие; Зоологич. сад; Квинтилиан.

Кондратьева, Евгения Георг. 1920—21.
Цапко, Ал-дра Пантелеймоновна. с 1920.
Окончила учит. семинарию. Была заведывающей 34-й школой, слитой в 1920 г. с 6. 3-й гимназией. После слияния школ вошла в состав Президиума школы.

Исполатова, Наталья Серг. 1920—21.
Орлова, Вера Валерияновна. с 1920.
Оконч. Спб. педагогические курсы. С 1906 г. работала в начальной школе. Преподает в 1-й ступ. рус. яз., арифм., природ. географию.

Викулина, Ольга Никол. с 1920.
Буслаев, Борис Ив. 1921—22.
Севастьянова, Вера Мих. 1921—22.

Плаксин, Борис Ник. с 1921.
Окончил Училище Правоведения. Поступил на службу в 1901 г. Преподает историю и историю литературы в 9-ой Сов. труд. школе.

Латинского и греческого языков:

- Шнейдер, Вас. Вас. 1823—38.
 Семеновский, Дм. Мих. 1823—26.
 Башинский, Ал-др Николаев. 1823.
 Крылов, Александр. 1823—25.
 Соколов, Иван Яковлевич. 1825—29.
 Дейтрих, Фридр. Вильг. 1826—31.
 Гижиш, Франц. 1827—29.
 Ильенков, Яков Сафон. 1829—38.
 Печерин. 1832—33.
 Кебке, пастор. 1833.
 Шлиттер, Эдуард Егорович. 1833—48.
 Мориц, Рудольф Львович. 1833—49.
 Кедров, Конст. Вас. 1852—68.
 Андрасси, Сигизмунд Степ. 1834—42.
 Вальтер, Фед. Яков. 1838—40.
 Труды: Критическое сочинение о Квинтилиане. 1839.
 Шад, Герман. 1838—42.
 Модестов, Вас. Ал-вич. 1842—45.
 Труды: «Всеобщая история». Древн., средняя и новая» (1850 и след. изд.); «История падения иезуитов в XVIII в.» (1855) и др.
 Лемониус, Вильг. Христ. 1848—83.
 Лебединский, Ив. Ив. 1852—64.
 Труды: латино-русский словарь к сочинениям Корнелия Непота (СПб. 1868 и сл.); латино-русский словарь географических и исторических имен (1873); издание Салюстия. СПб. 1867 г.; издание Корнелия Непота. СПб. 1872 г.
 Смирнов, Кап. Ив. 1853.
 Грефе, Герман Фед. 1859—67.
 Струве, Фед. Арист. 1861—65.
 Сакович, Ромуальд. Конст. 1864—71.
 Вейсман, Ал-др Давид. 1863—64.
 Ионин, Ал-др Иосиф. 1865—68.
 Окончил Петербургск. универ. по историко-филолог. факультету. С 1867 г. экстраординарный профессор историко-филолог. института. Умер в 1899 г.

Гельбке, Федор Федорович. 1867.

Доктор берлинского университета; был окружным инспектором петерб. уч. округа. Труды: *Quaestiones Valerianae*, диссертация на степень доктора Берлинского университета; составил «Календарь для учителей» (выходил ежегодно в течение 32 лет).

Гофман, Август Адольф. 1868.

Кандидат Кильского и Геттингенского и доктор Иенского университетов. Был директором VII гимназии. Главнейшие труды: Критич. разбор учебн. по истории древней греческой литературы, появившихся в новое время (Фил. записки. Вып. V. 1864 г.); немецкая грамматика, изложенная сравнительно с русской (1884); первая и вторая речь Цицерона против Катилины (1894) и др.

Орловский, Петр Мих. 1868—69.

Аничков, Ник. Милиевич 1869—73.

Окончил филологический фак. СПб. университета. Впоследствии был товарищем министра народн. просвещения. Труды: В Жур. Мин. Нар. Просв. за 1874 г. несколько рецензий филологич. характера; Историческая Записка пятидесятилетия третьей СПб. гимназии.

Пальмцвейг, Людвиг Людвиг. 1871—79.

Цветаев, Иван Влад. 1871—72.

Был на службе в Варшавском университете. Труды: Критические заметки на сочинение проф. Деллена. (Ж. М. Н. Пр. 1870); Заметки на русский перевод соч. Тацита, сделанный А. Клевановым (Ж. М. Н. Пр. 1871); Опыт критического обозрения Тацитовой Германии.

Крутков, Ал-др Федор. 1872—86.

Кесслер, Эрнест Эрнестов. 1873—96.

Окончил Дерптский университет. Труды: «Синтаксис латинского языка» (1874 и сл.); «Краткая грамматика латинского языка», составил вместе с Сидоровым (1886) и др.

Кеммерлинг, Ал-др Андр. 1876—1905.
Окончил Спб. историч.-филол. институт;
затем—цензор в Вильне.

Райман, Франц Францев. 1879—907.

Образцов, Ал-др Гавр. 1881—98.

Сидоров, Петр. Аполлон. 1882—90.

Окончил истор.-филол. фак. Петерб. ун.
Оставив службу в быв. 3-й гимн., был
директором Житом. гимн. до 1899 г., затем
директором гимн. пр. Ольденбургского; в
1901 г. основал прогимназию мужск. и жен.
в Гаграх, а в 1904 г.—мужск. гимн. в
г. Луге; с 1904—1917 г. был вице-директо-
ром общества «Маяк»; в 1918 г. был заве-
дующим Шувалово-Озерковской школы и
преподавателем Царскос. женск. гимн.; с
1818—1920 г. лектором латинск. языка в
военно-медиц. акад. и в женск. медицин.
институте. Был тов. председ. о-ва Грамот-
ности и постоянной комиссии по устрой-
ству народ. чтений. Составил «Краткую
латинскую грамматику» (вместе с Кессле-
ром).

Солнцев, Всеволод Фед. с 1890.

Окончил Петерб. унив. по истор.-фил.
фак.; служил в импер. публ. библиотеке; с
1890 г. преподавателем в 3-й гимн. древ-
них языков, рус. яз., логики и географии;
одновременно был редактором в центр.
стат. комитете; теперь состоит помощни-
ком начальника службы по подготовке
жел.-дор. агентов (дорпрофобр) Никол. ж. д.
Труды: «Всякая Всячина и Спектатор»
(Ж. М. Н. Пр.); «Смесь» — сатир. журнал.
XVIII в. («Библиограф»); Сочинения имп.
Екатерины II—редакция и примечания; «Го-
рода России в 1904 году»; «Города России
в 1910 году»; ряд статей по истор. рус.
литер. в Энцикл. Словаре Брокгауза и
Эфрона и в «Ежегоднике имп. театров»,
в «Ежегоднике России» и в «Статист. Еже-
годнике» (1905—1914 гг.).

Готлиб, Артур Генрих. 1896—903.

Окончил курс Новороссийского универ.,
был преподав. Одесской гимн.; в 1903 г.

назначен директором Ялтинской гимназии,
затем директор гимназии в Пскове. Уча-
ствовал в энциклопедическ. словаре Брок-
гауза и Эфрона, в отд. языкознания.

Видеман, Фридрих Эрн. 1900—902.

Окончил Петерб. истор.-филол. институт.
Магистр греч. литературы; был преподават.
греч. языка в истор.-филол. институте.

Некрасов, Яков Моисеевич. 1902.

Окончил ист.-филол. инст.; был препода-
вателем в 12-й гимн. до 1919 г.; теперь
преподават. в Москве.

Гинкен, Георгий Георг. 1902—903.

Клембровский, Вл-мир Марк. 1903—18.

Цыбульский, Степан Осип. 1903—16.

Окончил Варшавский универ. Преподав.
латин. и греч. яз. в Царскосельск. г.; затем
директор гимн. при р.-к. церкви св. Екате-
рины в Петербурге. Труды: «Древний город
Афины и его гавань» (1890); «Французский
археологический институт в Афинах» (1891);
издавал (с участием других ученых) «Та-
блицы для наглядного преподавания гре-
ческих и римских древностей», с объясни-
тельным текстом (переведены на немецкий,
французский и итальянский языки); изда-
вал журнал «Гермес».

Кишкин, Борис Ал-дрович. 1904.

Иванов, Ал-др. Георг.

Лео, Бруно Густавович. 1905.

Уволен за участие в политической заба-
стовке.

Лавров, Серг. Вас. 1905.

Оконч. 3-ю гимн. и Спб. универс. Был
потом директором гимназии Человеколюб.
Общества.

Половинкин, Иринарх Ник. 1905—10.

Окончил петерб. универ.; был приват-до-
центом петерб. университета по кафедре
сербского языка и сербской поэзии. Уча-
ствовал в энциклоп. словаре Брокгауза и
Эфрона в отд. слав. филологии.

Чарыхов, Галуст Карпович. 1907—18.

Окончил Лазаревский институт, Московский университет по историко-филологическому факультету; занимал в Нахичевани должность ректора армянской духовной семинарии и инспектора Мариинской гимназии; затем в Петербурге был главным цензором изданий на армянском языке. Писал публицистические статьи в «Нов. Врем.», «Московск. Ведомостях», «России».

Адамов, Василий Федорович в 1907.

Аралов, Игнатий Онис. 1907—911.

Романцев, Иван Степ. 1907—908.

Тюлелиев, Конст. Ал-дров. 1908—912.

Окончил историко-филологический институт. В 1912 г. переведен в 6-ю гимназию, где теперь состоит помощн. заведующего. Труды: Веймар «История педагогики», перев. с немецкого (изд. т-ва Вольф, 1912. 2-е изд.); «Римские древности». Пособие для гимназии и самообразования (в сотрудничестве с Г. Г. Зоргенфрей, два изд.); «Vestibulum linguae latinae». Начальный учебник латинск. языка. Грамматика и хрестоматия и др.

Товстик, Евг. Конст. 1911—18.

Протасов, Влад. Иван. 1912—13.

Малев, Игорь Прокоф. 1913—14.

Фармаковский, Мстисл. Влад. 1913—14.

Ижевский, Ник. Павл. 1914—23.

Окончил 3-ю гимн. и Пб. унив. Научный сотрудник института им. Веселовского в Пгр. ун. Преподавал в школе, кроме древн. языков, русский язык, историю и драматизацию. Сконч. 8-го янв. 1923 г. (утонул в р. Оредеж).

Савицкий, Адольф Осип. 1914—15.

Хольбрет, Сергей Ал-др. 1915—16.

Аннинский, Сергей Ал-др. 1916—20.

Окончил Петер. историко-филолог. институт. В настоящее время служит в Глав. архиве.

Математики и физики:

Буссе, Федор Ив. 1823—44.

Лавониус, Вас. Ив. 1823—52.

Буссе, Франц Ив. 1837—60.

Соколов, Степ. Вас. 1844—63.

Пещуров, Дм. Алекс. 1853—56.

Миквиц, Гергард Дидр. 1853—69.

Окончил спб. университет; был проф. лицея. Труды: Начальные основания прямолинейной тригонометрии, низшей геодезии и приложения алгебры к геометрии. Спб., 1860.

Буссе, Вильг. Франц. 1860—61.

Кедров, Евг. Вас. 1861—70.

Беляев, Викт. Ник. 1859—62.

Довнар (Довнар-Запольский),
Норберт Викентьевич. 1863.

Кандидат Московского унив. Труды: Исследование флоры Московской губ. (в Bulletin de la société Imperiale des naturalistes de Moscou. 1861, № 1, 1862, № 2); в Ж. М. Н. Пр.—ряд статей по вопросам образования и статистики.

Потапов, Ник. Гавр. 1859—62.

Гричин, Евграф Яковл. 1864—67.

Фрейтаг, Карл Фед. 1862—64.

Правошинский, Алекс. 1867—68.

Федотов, Антон Ант. 1871—72.

Соколов, Павел Кирил. 1870—72.

Семенников, Петр Петр. 1872.

Вараксин, Ив. Зах. 1881.

Струве, Василий Бернгардов. 1881—82.

Латышев, Василий Алексеевич. 1881—92.

Окончил петерб. унив. по физико-матем. фак.; был затем директором народных училищ петерб. губ. и помощником попечителя петерб. учебн. округа. Издавал и редактировал журнал «Русский начальный учитель».

Суслов, Гавр. Конст. 1882—88.

Проф. Киевск. университета.

Павловский, Ал-др Фил. 1885—900.

Фролов, Вас. Мих. 1885—96.

Борисов, Аркадий Вас. 1888—95.

Желватых, Вячеслав Вас. 1888—904.

Семенов, Конст. Мих. 1892—21.

Окончил петерб. унив. Был преподавателем

лем математики и воспитателем в пет. учительском институте, в гимназии Мая, а с 1892 г.—в 3-й гимназии.

Ушаков, Конст. Яковл. 1898—916.
Крылов, Владимир. 1899—900.

Лопухин, Евг. Бор. 1901—910.
Окончил петерб. унив. в 1900 г. Теперь профессор физики в Петерб. университете.

Гордеев, Иван Михеевич. с 1903.
Окончил земск. учит. школу; 6 лет был учителем в Новоладожском уезде, 3 года—в образцовой школе при зем. учит. школе.

Грачев, Вас. Вас. 1904—07.
Окончил петерб. унив. по физ.-мат. фак.; был инспектором в Гатчинском сирот. институте и в Ларинской гимназии в Петербурге.

Ковригин, Ник. Ник. с 1906.
Окончил петерб. унив. по физ.-мат. фак., преподает в военно-броневой школе, в раб-факе Технол. института, в гимназии Стоюниной и на общеобразов. курсах при доме просвещения Никол. жел. дор.

Боровик, Станислав Ант. 1910—22.
Профессор Лесного Института и др. высш. уч. зав.

Товстик, Евг. Конст. с 1918.
Евстифеев, Иван Алекс. 1911—14.
Червинский, Сергей Петр. 1912—13.

Плакс, Вольд. Вильг. с 1913.
Окончил петерб. унив. по физико-мат. фак.; преподает математ. в раб-факе Технологич. института; состоит сотрудником астрономического кабинета Всероссийск. педагог. музея; преподает в военно-броневой и автомобильной школе. Труды: Словарь технических слов и номенклатуры по физике (на эстон. яз.). Ревель, 1918.

Иванов, Валериан Петр. 1916—18.
Копрова, Елиз. Конст. 1918—20.
Паршин, Евг. Ив. 1919—21.

Цыбущенко, Ольга Ив. с 1919.

Окончила Петербургский Женский Педагогический Институт. В 1910—17 была преподавательницей в Петрозаводской женской гимназии, в 1917—19 в Шувалово-Озерковской гимназии.

Григорьева, Анастасия Дм. с 1920

Окончила петерб. земскую учительск. школу и курсы Лесгафта. С 1897—1900 г. преподавала арифметику в школе для подростков Технич. общества и в частной школе; с 1900—902—в школе для рабочих при Обуховском заводе; с 1902—920 г. во 2-м литейном город. начальн. училище, потом—34-й трудовой школе.

Орлова, Вера Валериановна. с 1920.
Шеффер, Викт. Никол. 1921—22.

Кельзи, Евгений Никол. с 1922.
Окончил петрогр. унив. по физико-матем. фак.; преподает также в 11-й трудовой школе.

Александров, Евг. Влад. с 1922.
Оконч. 3-ю гимн. и Пгр. универс. Был преподав. в г. Вытегре с 1913 г.

Истории, обществоведения:

Тимаев, Матвей Максим. 1823—27.
Рашков, Николай Иванов. 1827—28.

Устрялов, Ник. Герасим. 1829—32.
Доктор истории; академик. Труды: «Сказания современников о Дмитрие Самозванце»; «Сказания Князя Курбского» (написаны в бытность его преподавателем 3-й гимназии); «Русская история» (5 томов). «Истор. обзор. царств. Николая I», История царствования Петра I и др.

Кузьмин, Васил. Петров. 1832—33.
Пернер, Христоф. Иванов. 1832—37.
Турчанинов, Ник. Петр. 1833—43.
Никитский, Пав. Петров. 1837—42.
Тибо, Федор Францев. 1837—47.
Планкель, Иван Осипов. 1842—43.
Лапшин, Григорий Иванов. 1840—64.

Модестов, Вас. Алексеев. 1842—45.
Власов, Аникита Семенов. 1842—44.
Альтонский, Влад. Алекс. 1844—49.
Зуев, Никита Иванович. 1848—53.
Висковатов, Сем. Степан. 1849—52.
Симанский. в 1852.

Красов, Иван Иванович. 1851—61.
Магистр русской истории. Труды: а) О местоположении древнего Новгорода. Магистерская диссертация. Спб. 1851 г.; б) Историко-литературные вопросы (1864 г.).

Беллярминов, Иван Иванов. 1861—65.
Окончил курс в Спб. университете по историко-филолог. факультету, был членом ученого комитета М. Н. Пр. Автор учебников по русской и всеобщей истории.

Рождественский, Серг. Егор. 1862—63.
Покровский, Мих. Арсеньев. 1863—68.

Добряков, Ал-др Васильев. 1865—69.
Был правителем дел учебного комитета при св. Синоде. Труды: Русская женщина в до-Монгольский период. Спб. 1863 г.; Учебно-исторический сборник по Русской истории т. I, отд. I, 1865 г.; Учебный атлас по русской истории, Спб. 1868; Исторические таблицы, Спб. 1865 г.; Русские исторические памятники, Спб. 1880, и др.

Дубинский, Андрей Егор. 1869—74.
Кузнецов, Михаил Ал-др. 1874—88.

Гуревич, Яков Григ. 1875—83.
Окончил петерб. унив.; приват-доцент пет. ун. по кафедре всеобщ. истории; с 1883 г. директор собственной гимназии и реальн. училища; с 1890 г. издатель журнала «Русская Школа». Труды: Происхождение войны за испанское наследство, и коммерческ. интересы Англии; Учебник истории Греции и Рима; Исторические хрестоматии по всеобщей и русской истории. В «Русск. Шк.»—ряд статей по вопросам образования и воспитания.

Геннинг, Виктор Андреевич 1881—92.
Окончил Петр. универс. С 1899 г. был Инспектором Анненского Училища.

Соловьев, Евгений Андреев. в 1899 г.
Образование получил в 3-й гимназии и в Петербургском университете по историко-филологическому факультету. Известный историк литературы, критик и публицист. Псевдонимы: Скриба, Андреевич. Главн. труды: Опыт философии русской литературы; Очерки из истории русской литературы XIX в.; Белинский в его письмах и сочинениях; Рабочие люди и новые идеи; 14 биографических очерков жизни великих писателей и историч. деятелей в библиотеке Павленкова.

Арепьев, Ник. Фед. 1887—97.
Крылов, Владимир. 1899—900.
Летов, Петр Петр. 1900—916.
Кучеренко, Павел Иванов. 1912—17.
Скордели, Конст. Иванов. 1914—18.
Снигирев, Виктор Владим. 1916—19.
Александров, Борис Владим. в 1916.
Гончаров, Степан Валент. в 1917.

Страхович, Василий Иосиф. с 1917 г.
Окончил 3-ю пет. гимн. и 1894 г. петерб. унив. историко-филолог. фак. Был преподавателем истории во 2-м Василеостр. училище И. Р. Т. О. и во 2-й гимназии; состоит библиотекарем в Институте Народн. Хозяйства.

Курочкина, Мария Азарьевна. 1917—19.
Беляев, Виктор Адрианович 1919—22.
Профессор Пгр. Универс.

Никифоровский, Глеб Митроф. с 1920 г.
Окончил историко-филол. фак. петерб. универс. Был с 1912 г. преподавателем в гимн. Стеблин-Каменской, с 1915 г. в 6. 12-й гимн.

Парышева, Екатер. Дмитр. с 1920 г.
Окончила гимн. Стоюниной и историко-филолог. фак. Петерб. высш. женск. курсов. С 1918 г. преподавала историю в бывшем 13-м 4-х-кл. мужск. училище в Петрограде.

Севастьянова, Вера Мих. с 1921 г.

Политграмоты:

Меерович, Семен Иван. с 1922.
Окончил реальное училище в Москве и

Государствен. Московск. унив. Педагогич. работу начал в 1908 г. на общеобразоват. курсах. Теперь преподает политграмсту еще во 2-й трудов. школе и в учреждениях губполитпросвета.

Пальцев, Гай Тарасович с 1922 г.
Студент университета имени тов. Зиновьева.

Географии:

Ободовский, Ал-др Григ. 1823—27.

Инспектор классов в Николаевском сиротском институте и проф. в главном педагогич. институте (сперва статистики, потом педагогики). Труды: «Учебная книга всеобщей географии» (13 изд.); «Руководство к педагогике» (Спб., 1835); «Руководство к дидактике». Спб., 1837, то и другое составлено по Нименеру; «Теория статистики» (Спб., 1839); «Начальные основания космографии» (Спб., 2 изд., 1841); «Руководство к математической географии» (Спб., 1836); «Обозрение земного шара и глобуса» (Спб., 6 изд. 1870); «Учебный атлас Российской империи». Вместе с Гугелем и Гурьевым приступил к изданию у нас первого «Педагогического журнала» (1830—1831).

Грацылевский, Иван. 1827—28.
Рашков, Никифор Ив. 1828—30.

Бардовский Вас. Степ. 1830—31.
Был директором 1-й гимназии. Труды: Всеобщая география для начального обучения, География России.

Михайлов, Влад. Мих. 1831—32.
Пернер, Христ. Ив. 1832—37.
Никитский, Пав. Петр. 1837—42.
Тибо, Фед. Франц. 1837—47.
Планкель, Ив. Осип. 1842—55.
Смирнов, Кап. Ив. 1854—58.
Лядов, Вас. Ив. 1855—57.
Вегнер, Егор Фед. 1857—61.
Кобылин, Матвей Сем. 1858—59.
Розин, Евграф Ник. 1859—60.
Якимов, Петр Вас. 1861—65.

Лебедев, Евлампий Алекс. 1861—72.
Труды: Атлас Спб. учебного округа

1862 г.; Историко-статистическое описание народных училищ Вологодской дирекции; Карта учебных заведений М. Н. Просвещ.; Учебник географии России. Спб., 1870 г. (более 20-ти изд.).

Ненсберг. 1861.

Иордан, Авг. Карл. 1865.
Труды: Различные карты и атласы по географии и истории.

Цей, Ник. Фед. 1865—72.
Федотов, Ант. Ант. 1872.
Кузнецов, Мих. Ал-др. 1874—88.
Ваденюк, Пав. Ероф. 1881—85.
Павловский, Ал-др Филит. 1885—96.

Арепьев, Николай Фед. с 1881.
Среднее образование получил в Вилен. реальной гимн.; прослушал курс (неполн.) юрид. наук в петерб. унив., позднее в петерб. археолог. инст. Педаг. работу начал в 1878 г. воспитателем и учителем в петерб. земледел. колонии для малолетних преступников, в сентябре 1881 г. занял место воспитателя в 3-й гимн. и исполнял эти обязанности до 1918 г. В 1884 г., по выдержании специальн. испытания, получил в 3-й гимн. уроки истории и географии; историю преподавал до 1897 г.; был преподавателем географии в р. уч. Гельда, в гимназии при церкви св. Екатерины, в Анненской школе и в гимн. Гуревича; теперь—на коммунальн. курсах в доме просвещения имени Герцена. С разрешения археолог. комиссии два лета занимался раскопками в бывшей Водской пятине, а по поручению Русского музея и Академии наук—этнограф. исследованиями и собиранием коллекций на о-ве Вормсе и в Приуральи, среди инородцев. Принимал участие во многих с'ездах естественно-историч., археологич., географич. и педагогич. Полгода прожил в Англии, где знакомился с делом нар. образования, о чем написан ряд статей. С 1878 года работал в разных период. изданиях, Главн. отдельн. издания: Атласы географич. контуров [5 вып.], Карта Дальн. Востока [на 4 лист.], Путеводитель

по окрестностям Петербурга [6 вып.], География России [2 части], Женское медицинское образование в России и Женск. медиц. институт; Организация общеобразоват. экскурсий в средн. школе; География в средне й школе и школьные экскурсии О-в Вормс и его шведское население.

Солнцев, Всевол. Фед. с 1890.
Орлова, Вера Валерьяновна. с 1922.

Статистики:

Кузьмин, Вас. Петр. 1832—33.
Турчанинов, Ник. Петр. 1833—36.
Пернер, Христоф. Ив. 1836—38.
Тибо, Фед. Франц. 1838—46.

Естествознания:

Ободовский, Ал-др Григ. 1823—27.
Постельс, Мориц Филип. 1828—31.
Гриневиц, Трофим Ром. 1901—10.

Маренин, Юрий Мих. 1909—13 и с 1919.

Окончил спб. университет по ест.-отд. ф.-мат. факультета. В 3-й гимназии начал работать с 1909 г. В 1913 году назначен преподавателем в Кронштадтское реальное училище, откуда через год был переведен обратно в Петербург в частное реальное училище Ягдфельда и. о. инспектора и преподавателем, а затем в реальное училище в г. Колпине. В 1919 году вторично поступил в 3-ю гимназию. В настоящее время, кроме того, состоит лектором на Рабочем факультете петрогр. унив. и в Инструкторском институте имени Толмачева. Печатные труды: «Моя лаборатория» — прибор для опытов по первоначальному курсу неживой природы. Изд. Ритина. 1912.

Семенов-Тянь-Шанский, Михаил Дмитриевич. 1913—14.

Нестеров, Петр Влад. 1914—19.

Окончил петерб. унив., ассистент унив. по кафедре зоологии и хранитель зоологич. кабинета.

Трусов, Анатолий Григ. 1917—18.
Рыжова, Нина Петр. 1918—19.
Скитская, Тамара Лавровна 1917—21.

Дудышкина, Анна Вас. с 1920.

Окончила 2-ю московск. жен. гимн., затем педагогические курсы в Петербурге, трехгодичные курсы руководительниц физич. образования проф. Лесгафта; преподавала в Костр. зем. учит. школе, в народ. школе Бердянского уезда Тавр. губ.; затем в городском нач. учил. в Петербурге. Труды: Букварь «Я могу читать», по америк. методу; 3 «Книги для чтения» (вместе с другими учащими, под ред. В. Воскресенского); образовательные экскурсии в окрестностях Петербурга (вместе с другими учащими).

Орлова, Вера Валер. с 1920.
Главач, Людмила Андр. 1920—21.
Кузнецова, Ольга Иван. 1921—22.

Психологии:

Цыбульский, Степ. Иосиф. 1903—16.
Сатонин, Конст. Иван. 1917—18.
Эльманович, Ольга Спиридон. 1918—19.

Доброгаев, Сергей Мартин. с 1921.

Окончил Киев. унив. по медиц. факульту. Ординатор клиники душевных болезней военно-медиц. акад.; сотрудник научно-исследовательского инстит. при петерб. унив., где заведует амбулаторией для лечения страдающих болезнями речи. Труды: «Картавость, ее происхождение и лечение», монография. Петерб. 1922 г.; ряд статей по специальности в журналах: «Голос и Речь», «Библиотека театра и искусства», «Вестник Школы», «Вестник Красн. Креста», «Научная Медицина», «Психиатрия, невролог. и экспер. психология».

Анатомии и гигиены:

Хрусталева, Анатолий Никол. в 1914.

Д-р медицины.

Доброгаев, Сергей Мартинианович 1918—20.

Тимофеев, Ник. Афан., с 1920.
Окончил 3-ю гимназию и Военно-Медицинскую Академию; ординатор Мариинской больницы; доктор медицины.

Бертольд, Рейнгольд. 1902—04.
Штуде, Бруно Констант. 1905—11.
Клейн, Георгий Георг. 1906—12.
Эккерт, Юлий Эдуард. 1909—10.

Истории искусств, истории театра, драматизации.

Товстик, Евгений Констант. с 1911.
Новар, Ольга Арнольдовна 1920—21.
Ижевский, Николай Павлов. 1921—23.
Туберовский, Мих. Дм. 1921—22.

Немецкого языка:

Свенске, Карл Фед. 1823—49.
Был лектором немецкого языка в Спб. университете, переводчиком и архивариусом конференции Академии Наук. Вместе с Ф. И. Буссе основал школы в Петербурге по методу взаимного обучения. Труды: Русская грамматика для англичан, составленная вместе с Гердом. 1839 г. Обзорение главнейших путешествий и открытий с 1838 по 1853 гг. (Вестник географического общества 1851, 52 и 54 годов); Руководство по учреждению школ по методу взаимного обучения, состав. вместе с Ф. И. Буссе, 1829 г.; Новая Земля в географическом, естественно-историческом и промышленном отношениях. Спб. 1864 г. и др. В продолжении 12 лет издавал календарь Акад. Наук.

Маркуар, Эдуард Ив. 1823—24.
Гелинг, Карл Ив. 1823—43.
Крумбишлер, Фед. Фед. 1824—31.
Шнейдер, Алексей Вас. 1832—57.
Буш, Эдуард. Павл. 1837—85.
Мундель, Фед. Егор. 1840—65.
Диллингер, Фридр. Фед. 1843—52.
Трейман, Яков Мартын. в 1852.
Тринклер, Ал-др Яковл. 1852—65.
Кейзер, Генрих Никол. 1857—69.
Крейцер, Вас. Вас. 1865—
Томберг, Эдуард Ив. 1875—918.
Видеман, Фед. 1886—92.
Ган, Конрад Эдуардович 1887—918.
Мазинг, Фердинанд Фердин. 1888—902.
Зверев, Вас. Флорович в 1900.

Юон, Оскар Антонович с 1911.
Высшее образование получил в Спб. ун-в. по историко-филол. фак. В 1910—12 г. был воспитателем в Перв. реальн. учил.; затем преподавателем в учил. св. Петра и в женск. гимн. Платан; лектором на педагог. курсах Бобрисшевой-Пушкиной. С 1919 г. состоит преподавателем нем. яз. и зап.-европ. литературы в капелле и с 1920 г. научным сотрудником при педагог. институте имени Герцена. Труды: Исследование о нем. поэте Германе Линг (Записки Неофилолог. Общества—вып. VIII—1914 г., юбилейный сборник статей в честь проф. Брауна).

Блумберг, Людвиг Генрих. 1912—20.
Геннинг, Герта Виктор. 1920—22.
Большева, Кира Ал-дров. в 1921.
Геннинг, Ксения Виктор. 1921—22.
Севастьянова, Вера Мих. с 1921.
Оконч. Педагогич. институт. Преподав. нем. яз. и ист. во 2-м женск. 4-х кл. гор. уч.

Французского языка:

Дюфур, Семен Франц. 1823—26.
Флери, Виктор Иван. 1826—38.
Пон-де-Корвайль, Карл 1823—24.
Дешуданс, Ив. Генрихов. 1829—50.
Дюран, Франц 1832—35.
Петер, Евгений 1835—36.
Геблер, Михаил Иван. 1836—37.
Жакмон, Петр Петр. 1837—45.
Деге, Адриан Иванов. 1837—41.
Помье, Эдмон Ник. 1838—48.
Риге, Яков Андреевич 1840—47.
Дюкерле, Исидор Иосифов. 1841—42.
Ларош, Август Леонтьев. 1842—61.
Кенель, Ал-др Карл. 1845—49.
Пор, Целестин 1847—58.
Бужо, Альфред 1848—49.
Молла (Mollat) 1849—51.
Миналь, Густав Иван. 1851—55.
Тюрпен, Эмилий Петр. 1855—57.

Вильд, Георгий Георг. 1857—
 Декур, Иван Петров. 1858—60.
 Позоровский, Ал-др Иван. 1860—62.
 Клебер, Альфред Фридр. 1860—63.
 Степановский, Дм. Федор. 1862—66.

Поповицкий, Ал-др Иван. 1866.

Образование получил в спб. духовн. академии. Издатель газ. «Современный Листок» и «Русский Паломник».

Гютине, Август Петр. 1886—908.
 Фальконье, Адриан Марк. 1888—99.
 Деманж, Теофил Ипполит. 1899—902.
 Вист, Альфред Альберт. 1901—20.

Мижухев, Павел Григ. 1902—905.

Состоял библиотекарем Технол. инстит., имел уроки в 12-й и 6-й гимназиях. Труды: «Вильям Гладстон» (брош. 1893); «Женское образование и общественная деятельность женщин в Соед. Штатах Сев. Америки» (1893); «Ричард Кобден» (брош. 1894); «Французская хрестоматия для средних учебн. заведений» (1894 и след.); «Ян Амос Коменский» (1896); «Очерк развития и современного состояния народн. образования в Англии» (1894); «Взгляды и деятельность национальной ассоциации для распространения технического образования и реформы среднего образования в Англии» (1897) и др.

Фризон, Альберт 1903—905.
 Гютине, Генрих Август. 1904—911.
 Таккелля, Павел 1905—906.
 Круазье, Генрих Людвигов. 1905—907.
 Лефрансуа, Юлий Густав. 1907—908.
 Полисадов, Алексей Вас. 1908—918.
 Буржо, Иосиф-Бартоломей 1909—912.
 Пикильо, Эдуард 1911.
 Монастье, Луи Людвигович 1911—919.
 Ноэль, Теофил Селестин., 1914—15.
 Иванова, Антонина Петр. 1915—16.
 Новар, Ольга Арнольдовна 1919—21.
 Маиевская, Алиса Павл. 1920—21.
 Букстевден, Берта Яковл. 1920—21.
 Беляева, Вера Афанасьевна 1920—22.

Лакерда, Ал-дра Ал-дровна с 1920.
 Окончила киевские высшие женские курсы

по историко-филолог. отделению и курсы франц. языка при Николаевском институте. Начала работу в Кушниковском институте и женской гимназии в Керчи; затем в Москве— в Екате. инстит., женск. гимн. и во франц. школе; в Спб. заведывала техническ. курсами при Ксении. институте. Труды: перевела с франц. брошюру д-ра Combe'a La nervosité de l'enfant и несколько научных статей по ботанике и бактериологии.

Шредер, Вера Никол. 1921—22.

Семенова, Лидия Ал-дрова с 1922.

Окончила педагог. женск. курсы; слушала в Гренобльском универ. курс франц. литературы. Начала практич. деятельность в 1903 г. в Василеостр. женск. гимн., в Петровской женск. гимн. и в гимн. и реальн. училище Штемберга; последние годы была заведующей девятилетней советск. школой в г. Анапе, Кубан. обл.; теперь состоит также воспитательницей и преподават. в детской худож. студии им. Лилиной.

Рисования и черчения:

Редер, Христофор Федоров. 1823—28.
 Иверин, Иван Иванов. 1828—38.
 Штольценбург, Иван Иван. 1829—31.
 Ясевич, Казимир Антонов. 1837—38.
 Зеленский, Арнольд Абрам. 1838—41.
 Стоппе, Иван Андреевич. 1841—45.
 Александров, Фома Ал-др. 1838—43.
 Дяконов, Александр Павл. 1843—45.
 Пономаренко, Иосиф Алексеев. 1845—
 Богданов, Ал-др Никол. 1845—71.
 Лучшев, Сергей Яковлев. 1890—96.

Костин, Павел Степан. с 1896.

Окончил реальн. учил., Акад. Художеств с званием художника живописи, педагогич. курсы, археологич. инстит.; преподаватель рисования и черчения в Певческой капелле.

Новар, Ольга Арнольдовна 1919—21.

Окончила школу Общества Поощрения Художеств. Преподавала в школе еще историю искусств и франц. яз.

Кладищева, Евгения Никол. с 1920.

Сдала экзамен при педагогич. классах Академ. Худож. Преподавала в город. школах и в Анненской школе. Выставляла свои работы на выставках общ. поощрения художеств, внепарт. общ. художников и Академии Художеств.

Чистописания:

Тренделенбург, Фридр. Августов. 1823—40.
 Раутенберг, Ив. Августов. 1841—52.
 Оттен, Вас. Вас. 1852—65.
 Беляев, Ал-др. Вас. 1861—64.
 Гейн, Андрей Дмитр. в 1865.
 Якимов, Ал-др. Вас. 1867—69.
 Торопов, Гавриил Ив. 1865—
 Соколов, Ник. Ал-др. 1872—908.

Пения, музыки и слушания музыки:

Старкс, Фридрих. 1823—25.
 Варламов, Ал-др Егор. 1825—30.
 Яновский, Гавриил Ив. 1832—33.
 Казаченко, Дмитр. Ив. 1833—43.
 Ламакин, Гавриил Яковл. 1843—45.
 Евсеев, Филипп Евграф. 1845—55.
 Знаменский, Ник. Григ. 1855—62.
 Забойкин, Николай. 1852—63.
 Василевский, Ал-др Егор. 1863—66.
 Лисицын, Ал-др Ал-др. 1866—70.
 Гиляровский, Ник. Ив. 1870.
 Смирнов, Конст. Мих. в 1900.
 Седых, Ник. Ник. 1902—07.
 Туссин, Ал-др Конст. 1903—07.

Седых, Илья Никол. с 1907.

Окончил б. придворн. капеллу и учительск. курсы при ней; два года был в консерватории; был учит. пения в Малоохтен. церк.-приход. школе и в нескольких город. училищах; с 1907 г. переведен в 3-ю гимн. учит. пения и помощ. кл. наставн.; исполнял обязанности воспитателя при пансионе гимн., с 1919 г. состоит членом президиума школы. Труды: романсы и песни (№№ 6).

Зафрон, Вас. Вас. 1913—18.
 Немирова, Мария Григ. 1921—22.

Ручного труда:

Цируль, Карл Юрьевич. 1918—21.

Окончил курс в Петерб. уч. институте, где затем и был преподавателем ручного труда; 6 раз участвовал в специальных летних курсах в Швеции и Германии и трижды был командирован на специальн. курсы в Гамбург, Киль и Вену. Труды: 1) Ручной труд в общеобразовательной школе; 2) Начальный курс ручн. труда; 3) Систематич. руководство по ручн. труду. Работа по дереву; 4) Систематич. работы по ручн. труду. Начальные и дополнительные работы по металлу; 5) Памятная записка к 25-летию введения педагог. ручн. труда в рус. школе; и ряд статей по ручн. труду в специальн. и общей литературе.

Максимов, Артемий Максим. 1918—20.

Савельева, Екат. Андр. в 1918.

Кистанов, Андрей Васильев. 1919—21.

Гимнастики и военного строя:

Герц, Николай 1862—71.
 Флигельман, Ник. Ив. 1871—912.
 Пуликовский, Ник. Ал-др. 1890.
 Клембовский, Нап. Нап. 1892.
 Петровский, Серг. Ал. 1896.
 Халтурин, Вл. Ник. 1891—92.
 Ржевский.
 Садовский, Ал-др Стахив. 1906—17.
 Бар, Владимир Виктор. 1913.
 Скробанский, Стан. Фомич. 1913—14.
 Штейнер, Ферд. Осип. в 1914.
 Добролюбов, Ив. Дмитр. 1916—18.
 Крестьянсон, Вас. Пав. 1916.
 Нечаев, Влад. Вас. 1916.
 Лансдорф, Герта Ивановна. 1919—20.
 Белявская, Ксения Матв. с 1922.
 Берзин, Амалия Ивановна. с 1922.
 Прокофьева, Татьяна Иван. с 1922.
 Рицик, Леония Оттовна. с 1922.

Ланкастерского класса:

Данилевский, Михаил Гаврил. 1823—26.
 Сновидов, Николай. 1826—27.
 Массон, Мориц. 1827—29.
 Функ, Егор Корнилович. 1830—31.



Приготовительного класса:

Полиевктов, Николай Ал-др.	1871.
Соколов, Николай Ал-др.	1872—908.
Базаров, Сергей Иванович.	1885—97.
Гордеев, Иван Михеевич	1903—18.

Классов А и Б:

Кашина, Анна Александр.	1919—20.
Бондаренко, Нина Вас.	1920—22.

Танцев:

Эбергард, Федор Иванович.	1832
Федоров, Михаил Михаил.	1897—1918.

Комнатные надзиратели и воспитатели:

Позе-де-Корваль, Карл.	1823—24.
Обри, Клавдий.	1823—25.
Ободовский, Ал. Гр.	1823—27.
Маркуард, Эдуард Иванович.	1823—29.
Лавониус, Василий Иванович.	1823—29.
Буш, Франц Иванович.	1823—31.
Даксаки, Николай Платонович.	1824—35.
Бернгов, Отто.	1825—28.
Геллинг, Карл Иванович.	1825—39.
Гикши, Франц.	1825—39.
Дешуданс, Генрих Иванович.	1825—52.
Отто, Карл Иванович.	1826—30.
Массон, Мориц.	1829—34.
Иверсен, Иван Иванович.	1829—30.
Функ, Егор Корнилович.	1829—31.
Жульен, Степан Иванович.	1829—31.
Гроссе, Фридрих.	1830—31.
Будберг, Вильг. Леон., барон	1830—38.
Шад, Герман.	1831—38.
Крумбмилер, Федор Федор.	1831—43.
Башинский, Александр Ив.	в 1832.
Бюш, Наполеон Георгиевич.	1832—39.
Гордовский, Конст. Ив.	1834—39.
Вишлер, Густав.	1835—41.
Михлер, Рудольф.	1835—37.
Гевден, Федор Карлович.	1837—39.
Медер, Рудольф.	1838—42.
Приссинг, Юлий.	1839—40.

Раутенберг, Иван Август.	1839—52.
Дилингер, Фридр. Фед.	1839—52.
Мундель, Фед. Егор.	1839—65.
Герстенмейер, Ал-др. Ал-др.	1839—43.
Таль, Эдуард Генрихович.	1840—51.
Бенеце, Генрих.	1841—43.
Карлблом, Эдуард Ив.	в 1842.
Мюльгаузер, Марк.	1842—45.
Трейман, Яков Мартынович.	1843—47.
Гут, Карл.	1843—44.
Ларош, Август Леонтьевич	1844—45.
Нат, Эдуард Адольфович.	1843—52.
Поль, Эдуард Данилович.	1845—56.
Тринклер, Ал-др. Яковл.	1845—61.
Соколов, Степан Вас.	в 1848.
Юрьев, Павел Садокович.	1849—71.
Якоби, Николай Яковлевич.	1851—53.
Кеммерлинг, Андрей Дан.	1852—
Витков, Герман Иванович.	1852—54.
Данкман.	1852—58.
Петерсон, Фед. Фед.	1852—62.
Парамонов, Ал-др Степ.	1853—65.
Герсдорф, Иван Петрович.	1854—61.
Шухтан, Ал-др Ив.	в 1854—
Пейзер, Эдуард Иванович.	1856—57.
Мосолов, Ал-др Дмитр.	1857—58.
Миллер, Павел Карлович.	1858—81.
Аткинсон, Эдуард Вас.	1858—59.
Кизерицкий, Густав Густ.	1861—62.
Якимов, Ал-др Вас.	1861—72.
Фрейтаг, Карл Фед.	1862—64 и 71.
Бель, Эдуард Фед.	1863—82.
Кох.	1864—65.
Крейцер, Вас. Вас.	1865—68.
Цей, Николай Федорович.	1865—72.
Нейман, Федор Христ.	1867—71.
Полиевктов, Ник. Ал-др.	1872.
Алюхин, Иван Ал-др.	1872.
Шаховской, Ник. Алекс., кн.	1864—67.
Фишер, Иван Яковлевич.	1859—88.
Соколов, Ник. Ал-др.	1872—908.
Кузнецов, Мих. Ал-др.	1874—88.
Арепьев, Ник. Фед.	1881—18.
Базаров, Сергей Иванович.	1885—97.
Калинин, Ив. Мардарьевич	1885—903.
Фролов, Вас. Мих.	1885—916.
Седых, Ник. Ник.	1907—14.
Клейн, Георг. Георг.	1908—11.
Евстифеев, Иван Алекс.	1911—14.
Скордели, Конст. Ив.	1914—18.

Костин, Пав. Степ. 1916—18.
Седых, Илья Никол. 1917—18.

Помощники классных наставников.

Фишер, Иван Яковлевич. 1859-78.
Кузнецов, Мих. Ал-дров.
Летов, Петр Антонович. 1882-87.
Трезоруков, Серг. Митроф. 1889-93.
Соболевский, Вас. Иероним. 1892-97.
Вишневский, Ал-др Николаев. в 1900.
Устинов, Порфирий Петров. 1900—07.
Фролов, Васил. Михайл. 1885—93.
Седых, Ник. Ник. 1907—14.
Седых, Илья Николаевич. 1907—18.
Зафрон, Васил. Васильев. 1913—18.

Врачи:

Вейс, Федор Иванович. 1823—57.
Гильбих, Карл Федорович. 1857—67.
Кинк, Егор Васильевич. 1867—
Вериго, Конс. Конст. в 1881 г.
Сухорский, Николай Данил. 1889—918.
Доброгаев, Серг. Мартин. 1918—20.
Тимофеев, Николай Афан. с 1920.

**Надзиратели и надзирательницы
лазарета:**

Чернышев, Александр Иван. 1833—57.
Швенгельм, Петр Егорович. 1857—67.
Ленц. 1846—48.
Сиверс, Елизавета Франц. 1848—
Никитин, Влад. Ник.
Ковдюшкин, П. К. 1908—13.
Сучков, М. К. 1915—18.

Архитекторы:

Щедрин, Аполлон Федосеев. 1827—34.
Крих. 1834—35.
Азимов. 1835—36.
Логановский. 1836—38.
Шауфельберг, Леонид Иван. 1838—42.
Горностаев, Васил Максим. 1842—49.
Демин, Игнатий Игнатьевич. 1849—68.
Маас, Иван Петрович 1868.
Иосса.

Эконо́мы; смотрители зданий:

Васильев, Иван Илларион. 1823—31.
Чернышев, Александр Иван. 1831—37.
Циммерман, Иван Иванов. 1838—40.
Никулищев, Иван Васильев. в 1840—
Флигенринг, Антон Егор. 1840—51.
Иванов, Николай Иван. 1851—62.
Беляев, Александр Васильев. 1862—65.
Парамонов, Александр Степ. 1865—67.
Лемке, Максим Романович. 1867—
Незлобинский, Конст. Иван. 1882—1903.
Станкузевич, Алексей Адам. с 1903.

**Письмоводители, делопроизводители
и их помощники:**

Данилевский, Мих. Гаврил. 1823—26.
Постунов, Александр Иван. 1829—31.
Барановский, Викт. Иван. 1831—35.
Гутков, Николай Львов. 1836—64.
Полянский, Ник. Павл. 1864—84.
Лаговский, Вас. Мих. 1885—93.
Штатный, Александр Мих. 1893—1909.
Машарский, Болеслав Игнат. с 1909.
Туссин, Александр Конст. 1903—18.
Туссин, Николай Кон. 1907—11 и с 1918 г



Неопубликованные гимназические письма Д. И. Писарева.

В одном из частных архивов сохранилось 14 неопубликованных писем Д. И. Писарева за время его учения в петербургской 3-ей гимназии. Одно из этих писем относится к первому году его обучения в гимназии, судя потому, что Писарев еще охотно играет в пятнашки и дает в письме к матери, повидимому, первый отзыв о своих гимназических педагогах.

Остальные 13 писем относятся к первой половине 1855 года (с января до июня), когда Писарев был в 6-м классе, т. е. предпоследнем. За 7-й класс в этом собрании нет ни одного письма, а есть уже за два более поздние годы (1859 и 1864 гг.).

Мы приводим ниже лишь отрывки из писем, касающиеся непосредственно гимназии; да это и было главным содержанием их. В остальных частях писем, нами не приводимых, говорится либо о семейных делах родственников, у которых жил Писарев, либо о том, как он проводил время в доме своих родственников в течение зимних или весенних каникул; изредка сообщал сведения или факты внешнего мира, например, о смерти Николая I, о похоронах его и т. п. Упоминает также о некоторых товарищах, посещавших его (напр., Вонлярский, Уваров и др.).

Письма писаны большею частью на французском языке или смешанном русско-французском и только два на русском и то с французскими фразами. Повидимому, для Писарева легче было писать по-французски, чем по русски, так как некоторые русские фразы он строил на французский лад.

Содержание писем показывает, что Писарев больше всего был занят своими гимназическими делами, и, если еще что занимало его мысли, так это мечты о поездке в его любимый Грунец к родителям.

К гимназии он относился во всех письмах с неизменно теплым чувством. Нет ни одной жалобы ни на школьные порядки, ни на педагогов.

Отношение к последним у него выражено только в одном раннем письме (от 1852 года, когда он был в 3-м классе): для него все педагоги были хороши, «*tous sont si bons, si justes*», а особенно инспектор—немец. В последних письмах ему нравится также новый учитель военных наук—«добрый полковник».

Что касается наук, проходимых в школе, то из писем не видно, чтобы какая либо наука особенно его привлекала. Один раз только он упоминает о подаче какого-то сочинения Стоюнину и о том, что последний дал хороший отзыв об этом сочинении и сказал, что оно вместе с другими луч-

шими сочинениями будет представлено попечителю округа. Вообще же Писарева интересовали больше баллы, чем самые предметы; в каждом письме он обязательно перечисляет все предметы, по которым он получил пятерки за ответы на уроках и на экзаменах. Искренность тона всех писем говорит за то, что Писарев в 14 лет еще не был захвачен анализом и критицизмом, что он был пока вполне доволен своими успехами в науках и теми похвалами, которые ему высказывали, как окружающие, так и школьное и даже высшее начальство.

В этом отношении письма нисколько не противоречат позднему отзыву самого Писарева о своих гимназических годах: «Я принадлежал в гимназии к разряду овец, я не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзаменах отвечал красноречиво и почтительно и в награду за все эти несомненные достоинства был признан преуспевающим». (Сочинения, т. III, стр. 9).

Письмо 1852 года (предположительно).

«Dans les récréations, qui ont lieu entre deux classes, on joue aux *пятнашки*, c'est le jeu, que nous nommons *обжог*. En général je suis tout a fait content de tout le gymnase, les maîtres, l'inspecteur, le directeur, tous sont si bons, si justes et surtout l'inspecteur, qui a beaucoup de bonté envers moi. G'est un allemand et cela lui a fort plu que je connais cette langue».

[На переменах, которые бывают между двумя уроками, играют в пятнашки, это игра, которую мы называем—обжог. Вообще я совершенно доволен гимназией, учителя, инспектор, директор,—все так добры, так справедливы, особенно инспектор, который очень добр ко мне. Он немец, и ему очень понравилось, что я знаю этот язык].

1855-й год.

10 января. Пишет о том, как весело провел праздники. Затем сообщает, что написал какое-то сочинение (composition), которое и отнес к учителю литературы — Стоюнину. Последний сказал, что его сочинение заслужило особого внимания и что он представит его попечителю Мусину-Пушкину.

Дальше П. рассказывает, что, когда после праздников (8 января) он вернулся в гимназию, то нашел там некоторые новости, например, «желающих будут выпускать из гимназии в прапорщики, а не в юнкера, как было прежде; вследствие того введут у нас (у 6 и 7-го кл.) военные науки, военный устав и фрунту будет учить не унтер-офицер, а полковник». Затем рассказывает о посещении гимназии (в субботу) попечителем и министром народного просвещения Норовым. «Так как этих гостей ждали с утра, то в большую перемену, после завтрака, нас 6-й и 7-й классы собрали в залу и директор говорил что то очень назидательное. Потом, после 4-х часов нас опять собрали в залу и вскоре явились министр и

попечитель. Первый поздравил нас с монаршей милостью и увещевал нас стараться. Попечитель между тем подошел ко мне, потрепал меня по плечу, как воспитанника, которого он уже знает. Поговорил со мною, похвалил меня; потом, когда министр проходил мимо меня, он представил меня ему, рекомендуя, как *славного молодого человека*. Тот остановился, тоже поговорил со мною, т. е. спросил, который мне год, кто мой отец, родня ли мне бывший олонекский губернатор, также похвалил меня и оба удалились». Дальше описывается, как прошли первые уроки военного строя, как для этого учеников нарядили в старые куртки (вместо сюртуков) и заканчивается рассказ словами: «А это все право весело».

Письмо 20 января.

«Я на этой неделе получил 2 раза 5: один по немец. языку, другой из латинского»...

«До сих пор у нас было 5 уроков в день, но теперь, в 6 и 7 кл. откинута последние часы и пропадают—1 латинский, 1 греческий, 1 математика, 1 словесный, 1 история, 1 франц. язык. Вместо этих погибших уроков появились военные науки, что, однако, для нас невыгодно, потому что теперь нас распускают часом позднее, т. е. в 3½ часа. Полковник наш—человек очень добрый, фронт вещь не трудная, одним словом в этом нововведении неприятного ничего нет!»...

В другом месте П. сообщает, что военный строй у них был ежедневно: три раза военный устав и три раза фронт.

Письмо 8 февраля.

В письме от 8 февраля П. снова пишет о военных упражнениях и о своем сочинении. «Митю Уварова произвели в ефрейторы и дали нашивки. Он щеголял в них на маслянице и очень рад этому. Il paraît, ma très chère Maman, que ma composition t'inquiète beaucoup, car tu en parles au commencement de la lettre. Sois tranquille, chère Maman; les fautes ont été toutes corrigées et même, s'il en était resté quelques unes, cela ne fait rien, car Стоюнин la corrigera encore et en fera la revue».

[«Мое сочинение, дорогая мамаша, кажется очень беспокоит тебя, так как ты говоришь о нем в начале письма. Будь покойна, дорогая мамаша, ошибки все были исправлены, и ничего, если даже некоторые и остались, потому что Стоюнин будет его еще поправлять и просматривать»].

Дальше на целой странице описывает военные упражнения и говорит, что за стойку получил 3, а за шагистику 5, за это попал в 1-й разряд и «торжествует».

«Pour mes autres études, elles vont assez bien. Voilà les balles, qu'on a lu, ce sont les miennes: Grec., Mathém., Hist., Phisique, Allemand, Français, Russe — 5. Pour les autres, on ne nous les a pas encore lu, cependant j'ose espérer, qu'elles seront bonnes. Je vous embrasse 27.672 fois».

[«Что касается остальных моих занятий, они идут довольно хорошо. Вот мои баллы, которые читали: греческий, математика, история, физика, немецкий, французский, русский—5. По остальным предметам нам их еще не читали, однако, смею надеяться, что они будут хороши. Целую Вас 27.672 раза].

Письмо 22 февраля.

После сообщения о неожиданной смерти Николая I, П. пишет о школьных делах

«Quant a mes affaires personnelles, elles vont bien, on a lu déjà toutes nos balles; j'ai 5 pour tous les objets y compris l'exercice, j'ai donc égalé Ордин et ce n'est pas ma faute s'il passe comme premier...»

[«Что касается моих личных дел, они идут хорошо. Нам читали уже все наши баллы. У меня 5 по всем предметам, включая и военный строй. Таким образом я сравнялся с Ординым, и не моя вина, если он считается первым»].

Письмо 28 марта.

«Pour mes occupations de gymnase, il n'y a rien par là; elles vont bien, comme par le passé; les examens approchent très rapidement; nous avons à peine un mois de classes après Pâque; la plupart de nos maîtres ont déjà commencé à nous dicter les programmes».

[«Что касается моих занятий в гимназии, то тут ничего не случилось, они идут хорошо, как и раньше. Экзамены очень быстро приближаются; после Пасхи нам остается едва месяц занятий, большинство учителей уже начали диктовать нам программы»].

Дальше П. описывает новую военную форму и находит ее очень красивой. Затем пишет, что он хотел бы провести Пасху с своими и он «страстно любит катать яйца». «Вчера мы уже несколько раз катали. Целую 27.672 раза дядю».

Письмо 25 апреля.

«Chers Parents! Je crois avoir beaucoup d'intéressant à vous apprendre; le 12 avril, mardi, notre maître de religion élu cinq d'entre nous, qui devaient subir leur examen ensemble avec la 7 classe le 19 avril. Nous étions: Ордин, Цветков, Потапов, Исаев et moi les élus. Par conséquent je me mis à l'ouvrage le jour même; j'apprenais un peu au gymnase le jour même du 12, à peine fus je rentré à la maison, que les nôtres partirent chez les Radovsky me prenant avec eux bien entendu. Je trouvais Коля fort affairé; il se prepare pour les examens direz vous chers parents...»

«Mais je reviens à mon examen; Les jours se passèrent; enfin arriva le 19. Les classes furent assez en désordre. Nous n'eûmes pas la classe de religion puisque le Prêtre était à l'examen. Enfin l'inspecteur vint nous dire, que nous (неразобр.), nous sommes dans des transes affreuses lorsque tout à

coup, on nous annonce, que l'archevêque vient de partir, et que nous ne pourrions pas le subir cette fois. Nous, qui avons tant travaillé, nous qui espérons, nous qui la veille avons fait une répétition, c'était fort triste, mais que faire il arrive pire quelquefois, nous avons maintenant le temps de nos examens. Ils commencent le 4 de mai par la religion et finissent le 8 de juin, par la physique. Et puis, n'est ce pas, je vole à Grounetz...»

[«Дорогие родители! Кажется, я могу сообщить вам много интересного. Во вторник, 12-го апреля наш законоучитель выбрал из нас пять человек, чтобы держать экзамен вместе с 7-м классом 19-го апреля. Избранными оказались: Ордин, Цветков, Потапов, Исаев и я. Я, следовательно, принялся за работу в тот же день и учился немного еще в гимназии тогда же, 12-го. Едва я вернулся домой, как наши отправились к Раговским, взяв, конечно, с собой и меня. Я нашел Колю очень занятым. Он готовится к экзаменам, скажете вы...»

«Но возвращаюсь к моему экзамену. Дни шли, наконец, настало 19-ое, Занятия шли довольно беспорядочно. У нас не было урока Закона Божия, потому что батюшка был на экзамене. Наконец, инспектор пришел нам сказать, что мы [неразобр.], мы в ужасном страхе, как вдруг нам объявляют, что архиепископ уехал, и что мы не сможем экзаменоваться в этот раз. А мы столько работали, столько надеялись, делали репетицию накануне. очень было грустно, но что же делать, случается и хуже. У нас теперь настает время экзаменов. Они начинаются 4-го мая с Закона Божия и кончатся 8-го июня физикой. А потом я лечу в Грунец, не правда ли?..»

Затем продолжается письмо по русски:

«Маршировка у нас еще продолжается, cher Papa. Когда бывает батальонное учение, это низшие классы составляют наши взводы, а мы бываем командирами и унтер-офицерами. Обыкновенная моя должность есть фланговый и линейный унтер-офицер 8-го взвода. Вчера поставили в наш взвод маленьких первоклассников каких то и с ними было просто мученье, особенно на церемониальном марше...»

Письмо 11 мая.

«J'ai subi 3 examens parfaitement bien grâce à Dieu et à vos prières, mes chers Parents. Ces examens sont celui—de la religion, de l'Allemand et de mathém; j'ai reçu 5 pour tous le trois objets...»

[«Милостью Божьей и благодаря вашим молитвам, дорогие родители, я сдал три экзамена вполне хорошо—по Закону Божьему, по немецкому, по математике, по всем трем предметам получил 5»].

Письмо 6 июня.

«С тех пор, как я писал вам, у меня сошло целых 5 экзаменов довольно трудных: греческий, история, география, французский и словесность. Из всех из них я получил 5. Теперь остается один только — физика, который будет через 2 дня. 8-го июня я буду совершенно свободен».

Сообщил П. А. Шафранов.

— 30 —